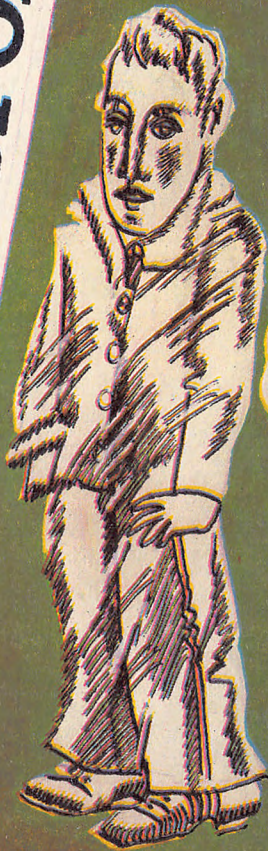


**ВОСЕМЬ НЕХОРОШИХ ПЬЕС**



---

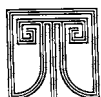
**Венедикт  
ЕРОФЕЕВ**

**Евгений  
САБУРОВ**

**Олег  
ЮРЬЕВ**

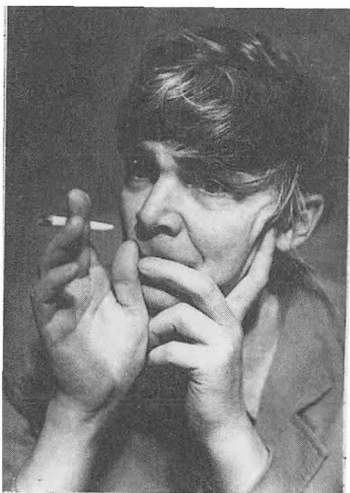
**Зуфар  
ГАРЕЕВ**

**Алексей  
ШИПЕНКО**



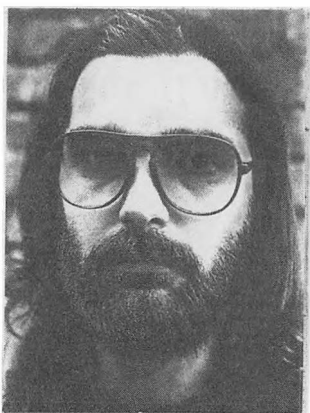


Зуфар Гареев  
СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ  
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА



Венедикт Ерофеев  
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ,  
ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА

Алексей Шипенко  
АРХЕОЛОГИЯ



Олег Юрьев  
МИРИАМ  
МАЛЕНЬКИЙ ПОГРОМ  
В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ  
КОМИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ  
ДЛЯ ТЕАТРА ТЕНЕЙ



---

# ВОСЕМЬ НЕХОРОШИХ ПЬЕС



Е. Ф. Сабуров  
ДВОЙНОЕ ДЕЖУРСТВО  
В ЛЮБОВНОМ УГАРЕ

Составители  
З. К. Абдуллаева  
А. Д. Михалева

Художник · Т. Владова

В/О "Союзтеатр" СТД СССР  
Главная редакция театральной  
литературы  
Москва 1990

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### **ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ**

Вальпургиева ночь, или Шаги Командора . . . . .	5
<b>Юрий Айхенвальд</b>	
Страсти по Венедикту Ерофееву . . . . .	75

### **Е. Ф. САБУРОВ**

Двойное дежурство в любовном угаре . . . . .	79
<b>Евгений Барабанов</b>	
О Е. Ф. Сабурове . . . . .	116

### **ОЛЕГ ЮРЬЕВ**

Мириам . . . . .	119
Маленький погром в станционном буфете . . . . .	138
Комические новеллы для театра теней: . . . . .	
Комедия Алькова . . . . .	163
История Привидений . . . . .	170
Феерия Бомбежки . . . . .	182
<b>Михаил Шейпкер</b>	
Тема и вариации . . . . .	191

### **ЗУФАР ГАРЕЕВ**

Семейный день . . . . .	194
Действующие лица . . . . .	208
<b>Евгений Попов</b>	
В поисках утраченного . . . . .	221

### **АЛЕКСЕЙ ШИПЕНКО**

Археология . . . . .	223
<b>Роман Виктюк</b>	
Общество утонченных неврастеников и дегенератов . . . . .	270

---

Сочинение  
Венедикта Ерофеева  
**ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ,  
ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА**  
трагедия в пяти актах



---

## ДОСТОЧТИМЫЙ МУР!\*

Отдаю на твой суд, с посвящением тебе, первый свой драматический опыт: «Вальпургиева ночь» (или, если угодно, «Шаги Командора»). Трагедия в пяти актах. Она должна составить вторую часть триптиха «Драй Нэхте».

Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала» (или проще «Диссиденты»), сделана пока только на одну четверть и обещает быть самой веселой и самой губельной для всех ее персонажей. Тоже трагедия, и тоже в пяти актах. Третью — «Ночь перед Рождеством» — намерен кончить к началу этой зимы.

Все буаловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно соблюдены:

• Эрсте Нахт — приемный пункт винной посуды;

Цвайте Нахт — 31-е отделение психбольницы;

Дритте Нахт — православный храм, от паперти до трапезной.

И время: вечер — ночь — рассвет.

Если «Вальпургиева ночь» придется тебе не по вкусу — я отбрасываю к свиньям собачьим все остальные ночи и сажусь переводить кого-нибудь из нынешних немцев. А ты подскажешь мне, кто из них этого заслуживает.

ВЕНЕДИКТ ЕР.

Весна 85 г.

---

\* Муравьев Владимир Сергеевич — переводчик, историк английской литературы, критик. Редакция благодарит Владимира Сергеевича за помощь в подготовке рукописи к печати.

В публикации сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.

---

## В ТРАГЕДИИ УЧАСТВУЮТ:

Врач приемного отделения психбольницы.

Две его ассистентки-консультантши. Одна в очках — поджарая и дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка. Другая — Зинаида Николаевна, багровая и безмерная.

Старший врач Игорь Львович Ранинсон.

Прохоров — староста 3-й палаты и диктатор 2-й.

Гуревич.

Алеха, по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова.

Вова — меланхолический старичок из деревни.

Сереза Клейнмихель — тихоня и прожектор.

Витя.

Стасик — декламатор и цветовод.

Коля.

Комсорг 3-й палаты Пашка Еремин.

Контр-адмирал Михалыч.

Медсестра Люси.

Медсестра Натали.

Медсестра-санитарка Тamarочка.

Медбрат Боренька, по кличке Мордворот.

Хохуля.

Толстые санитары с носилками, в последнем акте уносящие трупы.

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета.



## ПЕРВЫЙ АКТ

*Он же Пролог. Приемный покой. Слева от зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, НА ВСЕ ОТСУТСТВУЮЩАЯ, в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и медбрат Боренька, он же Мордovorот, и о нем вся речь впереди.*

*По другую сторону стола — только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.*

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (*поправляя очки*). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?

Доктор. Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!..

Гуревич. Лев Исакович.

Доктор (*из-под очков, в сторону очкастой Валентины*). Отметьте.

Валентина. Что отметить, простите?

Доктор. **Все! Все** отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?

Гуревич. Оба живы, и обоих зовут...

Доктор. Интересно, как их зовут?

Гуревич. Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. Ну, и как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич. Вы бестактны, доктор. Что значит, «как обстоит дело с матерью»? А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор. Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу и от вас... А кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем не маловажно.

Гуревич. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Доктор (*очкастой Валентине*). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую мать... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии,— ведь это еще не наша территория...

Гуревич. Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Доктор. А... он очень широк, этот Геллеспонт?..

Гуревич. Несколько Босфоров.

Доктор. Это вы что же — расстояние измеряете в Босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками, вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Гуревич. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно шестьсот семьдесят моих шагов — а, по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Доктор. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Гуревич. Когда как. Другие чаще... Но я — в отличие от них — без всякого фарсу и забубенности. Я — только когда печален...

Доктор. Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно.

Гуревич. Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

Зинаида Николаевна. И сколько вам плотят?

Гуревич. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить?» — я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни х... нету».

Доктор (*из соображений авантюжности*). Я понял, что вы больше вольный мореплаватель, а не татарин из хозмагазина. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Гуревич (*делает то, что предписывают*). Я могу сесть?

Доктор. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

Гуревич. Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Британского Самоа. В эту минуту (*почти плачет*)... и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — вы рады, что я выплыл?

Доктор. Из Гиндукуша?

Гуревич. Из Гиндукуша. И чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?..

Доктор. Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Гуревич. Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония, — и все, акулы кочевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации ревновать... А когда уже дело доходило до Каракорума...

Доктор. ...А какое сегодня число на дворе? Год? Месяц?

Гуревич. Какая разница?.. Да и все это для России мелко, — дни, тысячелетия...

Доктор. Понятно. Скажите, больной, случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса?..

Гуревич. Вот этим порадовать вас не могу, не случилось. Но...

Доктор. Что все-таки «но»?..

Гуревич. Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изъездил весь свет, пересекал все Кузнь-Луни, взбирался на вершины Кон-Тики, — и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Доктор. А еще какие странности?

Гуревич. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий. И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь — чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

*Доктор и медсестра нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордоворот Боренька.*

*(Продолжает.)* Но что мне до Волопасов и Плеяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

*Доктор дает знак левым глазом — с тем, чтобы Валентина записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.*

...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом — не потревожить бы

кого,— да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни — кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

Доктор. Пить вам вредно, Лев Исакыч...

Гуревич. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что **потрясенному содеянным**, — сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфиксии.

Доктор. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлестать?..

Гуревич. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Доктор. Лев?

Гуревич. Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закуску ничего нет, кроме двух анекдотов о Чапае...

Доктор. И он далеко живет, этот граф Толстой?

Гуревич. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Доктор. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи?..

Гуревич. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

Доктор. Анемоны?

Гуревич. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится, так это запрет на скитальчество... И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Доктор (*полномочный тон его переходит в чрезвычайный*). Ну, а если с нашей Родиной стряется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (*Обращаясь к Зинаиде Николаевне.*) Сколько у нас в России народностей, языков, племен?..

Зинаида Николаевна. А черт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

Доктор. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, больной, в случае обстоятельств — перед лицом противника — какое племя окажется самым ненадежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Гуревич. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Доктор (*в сторону Валентины*). Запишите и это.

Гуревич. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! брось пить, вставай и выходи из небытия» — тогда...

*Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты вливается медсестра Натали. Глаза занимают почти половину улыбочатой физиономии. Ямка на щеке. Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немислимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.*

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна.

*Обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Натали усаживается рядом с Зинаидой.*

Натали. Новичок... Гуревич?!.. Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств — и в палату...

Гуревич (*одушевленный присутствием Натали, продолжает*). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверное, уже немножко побольше...

*Смех в зале.*

Каждый наш нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (*Вдохновенно цитирует из Хераскова.*)

Готовы защищать отечество любезно,  
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за такую

Родину, такую Родину я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостойн сражаться.

Доктор. Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

Зинаида Николаевна. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего... Мой вам совет: больше читайте... Ну уж, если не окажется ни одного танка поблизости — тогда уж амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взвоется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд пруди. Как вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Гуревич (*покуда зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу*). А вы — свой?

Доктор (*желчно*). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Гуревич. ...Мне трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность... ничем-не-взволнованность... ни-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован; и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизблеванность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки **совсем не там**... ну... как во чреве мачехи...

*Аплодисменты.*

Доктор. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас пошибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей склонности к цинизму и фанфаронству, — уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Гуревич (*чуть взглянул на Натали, управляющую свой белый халатик*).

Мой папа говорил когда-то: «Лев, Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!»  
Я им не стал. От юности своей  
Стяжал я навык: всем повиноваться,

Кто этого, конечно, стоит. Да,  
Я родился в смирительной рубашке.  
А что касается...

Доктор (*нахмураясь, прерывает его*). Я, по-моему, уже не раз просил вас не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

Зинаида Николаевна (*подсказывает*). ...шекспировских ямбов. Доктор. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки. Гуревич. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудное, по правде, и... плоскоступное...

Но я — но я влюблен в нее — и это  
Без всякого фиглярства и гримас.—  
Во все ее подъемы и паденья,  
Во все ее потуги врачеванья  
И немощей телесных, и душевных,  
В ее первенство во Вселенной, в Разум  
Немеркнувший,— а стало быть — и в очи,  
И в хвост ее, и в гриву, и в уста,  
И в ...

*На протяжении этой тирады Боренька-Мордovorот, тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волочь.*

Доктор. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда в последний раз?

Гуревич. Конечно. Но только — видите ли? — я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюрами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия... или... там... летнего солнцезворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую младшую дочурку, Ифигению,— и только затем, чтобы ветер был норд-ост, а не какой-нибудь другой...

Доктор (*заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным*). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом.

*Все смеются, кроме Натали.*

Так когда же вас последний раз сюда доставляли?  
 Гуревич. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... восемьдесят четыре дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в этот день случилось событие, которое врезалось в память миллионов: та самая, пустая винная посуда, которая до того стоила двенадцать или семнадцать копеек — смотря какая емкость,— так вот, в этот день она вся стала стоить двадцать.

Доктор (*смирив взглядом прыскающих дам*). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Гуревич. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Доктор. Вот и память вам начинает изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгода вам полежать придется...

Гуревич (*вскакивая, и все остальные вскакивают*). С полгода!

*Боренька тренированными руками опускает Гуревича в кресло.*

Доктор. А чему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к произвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Гуревич (*в восторге*). Ну, здорово!.. Нет,  
 я все-таки влюблен

И в поступь медицины, и в **триумфы**  
 Ее широкой поступи — плевков  
 В глаза всем изумленным континентам.  
 В самодостаточность ее, и в нагловатость,  
 И в хвост ее опять же, и в ...

Доктор (*титулованный голос его переходит в вельможный*). Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур.



А заодно и все ваши сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Зинаида Николаевна. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же, — Николай Мартынов... и Жорж Дантес.

Натали (*пользуясь всеобщим оживлением*). Так ты, Лева, теперь пишешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки — и, как правило, штук девять из них были незабываемыми, штук пять-шесть эпохальными, а два-три бессмертными... А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?.. Или нельзя?

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымпела, — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: 170.

Демьян сказал: 180.

Лука сказал: пятьсот.

Две тысячи сто семьдесят, —

Сказали братья Губины,

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядяючи:

131 тысяча 414.

А Пров сказал: Мульон.

Может быть, продолжить?

Доктор (*отмахиваясь*). Нет-нет, не надо... Борис Анатолевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до четвертой палаты. И немедленно в ванную. (*Гуревичу.*) До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Марá...

Зинаида Николаевна (*не слушая его, обращаясь к доктору*).

А почему все-таки в четвертую? Там одни вонючие охломонь... Там он зачухнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в третью. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. «Суицидальные мысли», вы говорите... (Гуревичу.) Еще вам, последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих близких?.. Потому что четвертая палата это не третья, и нам приходится подчас держать ухо востро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека туда — мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприятен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного воздействия. Я влил все это дядюшке в куриный бульон — и что же вы думаете? — ровно через двадцать шесть лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?..

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве: дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

Доктор. А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага..?

Гуревич. О, грустно быть татаринном — до гроба!

Пришлось подзарабатывать в глуши:  
И конформистом, и нонконформистом,  
И узурпатором. Антропофагом,  
На должности японского шпиона  
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас,

никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

*Доктор, охватив голову, дает понять Борису и Натали, чтоб больного поскорее отвели в палату.*

Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот — я у вас. (*Приподнимается в кресле.*)

*Ему подчеркнуто учтиво помогает Мордovorot.*

И с того дня — мешанина в голове... нахт унд нэбель... все путается, телянки, поросенки. Мамаев курган, Малахов курган...

Натали. У тебя не кружится голова, Лев? Иди тихонько, тихонько.

*Натали ведет его под левую руку, Боренька под правую.*

Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель...

Гуревич (*покорно идет*). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнест Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт...

Доктор (*вслед им*). В третью палату. Глюкоза, пирарцетам.

Гуревич (*удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее*). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэрролл... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (*Уже едва слышно.*) Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

Занавес

## ВТОРОЙ АКТ

*Ему предшествуют — до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит третью палату с зарешеченными окнами и арочный вход в смежную, вторую*

палату. Чтоб избежать междупалатной диффузии, обмена информацией и пр.— арочный переход занят раскладушкой, на ней лежит Витя, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный Стасик. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют,— и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько.

Сережа Клейнмихель, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лифайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке Коля и кроткий старичок Вова держат друг друга за руку и покуда молчат. Коля то и дело пускает слюну, а Вова ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытой простыней, в ожидании трибунала, комсорг палаты Пашка Еремин. На койке справа — Хохуля, не поднимающий век, сексуальный мистик и сатанист.

Но самое главное, конечно,— в центре: неутомимый староста третьей палаты, самодержавный и прыщавый Прохоров и его оруженосец Алеха, по прозвищу Диссидент,— вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контр-адмирала Михалыча.

Прохоров. Если бы ты, Михалыч, был просто змея — тогда еще ничего, ну змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за тридцать секунд до ее укуса! На середку, падла!..

Толстый оруженосец Алеха полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощадь.

Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

Алеха. Мичман он, мичман, я по харе вижу, что мичман!..

Прохоров. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера? Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изошренность этой акции: от всех его напалмов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... а все остальные — как будто этот х... над ними и не пролетал!.. Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот

душегуб был схвачен с поличным, за продажей на Преображенском рынке наших Курил?

Алеха. Позавчера.

Контр-адмирал (*мычит*). Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

Прохоров. Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого океана! Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия,— мог бы ты солгать?

Контр-адмирал. Ни... никогда.

Прохоров. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почему? Так почему нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку андроповки в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе п...ки?

*Контр-адмирал напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.*

Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленил и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (*фланируя мимо, как обычно*). Да. За такие вещи по таким головкам не гладят. Я предлагаю: снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи,— он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхэттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену,— этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет...

*Всеобщий гул осуждения.*

Гриша! Комсорг!

*Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.*

Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!

Пашка Еремин. Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? **Его надо убивать вниз головой!..**

Коля. Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом...

Стасик. Нет, лучше все-таки стрелнуть в него из арбалета...

Коля. Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

Стасик. Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

Алеха. Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... И португую. По-моему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

*Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвергающее движение розовой своей головою.*

Прохоров. Молись, Михалыч! В последний раз молись, адмирал! Михалыч (*уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое*). За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам — устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михалыч (*трясаясь, продолжает, и все так же некстати*). Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь, советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодых...

Прохоров. Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля,— много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много... я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, **антинародный** герой, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов.

Это **извечное** кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (*Вдохновенно прохаживается.*) Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа боцман Михалыч, ядерный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом!

*Почти всеобщие аплодисменты.*

А пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

*Алеха и Пашка опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуть ни одним своим суставом и членом.*

Медсестричка Люси (*врывается в палату, привлеченная крихтением палачей и оглушительным рычанием жертвы*). Что здесь происходит, мальчики?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (*Открывает шкаф, вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.*) Скоро — обход. Ти-ши-на..!

Алеха (*тихо берет за плечи крохотулю Люси и, выпятив одно- временно пузо и глаза-фурункулы, выдвигает вокруг нее томные танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув головою*).

Мне долго-долго будет сниться  
Моя веселая больница,  
А еще дольше будет сниться  
Твоя шальная поясница.

Прохоров. Алеха! Припев!

Алеха. Алеха жарит на гитаре,  
Обязательно на рыженькой женюсь!  
Ал-лех-ха жарит на гитаре,  
Обязательно на рыженькой женюсь!  
Пум! Пум! Пум! Пум! (*по животу*)  
Обязательно,  
Обязательно  
Я на рыженькой женюсь!  
Пум-пум-пум-пум!  
Отстегнула все застёжки,

Распахнула все одежды,  
И едва дыханье жизни  
Из ноздрей не улетело.  
В трюме мичман обо...ся,  
Боцман палубу грызет!  
Хо-хо-хо-хо!

Прохоров. Припев, Алеха!

Алеха. Аль-лехха жарит на гитаре,  
Но у него не выйдет ничего!  
Пум-пум-пум-пум!  
Да ну и пусть он жарит на гитаре —  
Ведь все равно не выйдет ничего!  
А я... (Ослабляясь.) А я...—  
Обязательно,  
Обязательно...

*Привычно фыркая, Люси ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Гуревича, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоев,— но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Боренька, санпропускник...*

Люси. Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Гуревич (*яростно*). Сам! Сам! Провались, девка!..

*Люси исчезает. Пенie на время прерывается. Гуревич комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый Витя с аппетитом смотрит на него, поглаживает живот все любовнее и, облизываясь, иногда отворачивается в подушку, чтоб подавить в себе смехок, ему одному ведомый. Гуревич с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу,— он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон контр-адмирал все еще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Стасик.*

Стасик. Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Прохоров (*подступая. Следом за ним — Алеха-Диссидент, как Елисей за Илиею. К Стасику*). Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Стасик. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало,— тебя омывают, следовательно, ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей,— он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей,— так в него добавляют двенадцать эссенций и семнадцать ароматов...



Коля (*подступая сзади*). ...Но кто после этого одевается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения,— тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

Прохоров. Шел бы ты под х... со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали п...й! при чем тут дхармы? Продолжай, Стас...

Стасик. И вот: Я перехожу из ванной с орхидеями, минуя все залы дхарм (*взгляд в сторону паршивца Коли*) — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из усад, я перешагиваю через третью, патетическую даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. Восемьдесят тысяч гималайских слонов следуют за мной, они говорят мне о тщетности печали...

Прохоров. Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — у...й в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

Гуревич. Гуревич.

Прохоров. Я так и думал, что Гуревич... А случайно — не по этому?.. (*Делает известный по горлу щелчок.*)

Гуревич. Ну... в том числе...

Прохоров. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят выпить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел родо-ден-дрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну, уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло? — не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься о них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стрелял, они пропадали сами собой. (*Алехе.*) Позови старичка Вову.

*Вова подходит. Взглянув сначала на Витю, потом на контр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха...*

Прохоров. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит..?

Вова. Нет, я не могу себе представить... что вот расту и...

Прохоров. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова, ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда, а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

Вова. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

Прохоров. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда, а напротив...

Вова. Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

Прохоров. Алеха, уведи Вовочку... Вот видишь, Гуревич?

Гуревич (*с трудом улыбается*). Ну, ладно. (*С тревогой взглядывает в сторону Вити, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.*) А этого за что?

Прохоров. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности,— так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности,— весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот п...бол лежит и размышляет...

Гуревич. А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

Прохоров. Да конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити (*оба взглядывают туда, Гуревич отворачивается*), — это все мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутripалатным, да еще уголовным к тому же. **Гриша!!!** Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

Серезжа Клейнмихель (*заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова*). Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете...

Гуревич. Так она не кричала, что ли..? Ведь этого быть не может!..

Сереза. Так ведь как бы она кричала, если в это время крестная ушла за бубликами...

Гуревич. Мдаа... в самом деле... Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

Стасик (*как всегда проходя мимо*). У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-кричи — ни до кого не докричишься...

Сереза. Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

Прохоров. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сереза, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич: как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенар с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первоймай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а, Гуревич? А вон, повыше, с самого веру, — попугай родом, говорят, из Хиндустана... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусаво, не металлически, а как-то еще в тыщу раз поугаевее: «Влади-мир Сергеич!.. Влади-мир Сергеич! на работу — на работу — на х... — на х... — на х... — на х...». А потом — потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу (*все учащенное*), на работу, на работу, на х..., на х..., на х..., на х..., на х...». И все это ровно в шесть тридцать, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть. Хохуля спрятал ее под подушку и сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берется за шахматы...

*Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.*

Стасик (*подскакивая*). И ведь все умял! Почему только жалеет до

сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и таймаут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

Прохоров. Вот что, Витя. *(Присаживается к Вите на постель.)*

Витя, ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь рядом со мной доктор из центра. *(Показывает на Гуревича.)* О! Это такой доктор! *(Палец вверх.)* Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь! Тебе не хватает фуражу-провианту?..

Витя *(не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом)*. Вкусно...

Прохоров. А белого ферзя почему пожалел? а?

Витя. Жалко... Он такой одинокий...

Прохоров. Понимаю... А скажи мне, Витенька,— тебе и во сне одна только жратва снится?..

Витя. Нет, нет... Царевна...

Прохоров. Царевна?.. Мертвая?

Витя. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

Прохоров. А ты бы съел... этот хрустальный башмачок? *(Показывает: Чав-чав!)*

Стасик. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Нина Чав-чав-адзе...

Витя. А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

Гуревич. Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

Витя *(улыбается)*. Да...

Гуревич. А если бы семь богатырей при ней — то как же?

Витя. И семь богатырей бы тоже...

Гуревич. Ну, а тридцать три богатыря?..

Витя. Да... если бы медсестрички не торопили... конечно...

Гуревич. А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

Витя *(с той же беззаботной и страшной улыбкой)*. Да... *(мечтает)*.

Гуревич *(упорно)*. А... двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

Прохоров *(врывается в беседу)*. Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

Сереза. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того **водку пьянствовал и дисциплину хулиганил...** И запрещал мне **форточку провертывать**, чтоб в доме мамой не пахло...

Стасик (*проходя мимо, как всегда*). Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно, — это еще ладно, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чепуха, можно прожить и без дынь. И плебисцитов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

*Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери третьей палаты, и на пороге — медбрат Боренька и медсестра Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а харкают в них глазами. Оба понимают, что одним своим явлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой много и без того.*

Прохоров. Встать! Всем встать! Обход!

*Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и Гуревича.*

Боря-Мордоворот (*у него из-под белого халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличии его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой медбрата в Первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»*). Так тебе, б...на, значит не хватает у нас в дурдоме каких-то там желез?..

Тамара. Не б...мб, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

*Боря играя и молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускается на пол.*

*(Указывая пальцем на Вову.)* А этот засратый сморчок — почему не встает, вопреки приказу?

Боря. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

Вова. Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Медбрат Боря (*поправляя галстук*). Ннну... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

Вова. Ну, как сказать... синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

*Медбрат Боря под смех Тamarочки — ногтями впиивается в кончик Вовинога носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. Вова плачет.*

Боря (*продолжает обход*). Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... А тебе что, Коленька?

Коля. У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому что мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

Тамарочка (*тем временем, привлеченная зрелищем справа: Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится*). А! Ты опять за свое, прип...й! (*Раздувая сизые щеки, направляется к нему*.) Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! (*Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с размаху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра*.) Повторить еще раз? (*Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удалством*.) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься — утоплю в помойном ведре!..

Боря. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. (*Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича*.)

*За ним — свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка.*

Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фронт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Боря. Понятно, понятно... (*Краем глаза скользнув по Гуревичу, вдумчиво грызущему ногти, проходит к Вите*.)

*Витя, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный, как гранпасьянс.*

Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... (*Широкой ладонью, с маху, шлепает Витю по животу*.)

*У Вити исчезает улыбка.*

Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

Витя. Больно...

Боря (*хохочет вместе с Тamarочкой*). А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

Тамарочка. ...сегодня же, когда пойдешь насчет по...ать,— чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется начинать вскрытие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

*Прохоров между тем с тревогой следит за Алехой-Диссидентом. Но об этом речь чуть пониже.*

Медбрат Боря (*расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Гуревичем*). Встать!

Тамарочка. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убраты?..

Боря (*все так же негромко*). Встать.

*Гуревич остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.*

*(Одним пальчиком приподымая подбородок Гуревича.)  
Встать!!!*

*Гуревич тихонько поднимается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкиного визга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно хватает Гуревича, поднимает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати. Потом — два-три пинка в район печени, просто из пизонства.*

*(Тамарочке.)* Больному приготовь сульфу, укол буду делать сам.

Прохоров. Что ж поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы.

Медбрат Боря. А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

*Люди в белых халатах удаляются.*

Прохоров. Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они уп...и. Ничего экстраординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу...

*Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.*

Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — жить они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (*Шепотом.*) Гу-ре-вич...

Гуревич (*немножко стонет, и говорить трудно*). Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

Прохоров (*в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен*). Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала они тебе его сделают, минут через пять... Рассмешит тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пытки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь, в каждом российском селении есть придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в Павлово-Посаде ходил в таких **задвинутых**. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполнил по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордасы — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и **галстух**. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю — издали — и вот то, что надо, уже висит на галстукке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординаций... Два месяца назад его приволокли сюда.

Гуревич. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

Прохоров. А четкость! Четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходят слухи, был не дура по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

Алеха. Я все время тут.

Прохоров. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...

Алеха. Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

Прохоров (*пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича*



*перед пыткой*). Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что, во-первых, надо выдирать с корнем — а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площади: ну, посудите сами, у них Мост Любовных Вздохов, переулок святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачахнет. Для начала надо так: Столичная — посередке, конечно. Параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская, Степная, Старорусская, Полынная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся по набережной — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. Все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнув пыль...

*Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.*

Боря. Вон туда. *(Показывает Ранинсону в сторону Хохули.)*

*Ранинсон — непроницаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электроинструментами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно.*

Боря *(приближаясь к постели Гуревича)*. Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодицу.

Гуревич. Я... сссам. *(Со стоном переворачивается на живот.)*

*Алеха и Прохоров ему помогают.*

Медбрат Боря *(без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилья стоит с вертикально поднятым шприцем, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол)*. Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боря. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от

сульфазина — прошу пожаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?..

Гуревич (*с большим трудом*). Я... буду...

Боря (*хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент Алеха*). А мы сегодня — гостеприимны... Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Гуревич. Я жс.. я же... сказал, что буду... Приду...

*Алеха действительно со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглашается криком, никем в палате пока еще не слышанным: дело в том, что доктор Ранинсон сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Хохулей.*

Боря (*хватая за горло диссидента Алеху*). А с тобой — с тобой потом... Знаешь что, Алешенька, — Игорь Львович здесь... Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (*Носовым платком оттирает галстук.*)

*Ранинсон, проходя через палату с дьявольским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской и алехиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем.*

Ранинсон. С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны.

*Уходят.*

Прохоров (*как только скрываются белые халаты, повисает на шее Алехи-Диссидента*). Алеха! Да ты же — гиперборей! Алкивиад! смарагд! Да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окачуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Коккинаки... и уже воскрылия у него за плечами! В двадцать первом году отдает концы Александр Блок — ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок, — и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Гуревич (*одобрительно приподымается на локте*). Совершенно верно, староста.

Алеха (*окрыленный*). Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

Прохоров. Ну ты, витязь, даешь!.. Вот это было бы излишне... Не будем усложнять **сюжет** происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?.. Чело-

вечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул.

Гуревич. Еще как дурно... Да еще — зачем затевать эти фабулы с ними? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фантазмагории, в белом, являются нам временами... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

Прохоров. Верно, верно, и Боря с Тamarочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей **всамделишности...** что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние...

Гуревич. Поди-ка ко мне, Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (*показывает на укол*) — это долго будет болеть?

Прохоров. Болеть? Ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется... Я тебя развлеку, как сумео: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книппера и Даниила Покрасса... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

Гуревич. Прохоров... умоляю...

Прохоров. И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Гуревич. А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь от этого укола «сульфы» в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

Прохоров. Ничего нет проще. Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше... (*Шепчет на ухо Гуревичу нечто.*)

Гуревич. И это — точно?

Прохоров. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэль-ами, Бореньке-Мордвороту.

Гуревич (*цепенеет, пробует встать*). Вот оно что... (*И снова цепенеет от такой неслыханности.*) У меня есть мысль.

Прохоров. Я догадываюсь, что это за мысль.

Гуревич. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их **взорву** сегодня ночью!

*За дверью голос медсестрички Люси: «Мальчики, на укольчики! Мальчики, в процедурный кабинет, на укольчики!» В третьей палате никто не внемлет. Один только Гуревич делает пробные шаги.*

Гуревич (*еще шепчет что-то Прохорову. Потом*):

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,  
Увенчанный или увечный. Все равно.

Прохоров. Bravo! Да ты поэт, Гуревич!

Гуревич. Еще бы! пожелай удачи... Буду

Иль на щите и с фонарем под глазом

**Фьолетовым**, но... но всего скорей,

И со щитом. И — и без фонарей.

Занавес

## ТРЕТИЙ АКТ

*Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Натали. Сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Тамарочкин. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не п...и, маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так поддохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, раз...й?.. Следующий!..»*

*Натали настолько свыклась с этим, что и не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.*

Гуревич (*устало*). Натали?

Натали. Я так и знала, ты придешь, Гуревич. Но — что с тобой?..

Гуревич. Немножечко побит.

Но — снова Тасс у ног Елеоноры!..

Натали. А почему хромает этот Тасс?

Гуревич. Неужто непонятно?.. Твой болван

Мордворот совсем и не забыл...

Как только ты вошла в покой приемный,

Я сразу ведь заметил, что он сразу

Заметил, что...

Натали. Какой болван? Какой Мордворот?

При чем тут Борька? Что тебе сказали?

Как много можно напести придулку

Всего за два часа!.. Гуревич, милый,

Иди сюда, дурашка...

*И наконец объятие. С оглядкой на входную дверь.*

Ты сколько лет здесь не был, охломон?  
Гуревич. Ты знаешь ведь, как измеряют время  
И я, и мне чумоподобные... *(нежно)* Наталья...

Натали. Ну что, глупыш?.. Тебя и не узнать.  
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Гуревич. Да нет же... так... слегка... по временам...

Натали. А ручки, Лева,— отчего дрожат?

Гуревич. О милая, как ты не понимаешь?!  
Рука дрожит — и пусть ее дрожит.  
При чем же здесь водяра? Дрожь в руках  
Бывает от бездомности души,

*(тычет себя в грудь)*

От вдохновенности, недоедания, гнева

И утомленья сердца,

Роковых предчувствий.

От гибельных страстей, **алканной** встречи

*(Натали чуть улыбается)*

И от любви к Отчизне, наконец.

Да нет, не «наконец»! Всего важнее —

Присутствие такого божества,

Где ямочка, и бюст, и...

Натали *(закрывает ему рот ладошкой)*. Ну, понес, балаболка,  
понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты  
же весь иссох, почернел...

Гуревич. Не по тебе ли, Натали?

Натали. Ха-ха! Так я тебе и поверила. *(Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкаф. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами.)*

Гуревич *(кусая ногти по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Натали)*. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше треволят. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты — чистая, как прибыль. Как роса

На лепестках чего-то там такого.

Как...

Натали. Помолчал бы уж... *(Подходит к нему со шприцем.)* Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

*Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.*

Голос Тamarочки (*по ту сторону ширмы*). Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой колола человека — так ему хоть бы х.. по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? З...ся пыль глотать, братишка. Ты! х... неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов? Так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Натали. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Гуревич. Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамары — до этой вот Тamarочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кьюи, а от него уж совсем к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Степного музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псаломпевца Давида — к Давиду Тухманову. А от...

Натали (*на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то*). А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Гуревич. Не лучше, но **иначе** прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Натали (*прыскает*). И сообщили?

Гуревич. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали такой один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар?..» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: отвезите меня в сто двадцать шестое отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле. И меня повезли.

Натали. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?

Гуревич. Ничего не поняли, но привезли в сто двадцать шестое. Спросили: «Вы Гуревич?» «Да, — говорю, — Гуревич».

Я здесь по подозрению в суперменстве.  
 Вы правы до каких-то степеней:  
 Да, да. Сверхчеловек я, и ничто  
 Сверхчеловеческое мне не чуждо.  
 Как Бонапарт, я не умею плавать.  
 Я не расчесываюсь, как Бетховен,  
 И языков не знаю, как Чапай.  
 Я малопродуктивен, как Веспуччи  
 Или Коперник: сорок-сорок восемь  
 Страниц за весь свой огромный век.  
 Я, как святой Антоний Падуанский,  
 По месяцам не мою ног. И не стригу  
 Ногтей, как Гёльдерлин, поэт германский.  
 По несколько недель,— да нет же — лет  
 Рубашек не меняю, как вот эта  
 Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,  
 Жена Альбрехта Австрийского. Но  
 Она то совершила по обету:  
 До полного Ост-Индского триумфа.  
 И я не стану переодеваться  
 И тоже по обету: не напялю  
 Ни рубаионки до тех пор, пока  
 Последний антибольшевик на Запад  
 Не умыльнет и не очистит воздух!  
 Итак, сродни я всем великим. Но,  
 В отличие от Филиппа номер два  
 Гишпанского,— чесоткой не владею.  
 Да, это правда. *(Со вздохом.)* Не имею вшей,  
 Которыми в достатке оделен был  
 Корнелий Сулла, повелитель Рима.  
 Могу я быть свободен?..

«Можете,— мне сказали,— конечно, можете. Сейчас мы вас  
 отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.  
 Натали. А как же шпиль горкома комсомола?  
 Гуревич. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там,  
 в приемной, не было так грустно.  
 Натали. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только —  
 тсс!..  
 Гуревич. О. Натали! Всем существом взыскую!  
 Для воскрешенья. Не для куражу.

*Пока Натали что-то наливает и развлекает водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, п...к малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все м...я сопреют и отвалятся!.. Давай-*

*давай! А ты — от...сь, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, в раскорячку, еще недельки две и — х.. на ны! — от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..»*

*Натали подносит стакан. Гуревич медленно тянет — потом благодарно прищипывает губами к руке Натали.*

Она имеет грубую психею.

Так Гераклит Эфесский говорил.

Натали. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тamarочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принципы. Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина, — русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел...» А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или — помнишь? — «Любви все возрасты покорны». А теперь всего навсего: «Х... ровесников не ищет». Хо-хо. Или вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто километров не круг».

*Натали смеется.*

А это вот — еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться» — она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот — там повар ноги моет».

*Натали смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тamarочки.*

Тamarочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Наталии Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидыра и псих — два угодя в нем.

Натали (*смирная ласкою бунтующего Гуревича, строго Тamarочке*). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

*Тamarочка скрывается и там возобновляется все прежнее: «Как же! Снотворного ему подай — получишь ты от х... уши... Перестань дрожать! И попробуй только пискни, раз...й...» И пр.*

Натали. Лева, милый, успокойся (*целует его, целует*) — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж —



Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейрореплетиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Гуревич. Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Натали. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Гуревич. А очень даже просто. В студенческие годы, например... — ой, не могу, опять приступаю к ямба.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?

Совсем ниотчего. А по заказу.

Все признали, что **это** я могу.

Мне скажут, например: реви, Гуревич! —

Среди вакхических и прочих дел:

«Реву, Гуревич, в тридцать три ручья».

И я реву. А за ручей — полтинник.

А ты — ты понимаешь, Натали? —

В любой момент! По всякому заказу!

И слезы — подлинные! И с надрывом.

Я, громкий отрок, не подозревал,

Что есть людское, жидовское горе.

И горе титаническое. Так что

Об остальных слезах — не говорю...

Натали. И знаешь что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазиним или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуйста... ради меня... не надо...

Гуревич. Боже! Так зачем же я здесь?! — вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,

Головоногие моллюски, дети,

Они чуточек впали в забытьё.

Никто из них себя не воображает

Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,

Ни оттепелью в первых числах марта,

Ни муэдзином, ни Пизанской башней

И ни поправкой Джексона-Фулбрайта

К решениям Конгресса. И ни даже

Кометой Швассман-Вахмана-один.

Зачем я здесь, коли здоров, как бык?

Натали. Послушай-ка, Фулбрайт, ты жив пока,

Пока что не болеешь, — а потом?.. —

Чего ж тут непонятного, Гуревич?

Бациллы, вирусы — все на тебя глядят

И, морщась, отворачиваются.

Гуревич. Bravo.

Полна чудес могучая природа,  
Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пирецетама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Натали. Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

Гуревич. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько **протек**, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет три тысячи семьсот километров, чтоб опуститься при этом всего на двести двадцать один метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко не доглядел — и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело (*значительно оглядывает всю Натали*) — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих дездемон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Натали. Какой ты экстренный, однако, баламут!

Гуревич. Не экстренный. Я просто — интенсивный.

И я сегодня... да почти сейчас...

Не опускаться — падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки

Трагедию, где под запретом ямбы.

Короче, я взрываю этот **дом!**

Тем более, я ведь совсем забыл: сегодня же ночь с тридцатого апреля на первое мая. Ночь Вальпургии, сестры святого Ведыкинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Натали. Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Гуревич. С любезным другом Боренькой на пару?

С Мордоворотом?

Натали. Да, представь себе.

С любезным другом. И с чистейшим спиртом.

И с тортами — я делала сама —

И с песнями Иосифа Кобзона.

Вот так-то вот, экс-миленький, экс-мой!

Гуревич. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспую — в манере Николая Некрасова, конечно.

Натали. Давай, воспевай, глупыш.  
Гуревич. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!  
Демьян сказал: сиястая!  
Лука сказал: сойдет.  
И попочка добротная,—  
Сказали братья Губины,  
Иван и Митродор.  
Старик Пахом потужился  
И молвил, в землю глядячи:  
Далась вам эта попочка!  
Была б душа хорошая.  
А Пров сказал: Хо-хо!

*Натали аплодирует.*

А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы...

Натали. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Гуревич. Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся,— он, пошляк, должен ущипнуть...

Натали. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму.

Гуревич. Какая разница?... Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница, Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией, я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтобы у тебя спереди посыпались искры...

Натали. Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

*Гуревич так и делает. Натали с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание.*

Гуревич. О, Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни?... Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантой... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Натали. Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Гуревич. Натали!..

Натали. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленьш?..

Гуревич. Натали... *(Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его — от страстей, разумеется, — конвульсивно блуждают по Натальиным бедрам и лонным сочленениям.)*

*Зрителю видно, как связка ключей с желтой цепочкою — переходит из кармашка белого халатика Натали — в больничную робу Гуревича. А поцелуй все длится.*

Натали *(чуть позже)*. Я по тебе соскучилась, Гуревич... *(Лукаво.)*  
А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убог, Наталья. И что такое, в сущности, — Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне вдогонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! сопьешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Натали *(смеется)*. А что сначала?

Гуревич. Ну, что сначала? И не вспоминай.

О Натали! она меня дразнила.

Я с неохотой на нее возлег.

Так на осеннее и скошенное поле

Ложится луч прохладного светила.

Так на тяжелое раздумие чело

Ложится. Тьфу! — раздумье на чело...

Брось о Люси... Так, говоришь — скучала?

А речь об этой шлюшке завела,

Чтоб легализовать Мордворота?

Натали. Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич. Нет, я начитанный, ты в этом убедилась

Так вот, сегодня, первомайской ночью

Я к вам зайду... грамм двести пропустить...

Не дуриком. И не без приглашенья:

Твой Боренька меня позвал, и я

Сказал, что буду. Головой кивнул.

Натали. Но ты ведь — представляешь?!..

Гуревич. Представляю.

Нашел с кем дон-хуанствовать, стервец!

Мордворот и ты — невыносимо.

О, этот Боров нынче же, к рассвету,

Услышит Командоровы шаги!..

Натали. Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Гуревич. Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:  
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,  
Коль ты попросишь...

*(подумав)*

...Если и попросишь —  
Я буду пламенеть, как небосклон!  
Пока что я с ума еще не сбрендил,—  
А в пятом акте — **будем посмотреть...**  
Наталя, милая...

Натали. Чтб, дуралей?

Гуревич. Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,  
Будь только крестик промежду грудей  
И больше ничего — я все равно...

Натали *(в который раз уже ладошкой зажимает ему рот. Нежно)*. А! Ты и это помнишь, противный!..

*Кто-то покашливает за дверью.*

Гуревич. Антильская жемчужина... Королева обеих Сицилий...  
Неужто тебе приходится спать на этом дырявом диванчике?

Натали. Что же делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

Гуревич. И ты... ты спишь на этой вот тахте!

Ты, Натали! Которую с тахты  
**На музыку** переложить бы надо!..

Натали. Застрекотал опять, застрекотал...

*За дверью опять покашливание.*

Гуревич. «Самцы большинства прямокрылых способны стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учебник общей энтомологии.

*Снова тянутся друг к другу.*

Прохоров *(показывается в дверях с ведром и шваброю)*. Все процедуры... процеду-уры... *(Обменивается взглядом с Гуревичем.)*

*Во взгляде Прохорова: «Ну как?» У Гуревича: «Все путем».*

Наталя Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил: у дверей хозотдела линолеум у нас запущен — спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал,— пусть там повкальвает с полчаса. А я — наблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... *(Бросает в Натали полвзгляда, с ведром и шваброй удаляется, стратегически покусывая губы.)*

Прохоров. Все честь по чести. Я на то поставлен.

Ты, Алексевна, опекай его.

Он — с при...ью. Но это ничего.

Занавес

## ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

*Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Пашка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля, после электрошока, — недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, Контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.*

Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься... первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловухи так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой доку́менты, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадают на пути. А одуванчики целуют тебя в растегнутую гимнастерку, такую выцветшую, выдавшую виды, прошедшую с тобой от Эльбы до Техаса...

*В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, Сережа Клейнмихель и Коля. Потирают на попах уколы, обсаживают Вову, слушают.*

И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды... А впереди — что-то черненькое белеется... Думаешь: может, просто куст боярышника?.. Да нет. Может быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, — а он уже все различает, каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

Коля. А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

Стасик (*снова дует по палате из угла в угол*). Да! Ничего на свете нету важнее! спасение **дерев!** Придет оккупант — а где наша интимная защита? Интимная защита ученого партизана! А в чем она заключается? А вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!..

Вова. А мой сосед Николай Семенович...

Стасик (*неудержимо*). Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеныч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! Перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

Коля. И с вермутом...

Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут? И до каких пор меня будут прерывать? Делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозга е...ть?! Ведь жизнь и без того — так коротка...

Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

Стасик. Хо-хо! Нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка — а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: пузанчик-самовздутыш-дармоед, с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! — хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего... А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». Обормотик желтый! Нытик двулетний! Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. Мырма краснознаменная! Чапай лохматый! Х...плетик недолговечный! Все, что душе угодно...

Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?..

Стасик. Как, то есть, имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

Вова. Нету у меня панталон...

Стасик. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она же Зиночка сдобная пальпированная! — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! М...звончики смекалистые!

ОБХ-ЭС ненаглядный! Гольфштрим чечено-ингушский! Пленум придурковатый! — его так назвали за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. Дважды орденоносная Игуменья незамысловатая, лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». Генсек бульбоносный! пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам,— все смотрю: нет ли синеньких...

Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики, «Гутен-морген!» «Занзибар оп...ший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»... *(На словах «без слез и навсегда» снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот-фронт».)*

Вова. Дааа... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки гремели, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левитан,— и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверелых заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

*Все глядят на Вовин носик. У Коли опять чего-то текет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста Прохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы,— то снова исчезает из помещения. Музыка при этом — тревожнее всех тревожных.*

Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

Вова. Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я даль-



ше пойду в ботинках? Нет, я уж лучше без ботинок...» А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» — а я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает, — а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежей. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью... Некоторые еще взвоятся — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все поперсажены... А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч.

Коля. Как хорошо... А у вас в деревне — в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накинули?..

Вова. Да нет пока...

Коля. Ну, вот и зря... Надо бы немножко накинуть... У нас все должно быть покрупнее, чем у них... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная... Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. *(Пускает слюну.)*

*Вова вытирает.*

А равняться на Европу, как мне кажется, — это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда не допустим, чтобы...

Прохоров *(врывается в палату с озаренным лицом)*. **Обход! Обход!**

*Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий.*

Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои рот-фронты! *(Подходит к Стасику, но рука его катонически не выходит из состояния Рот-фронт.)* Ну ладно, отвернись только к стене, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

*Гуревич входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутылку и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох.*

Гуревич. Ну вот. Теперь как будто бы **виктория!**

Алеха (с порога). Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

Прохоров. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи, обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте — и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали? — пока **високосные** люди нашей палаты достигали невозможного, — чем в это время занимались вы, летаргический народ?

Вова. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без того внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах — протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять граммов, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

Алеха. Я здесь.

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, вытаскивай их все...

Алеха. Все..?!

Прохоров. **Все**, мать твою е...!

*Гуревич, в сущности, начиная Вальпургиеву ночь, наливает рюмаку. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.*

*(В ожидании своей дозы.)* Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы **гноили** нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию **погромного** размера... Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, — ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты — Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не найду... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить, — горит?

Гуревич. Это можно... *(На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит.)*

*Тишина, покуда не меркнет синее пламя.*

Прохоров *(он даже не разводит свои семьдесят граммов, он держит наготове хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности)*. Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич. Это как, то есть, «высечь»?

Прохоров. Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности **этого** *(втыкая палец в Гуревича)* народа, тот будет немедленно произведен мною в контр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... **Они** открывают миру **всё**, мы только успеваем прикрывать... Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Колумбо — это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком из состава Коломбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, — был иудей-марран Луис де Торрес! *(Впадая в раж.)* А **Исаак Ньютон!** А — **Авраам Линкольн!**.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? — **Давид Ливингстон!**..

Гуревич. Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже вожделеет? Ты вот уже немножко порфириносен. А взгляни на Алеху...

Прохоров. Ал-леха!

Алеха. Я тут. *(Пока Гуревич чародействует со спиртом и водю, — не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте.)*

А мне на свете — все равно.  
 Мне все равно, что я говно,  
 Что пью паскудное вино  
 Без примеси чего другого.  
 Я рад, что я дегенерат,  
 Я рад, что пью денатурат,  
 Я очень рад, что я давно  
 Гудка не слышал заводского...

*(Вливает в себя все ему налитое. Исполинский выдох. Пробует лихо продолжить свое традиционное.)*

Обязательно,  
Обязательно,  
Я на рыженькой женюсь!  
Пум-пум-пум-пум!

*(по собственной пузени, разумеется)*

Об-язательно...

Гуревич. Стоп, Алеха! Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы тем временем, сверхдержавы, пробуем на вкус то, что, вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирых?

Прохоров. Еще как приобщить! Ал-леха!

Алеха. Я здесь. *(Машинально подставляет пустой стакан.)*

Гуревич. Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

Алеха. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель — у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Гуревич. Позвать, позвать... *(Наливает полстакана.)*

Прохоров. Клейнмихель! На ковер!

Гуревич *(к подошедшему Сереже)*. Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

Сережа *(всплакнув, конечно)*. Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустят и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Михаила Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку к этому приложил Пашка Еремин, еврейский **шапион**...

Гуревич. Не торопись. Выпей.

Сережа *(выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира)*. Я знаю, что такое еврейский **шапион**. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего...

Гуревич. У тебя это что в руках, Буденный?..

Сережа. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали.

Прохоров. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: дом больницы разбитых космонавтов.

Номер два: дом любви и здоровья больных космонавтов. Номер три: дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Коммунизма. Там приучают не бегать с топором и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

Гуревич. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

Прохоров. Сейчас-сейчас... *(Продолжает.)* Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали проходящими поездами вслед уходящим поездам.

*Алеха фыркает.*

*(Продолжает.)* Спортивный внимательный институт. Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный Энтернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

Гуревич. М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

Сережа Клейнмихель. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться-то не от чего... У меня есть еще один проект, чтобы в России было поменьше смеху: трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород — на Смоленск и Новополюцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Гуревич. Bravo, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

*Староста наливает. Погладив Сережу по голове, подносит.*

Сережа *(тронутый похвалой, пропустив и кракнув)*. А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные

носки — и те разрываются. Даже рубаша под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Гуревич. Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что закланному врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулочки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. М...к, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной убудочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

Прохоров. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. (*Потирает руки и наливает поочередно Гуревичу, себе, Алексе.*) Вставай, флотоводец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу, — признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

Контр-адмирал Михалыч (*его понемножку освобождают от пут*). Выпить хочу...

Прохоров. Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово.

*Михалыч вздрагивает.*

Да нет, ты просто произнеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Северо-атлантического Пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

Контр-адмирал Михалыч (*быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее*). Москва — город затейный, что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва — до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить — горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво, и плясать хочется...

Прохоров (*намного одушевленнее, чем во втором акте*). Так-так-так...

Михалыч. Справа немцы, слева турки, е...ть бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли нам...

Гуревич. Пора, мой друг, пора...

*Адмирал выпивает и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.*

По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

*Вова подходит покорно, но почему-то держа за руку бледного Колю.*

Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (*К Прохорову.*) А почему они, собственно, здесь — а не там?

Прохоров. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы — так он просто так... подозревается в уникальности...

Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть мечта?..

Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что, стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблий...

Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Гуревич. И — не поперхнуться?

Вова. И не поперхнуться.

Гуревич. Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордovorот сегодня же ночью распахнется за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивенди»...

Вова (*единым залпом выпив,— то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит*). А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от нее ни единого комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

Прохоров. А что это за Эдик?..

Вова. Никто не знает. Но как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак, пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Гуревич. Удивительная все-таки страна — Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. (*Обращается к Коле.*) Коля! Ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (*Простирая к публике руку.*) Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его,

— напрасно, его уж нет, младой певец нашел безвременный конец. Московской водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Гуревич. Здорово!.. Налейте поэту **мушкателейнвейну!**

Коля (*выпивая свою долю мушкателейнвейна*). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит, взялось.

Гуревич. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего.

Прохоров. Если явятся вопросы еще, обратись к Вите.

Гуревич. Да, да. Если кому чего не ясно — пусть обращается к нашему незабвенному гротмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! **Ви-тя!!** Корчной! Что новенького-шизофреновенького!

*Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардонической. Сейчас на нем ничего этого нет.*

Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется **вовсеки...**

Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

Прохоров (*поднося Вите*). Теперь ты понимаешь, гротмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше, в сравнении с наивысшей?..

Витя (*приподымая большую, розовую голову*). А я не умру?

Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения... Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть. Смерть — это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

*Витя пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой — и не стыдясь живота своего, — почему-то отправляется к выходу.*

Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтись в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

Гуревич (*спохватившись*). Да, да. Никакие рот-фронты и но-пасааны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую



руку — и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

Стасик. Так она еще не умерла?

Гуревич. Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: «Пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...»

Стасик. Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон-ду-Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть **то**, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чон-ду-хванов...

Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

Витя (*с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения*). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (*Ставит на стол посреди палаты — еще один белый ферзь.*)

*Два белых ферзя рядом — это уже слишком. Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.*

Прохоров. С шахматами мы потом разберемся... А шашки — где?.. Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман (*улыбка — в сторону Гуревича, вопрос адресован Вите*)... Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

Коля (*прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало*). А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?

Гуревич. Неужели и **теперь** тебе не понятно, **кто?**.. (*Присаживается к Вите.*)

Скажи мне, Витя, ну, а если б ты...

Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...

Чудовищно подумать!.. Что б тогда

Принес толпе из всех своих глубин?

Шпинозу? Группенфюрера СС?

Ударный финиш юбилейной вахты?

Рене Декарта?..

*За дверью слышны каблучки. Это — Натали с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая. Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.*

Прохоров. Тишина!.. Все — по местам. Накрыться с головой!

*Натали входит, всем желает спокойной ночи. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Гуревича. Никому не слышные — а может быть, слышные всем, — шепоты и нежности.*

Натали (*полушепотом*). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо.

*Гуревич пробует что-то сказать.*

*(Прикладывает пальчик к губам.) Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адьё. Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь.)*

*Стук удаляющихся каблучков.*

*Все пациенты разом сбрасывают одеяла, приподымаются в постелях и завороченно смотрят на два белых ферзя посреди палаты.*

Занавес

## ПЯТЫЙ АКТ

*Между четвертым и пятым актом — пять-семь минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантантных танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, канканов и кэжуоков, российских балаганных плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.*

Подымается занавес.

*Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.*

Прохоров. Рас-светает!.. Аль-леха!!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент! Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

Алеха. Пум-пум-пум-пум.

*Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг Пашка Еремин — откуда только он успел нализиться — непонятно — ведь ему было отказано даже в граммулечке.*

Пум-пум-пум-пум!  
Пум-пум-пум-пум!  
Я надену платье бело  
И весеннее пальто.  
Никого я не боюсь:  
Председатель — мой отец.

Вова. Председатель к нам спешит,  
«Не кручиньтесь, — говорит, —  
Не кручиньтесь, не тужите,  
Удобренья положите».

Контр-адмирал Михалыч. Дети в школу собирались,  
Мылись, брились, похмелялись,  
Эх, в бога-душу-мать,  
Дайте курочку!

Коля. Ему уж двадцать лет —  
А он такой дурак!  
Ему уж тридцать лет —  
А он такой дурак!  
Ему уж сорок лет —  
А он такой дурак!  
Ему уж...

Алеха (*прерывает его*). Коля водит самолеты —  
Это очень хорошо.  
Вова лопает компоты —  
Это очень хорошо!

Прохоров. А агент из Миннесоты —  
Тоже очень хорошо.

*Это, разумеется, выпад в сторону Михалыча, который в это самое время пробует, как сен-сансовская плисецкая лебедь, делать ручками фокусы-покусы.*

Сей агент, агент прекрасный,  
Опрокинув свой бокал,  
На груди ее атласной  
Безмятежно засыпал.  
Хо-хо!

Алеха. Пум-пум-пум-пум!  
Вся страна лежит во мраке —  
Огонек горит в Кремле!  
Пум!  
Обожаю нежности  
В области промежности!

*Витя со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо косынки.*

Алеха (*подтацовывает к Вите*).  
 Ай-ай! Ох-ох!  
 Все готово. Бобик сдох.  
 Что с тобою приключилось,  
 Манечка?

Витя (*не без кокетства*).  
 Совершенно ничего.  
 Ровным счетом ничего,  
 Ничего не приключилось  
 С Манечкой.  
 Просто — слишком завертелась,  
 Просто — очень захотелось  
 Съездить в будущем году  
 В Пизу или Катманду!  
 Оп-пля!!

Прохоров. Кудри вьются,  
 Кудри вьются,  
 Кудри вьются у б...й,  
 Почему они не вьются  
 У порядочных людей?

Витя. Хе! Хе! Потому они не вьются —  
 Денег нет на бигудей!

Алеха (*поправляет Витю*).  
 Потому что у б...й денег есть на бигудей.  
 А у порядочных людей — денег только на б...й!

*Гуревич между тем с тревогой всматривается в полусонного Хохулю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм сто пятнадцать, клонится к закату.*

Гуревич (*подходит к нему, тормошит*). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дернуть? Ты меня слышишь?.. Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дернуть... Д — Движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших... Д. Следующая — ё... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин — придумал же такую букву Ё. Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребятишки! — Хохуля — не дышит!..

*Одни обступают мертвеца, другие продолжают беззаботное буйство.*

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком!  
 Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей медицины!

*Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стережущего Мавзолей.*

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне полагаться на судьбу и твердо верить, что самое скверное еще впереди.

Прохоров (*добавляет*). Рене Декарт. И да не будет никто омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество силы, красоты и грации! А Первой пусть отмечают нормальные люди, то есть не нормальные люди, а **нас** обслуживающий персонал! Ха-ха! **Танцуют все!** Белый танец! Алеха!

Алеха. Пум-пум-пум-пум!  
Пум-пум-пум-пум!  
А я вот все люблю,  
А я вот всех люблю:  
Дюдюктивные романы,  
Альбионские туманы,  
И гавайские гитары,  
И гаванские сигары,  
И сионских мудрецов,  
И сиамских близнецов...  
Уй-уй-уй-ууууй!

(*на мотив Петра Чайковского cantabile*)

Не ходи пощипывать,  
Не ходи просма-атривать,  
Не ходи прощу-упывать  
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (*под Штрауса, играя пузенью*).  
За что, за что, о Боже мой?  
За что, за что, о Боже мой?  
За что, за что, о Боже мой?  
За что, за что, о Боже мой?

Коля (*под советскую детскую песенку*).  
У меня водчонки нет,  
Даже вермутишки нет...

Прохоров (*подхватывает*).  
Только пиво, только воды!  
Только воды, только пиво!  
И никто у нас не пьян!  
Лейте, лейте, сумасброды,  
Одурающее диво  
В торжествующий стакан!  
Пиф-паф!

*(Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает.)*

*То же самое хотели сделать и другие. Но Гуревич их останавливает.*

Гуревич. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе отраду: твоя мама — не умерла. Она жива. Пашка ее не убивал! *(Наливает ему.)*

Сереза Клейнмихель *(прижимая налитое к сердцу)*. Ура! Моя мама жива!

Пашка. Ура! Я ее не убивал! *(Мгновенно выхватывает кружку из рук Серезы и залпом выпивает.)*

Гуревич. Ты ловок, Паша, как я погляжу.

Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.

А вот по морде смажут — это точно —

«Приватно и в партикулярной форме».

Прохоров. Рене Декарт?.. *(К Пашке.)*

Короче, друг любезный,—

Ступай в м...у по утренней росе!

*Комсорг Паша, получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.*

Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста, на это вот итоговое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаевские дни,— все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сереза, я тебе еще чуточек налью...

*Сереза Клейнмихель, перекрестившись, выпивает.*

Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

Сереза *(одушевленный пятью глотками — приплясывает в такт остальным)*.

Космонавты и татары,

Космонавты и татары —

Все неправда. Все говно.

Уносить свои гитары

Им придется все равно.

Эй-я!

Гуревич. Вот это да-а... А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

*Вова сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения и почему-то совершенно с открытым ртом.*

Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

Прохоров. Дышит! Вовочка дышит! *(Напевает ему из Грига.)*  
«Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»

*Вова не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.*

Гуревич. Однако!.. Там *(кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала)*, там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их — окружают сплетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они — дельные, а мы — беспредельные. Они — бывалый народ. Мы — народ небывалый. Они — лающие, мы — пылающие. У них — позывы...

Прохоров. А у нас — порывы, само собой... Верно говоришь! У них — жисть-жистянка, а у нас — житиё! У нас во как поют! А у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны... А я бы эту прекрасную Софию Ротару утопил бы — вот только не знаю, где лучше... А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов!

*Сепаратно выпивают, по совсем махонькой. Остальные, томительно облизываясь, стоят в стороне.*

И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы...

Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то — ну, что за преснятина? «Юбилейная», «Стрелецкая», «Столичная»... Высший разум меркнет от таких этикеток. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим так: «Девичья Горючая» — пять рублей двадцать копеек. «Мужская Скупая» — семь рублей. «Беспризорная Мутная» — четыре семьдесят. «Преступная Ненатуральная» — четыре двадцать. «Вдовья Безутешная» — тоже не очень дорого — четыре сорок. «Сиротская Горькая» — шесть рублей. «Krokodilova importnaia» — червонец. Ну, и так далее... Но только — прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно! Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь

себе, никто не знает. Из ста сорока пяти опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?..

Гуревич. Так мы ее уже начали. Пока — в пределах третьей палаты. А там, смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

Прохоров (*патетически*). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть **заколдованность**. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью — особенно...

Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность,— так это тоже легко поправимо...

*Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.*

Прохоров. Алеха?!

Алеха. Мы все тут.

Прохоров. И хорошо, что все.

Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже **все** только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкой. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю, но они глядят при этом в сторону России и думают... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя — к подвигу?

Витя Толстопузый. Еще как готовим!

Гуревич. Ну вот и прекрасно. (*Обносит напитоком всех по очереди. Продолжает при этом.*) В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого **свой** трепет, **свое** урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

Алеха. Ура!

Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «ура!»?

Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков!

Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?



Гуревич. Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и — душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если **они** и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем **они** и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцárтова колыбельная: «Спи моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной — **что нам за дело, родной?** Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной,— но и вообще вздоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душить. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов, за их вечность...

Прохоров. Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следящей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова...

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует,— а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душить скандинавов... так за что мне их душить? Они ведь такие белокурые-белокурые. Такие нивчемневиноватые-нивчемневиноватые...

Гуревич. Ты ошибаешься, Коля. Их надо пропесочить для начала за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (*подхватывает*). ...и за то, что они вольно разгуливают по обоим нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю! — я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Всё. *(Как простреленный навывлет, валится у обочины постели и храпит навеки.)*

Гуревич. Что это с ним? Шутит он?.. или?..

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими штормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душой. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

Алеха. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

Прохоров. Не будет полячек!!

Витя. А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Гуревич. Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и...

Прохоров. И в исторической ненависти к жидам...

Алеха *(в подражание своему патрону)*. У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, **за вульгаризм**, и лишить предстоящей рюмахи...

Гуревич. Ну, это уж слишком! Шутнику нужно дать просто немножко по шеем...

*Прохоров подходит к Алехе и слегка дает ему «по шеем».*

Боже! Они опять все перепутали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французики?

Все. Все!

Гуревич *(саркастично)*. Все?

Все *(опомнившись)*. Никто!

Гуревич. Ну, то-то же! Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

Коля *(пьяненький)*. Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

Прохоров. При чем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я — лично видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Гуревич. В том-то все и дело. Русский не должен быть одногла-

зым. Вот **они** — они могут себе позволить эту роскошь, все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть в **оба**. Да.

*Аплодисменты.*

Коля. Но... Лиссабон... наш такой красивый Лиссабон!..  
 Прохоров. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще — Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не выпускать! Вот так! Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Гуревич. Одно только слово «Лиссабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно!

*Аплодисменты.*

Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

Коля. Не-а...

Гуревич. А тебе, Витя?

Витя. Нисколечко.

Гуревич. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные, — цветут, благоухают и существуют. Тогда как человечеству не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

Все (*вразнобой*). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Гуревич. Самое время!

*Шлепают по маленькой.*

Сереза Клейнмихель. Добрый день, быть может, вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (*И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.*)

*Все на время немеют. Музыка.*

Гуревич (*нахмурившись*). Ну что ж... Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

Стасик (*сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова*

*начинает пульсировать из угла в угол палаты).* Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга, — это доставит мне огорчение. Бог мудрее человеков! Держитесь за ризу Христову! *(И снова окаменевают: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)*

Гуревич *(вдохновенно продолжает)*. А если нет Лиссабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и злоещее скопление нечистот — не имеет права **быть!** Вот вам восточная надпись на камне, надгробная, — и ведь Евангельских времен! — «Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка».

*Смех в зале.*

Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и манчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздаяния! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти сроки!..

Алеха. Я, например, — за манчжурскую лихорадку! *(Первым выпивает, крикает и пробует возобновить представление.)*

Пум-пум-пум-пум.

Пум-пум-пум-пум.

Вот он, вот он, конец света!

Завтра встанем в неглиже,

Встанем, вскочим; свету нету,

Правды нету,

Денег нету,

Ничего святого нету!

Рейган в Сирии уже!

Хор *(уже успевших выпить и прокрикаться)*.

Ничего на свете нету! —

Рейган в Вологде уже!

Прохоров *(зычно)*. Этот день Победы!!

Хор. Прохором пропа-ах!

Это счастье с беленою на устах!

Это радость с пятаками на глазах!

День Победы!..

Гуревич. Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! Вы все перенапутали...

Прохоров. Мы все отлично поняли, Гуревич! Но только ты забыл про то, что есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

Гуревич. Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто из нас не будет спасать зачумленный мир. И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с **ними** — крестная сила, и ничего больше. С **нами** — все остальное!..

*Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собой дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — Вова. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжении всего пятого акта, — захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Еремина под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».*

Коля (*шатаясь подходит к Вове, прикладывает ухо к его сердцу*). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!.. Не уходи. В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (*поребзячески плачет*) ...гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

*Вова не откликается.*

Прохоров. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился, — и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Гуревич. За упокой...

*Четверо оставшихся, под все длящуюся «Липу вековую», вытывают за упокой.*

Прохоров (*в упор смотрит на Гуревича*). И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич. О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухою. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их бывшего исполнения, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы, — их будет заносить

сить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческа Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы...

Прохоров. Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции. То есть единственно разумные. То есть предвзвешенно даже выбывая из этих позиций самих израильтян...

Гуревич. Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

Прохоров. Но ведь к тому времени их не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

Гуревич. Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет, — их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может тебе, Витя, она нужна?

Витя. В гробу я ее видал.

Гуревич. Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, — правда, Коля?..

*Коля продолжает плакать, все тише, тише и не отвечает ничего. «Луна вековая» продолжается.*

Итак, я поведу вас тропею грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится, Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

Прохоров. Вот ведь до какой степени можно изб...я: пятиконечная звезда!

Гуревич (*одушевляясь все более*). Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата!

Прохоров. Зачем сужать? **От Нила** до Евфрата!

Гуревич. Чего мельчить? **От Нила** до Евфрата —

Все это хорошо, но мелкогато,

От Евфрата — на восток, восток... —

И вплоть до Нила!..

Алеха. От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич. А если кто косо взглянет на нас — **если еще будет кому** глядеть на нас косо — будет так, как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. Итак, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров. За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..  
 Гуревич. За здоровье Романа Роллана!.. сейчас, я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха (*басит*). И бу-удешь ты столицей ми-и-и-и... (*Не закончив, оседает на койку.*)

Гуревич. Распростертые крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по **бокалу!** За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха (*голосом хриплым и павшим*). Ура...

*Витя, выпив, тоже оседает на койку, рядом с Алехой. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — и падает на постель, бездыханный. Гуревич и Прохоров. Загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.*

Стас (*встает с колен. Забегал в последний раз*). Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди? на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в тысяча девятьсот семидесятом году ЮНЕСКО не отметило две тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!.. (*И снова замерзает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.*)

Прохоров. Алеха!..

Алеха (*тяжко дышит*). Да... я тут...

Прохоров (*тормошит*). Алеха!..

Алеха. Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (*запрокидывается и хрипит*) мой пепел... разбросайте над Гангом... (*Хрипы обрываются.*)

Прохоров. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе — ничего?.. (*Уже исподлобья.*)

Гуревич. Да видеть-то я вижу. Просто: в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

Прохоров. Я тоже — почти сразу заметил... А ты, если сразу заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Гуревич. Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

Прохоров. Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще **казалось?**.. (Злобно.) Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел! **Вы** же не можете... без ум-мысла...

Гуревич. Да, умысел был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...

Прохоров. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех — на тот свет, всех — под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Ссучара... (Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надвигается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах — что-то отбрасывает его назад, в постель.) Ссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти — понял, что поздно. Осталось только продолжать. Заметить-то я **сразу** заметил. А вот убедился — когда уже поздно...

Прохоров. Ты мне просто скажи — смертельную дозу... мы уже перевалили?..

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

*Обмениваются взглядами, полными бездонного смысла. Продолжает темнеть.*

Прохоров. П...ц, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток — пополам. Ты готов?

Гуревич (*совершенно спокойно*). Готов. Но только **здесь** умирать — противонатурально. Меж крутых бережков — пожалуйста. Меж высоких хлебов — хоть сейчас... Но здесь!..

*Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.*

И потом — мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит...

*Прохоров, ухватившись за горло и сердце, — клонится и клонится к подушке.*

(*Машинально продолжает долбить.*) Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас — самурайская... Они — бальные, мы — погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов — с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской... «Гуревич,



милый, все будет хорошо...» — так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... *(Вскакивает и опять обрушивается на стул.)*

*За сценой — или изнутри стен — упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты ноченька, ночка те-омная...» etc.*

Ты звал меня на ужин, Мордворот, так я — к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не мучай... они в это время... *(Роняет голову на тумбочку и цепляется в волосы.)*

Голос сверху *(голос, в котором не столько императива, сколько насморочного металла)*. Владимир Сергеевич! Владимир Сергеевич! На работу, на работу, на работу, на х..., на х..., на х..., на х...

Гуревич *(поднимает голову и глядит на птицу с недоумением безмерным)*. Боже милосердный! Это еще что? И почти ничего не вижу... Библию мне и посох — и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить...

Голос сверху. Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу *(ускоренно)*, на х... — на х... — на х... — на х...

Гуревич *(с тяжким трудом приподымается со стула, сцепившись в тумбочку всей душою — только б не упасть, только б не упасть)*. Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... *(отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй)*. Ничего, я дойду. *(Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати — встает.)* Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все так и оставалось. *(Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.)* Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. *(И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.)* Дойду. Доползу... *(Как ему это удастся? — снова встает во весь рост. Руками обширивая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка.)* Сейчас... чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке...

Прохоров, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик — всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. Так

в этом мире не кричат. Вздурораженные, полусонные, подавшие постовые, с Ранинсоном во главе, по освещенному коридору приближаются к третьей палате поступью Фортинбрасов. Первое, что им предстает, — едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордоворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

Ранинсон (*перекрывая разногласицу и гвалт*). Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

Постовые медсестры (*вразнобой*). «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился!»— «Весь запас метилового — подчистую!»— «Нет, один, по-моему, еще дышит...»— «Кто же так кричал?» (*И пр. И пр.*)

Куча санитаров (*толстых с носилками*). Сколько я помню, никогда такого урожая не случилось.

*Начинается вынос трупов, поочередно. Конец 4-й части Второй симфонии Сибелиуса.*

Боренька. Наташа, где твои ключи?!..

Натали (*ополоумев, даже не плачет*). Ой, не знаю... Ничего не знаю...

Одна из медсестер. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

Ранинсон (*язвительно*). Ничего. Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

Боренька (*поддевая ногою раненую голову Гуревича*). А с этим — что делать?

Ранинсон. Пронаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (*за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все*). Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вонючее ваше племя!.. (*Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.*) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, ссрань еврейская. Всех!

Гуревич (*хрипло*). Я же — ничего не знал...

*Еще удар.*

Я же слепой... Я ничего не вижу...

*Удар.*

Натали (*из полутьмы*). Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (*Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.*)

Боренька (*при каждой его реплике Сибелиус на время отступа-*

*ет, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняний, — отдает протухшей поросятиной, псиной и паленой шерстью). Ослеп, говоришь? ссучье вымя!.. раньше ты жил как в Раю: кто в морду влепит — все видать. А теперь — х... чего увидишь! (Влепляет еще, потом опять в голову.)*

Натали (*истерично*). Борька! Переста-ань! Перестеааань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (*Закатывается в клоко-чущих рыданиях.*)

Боренька (*со все возрастающим остервенением*). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя!

*Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение медбрата.*

Пидор гнойный! Тварь е...я! Ссскотобаза!..

*Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рык Гуревича становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом — тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже околевшим ото всего этого попугаем.*

(*Никаких аплодисментов.*)

Ранней весной 85 г.

## КРОХОТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

«За музыкаю только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастали стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы (в 3-м акте). Русскую песню «У зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-ую часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных *Andante* Брукнера в 5-м. Ну, и так далее.

*В. Ер.*

## СТРАСТИ ПО ВЕНЕДИКТУ ЕРОФЕЕВУ

Венедикт Васильевич Ерофеев прославился тем, что, воспользовавшись рецептом Федора Сологуба, взял кусок жизни, грубой и грязной, и создал из него Поэму. Поэма называлась «Москва—Петушки».

Это Поэма о томлении духа, о странствии к желанной цели, но

одновременно — по мрачной иронии судьбы — и не туда, а в обратном направлении.

Вот как это странствие началось.

В 1955 г. Венедикт Ерофеев, окончивший среднюю школу где-то на Кольском полуострове, пересек Полярный круг и пришел в Московский государственный университет им. Ломоносова за наукой. Через некоторое время он отправился посмотреть на родные места. Может быть, он надеялся припасть к своей заполярной почве, которую помнил домашней и теплой. Но что-то случилось. Те, кто читал его тогдашние дневники или «Записки психопата», начатые в семнадцатилетнем возрасте, могли убедиться, что родная почва обнаружила вдруг свою природу — вечную мерзлоту. Родная почва и семнадцатилетний универсант взаимно друг друга не приняли. Тем самым Венедикт Ерофеев вовсе оторвался от земли и беспомощный, беспочвенный, оказался в объятьях суровой Действительности, которую он знать не хотел, хотя и не желал ей никакого зла.

Но когда студент филологического факультета Ерофеев перестал посещать занятия по военной подготовке, суровая Действительность выбросила его из Университета и начала преследовать.

Она его в Коломну грузчиком в продмаг, он от нее — подсобником на строительство Черемушек в Москве; она его — во Владимир в кочегары-истопники, а он от нее — в орехово-зуюевские милиционеры; она его оттуда — приемщиком винной посуды в Москву, он от нее — на Украину, в бурильщики геологической партии...

Во время этих перебежек Венедикт Васильевич успел в 1962 г. написать сочинение с парадоксальным для его ситуации названием «Благая весть». Этот текст — сказано в «Автобиографических сведениях» — знатоки в Москве «расценили как вздорную попытку дать Евангелие русского экзистенциализма» и «как Ницше, вывернутого наизнанку». Продолжая уклоняться от требований науки и жизни, написал Венедикт Васильевич в начале шестидесятых годов и о своих земляках по далекому Северу — Гамсуне, Бьернсоне, Ибсене. Но «Учеными записками Владимирского педагогического института» статьи были сочтены ужасающими в методологическом отношении и отвергнуты.

Между тем Действительность дала вдруг возможность молодому автору не то чтобы приостановиться, но кочевать из края в край, из града в град в пределах одного места работы: на десять лет он задержался в системе связи на прокладке кабелей. Десять лет он тянул эту резину из Тамбова в Смоленск, от Гомеля до Полоцка и дальше со всеми остановками до самой Поэмы «Москва—Петушки», которую он написал на кабельных работах Шереметьево—Лобня, меньше чем за два месяца (12 января — 6 марта 1970 г.).

Герой Поэмы — бессмертный отныне Веничка Ерофеев (с Венедиктом Ерофеевым его путать не надо, хотя, возможно, Венедикт Ерофеев отличается от Венички Ерофеева не больше, чем Николай Островский от Павки Корчагина). Сама же поэма давала Действительности должный отпор.

Оборачиваясь в ходе погони на свою преследовательницу, приглядываясь к ней, Венедикт Ерофеев убедился, что, чем больше он выпьет, тем пронизательнее видит; что на каком-то высоком градусе он даже видит ее насквозь, до самых ее темных и бесформенных межзвездных глубин. И вот Венедикт Ерофеев выработал особый художественный и магический в то же время взгляд на нее. Этот взгляд уничтожал, аннигилировал Действительность и на обломках ее самовластья создавал новые миры — радужные и расплывчатые, словно капли прозрачного спирта на ярком свете; этот взгляд, пронизающий, как луч гиперболоида инженера Гарина, прожигал реальность, обнаруживая ее фантомный характер с крошечным межзвездным мраком в начале и в конце.

Давно известно, что взгляд на Действительность меняет самою эту Действительность. Ее меняет даже цвет очков, в которые глядит вперед смотрящий.

Взгляд пронизающий, взгляд, так сказать, гиперболоидный, проникая в глубину, нередко все уничтожает по дороге, так что в итоге может остаться лишь острословная пустота с запахом гари.

Избежал ли Венедикт Ерофеев этой опасности?

Утвердительно сказать невозможно.

Но он тщательно избегал ее, и, как правило, ему это отлично удавалось, потому что взгляд этого писателя постоянно останавливался не столько, впрочем, с верой, сколько с доверчивым недоумением — на таких бесплотностях (совершенно, однако же, реальных во внутреннем обиходе его героя Венички Ерофеева), как «Ангелы», «Бог», «Сатана». Можно даже сказать, что Веничка пытается управлять собой при помощи этих своих высших сил.

Один литературный критик называет взгляд, пронизательно показывающий мир в его распаде и ничтожестве, «авангардистским» на основании слов апостола Петра, что проходит образ века сего, т.е. все человеческое истончается и гибнет, наступает конец света, и этот распад улавливает пронизательный взгляд художника-авангардиста. Таким образом, рядом с сюрреализмом, критическим реализмом, социалистическим реализмом возник еще и эсхатологический, или апокалипсический реализм.

Да, Венедикт Ерофеев был и остается основоположником этого метода. Но, как и всякий основоположник, он больше того, что взяли за основу его последователи.

Кроме того, становясь основоположником, Венедикт Ерофе-

ев положил в основу своего стиля не сумму приемов, а собственную жизнь со всеми вытекающими отсюда трагическими последствиями.

Ибо Действительность не могла простить писателю такого надругательства. Уничтоженная, она возродилась, как Феникс из пепла, но тут же преобразилась в Гарпию, с которой писателю как-то надо было справляться.

Он попытался сладить с ней при помощи музыки: в 1972 г. Венедикт Ерофеев создал текст под названием «Дмитрий Шостакович». Но текст пропал. Неизвестно, чем обернулась эта попытка.

В 1973 г., надеясь найти облегчение в мудрой беседе, Венедикт Ерофеев испросил аудиенцию у Василия Васильевича Розанова и получил ее, о чем рассказано в эссе «Глазами эксцентрика».

Сперва собеседники посмотрели в сторону Запада взглядом, полным горькой и злой укоризны.

Причины такого взгляда понятны: можно ли пересадить начала европеизма, словно белые розы, на нашу вьюжную, снежную, приполярную мерзлоту, и потом не разочароваться до отчаяния?

Но если не выращивать на русской почве этих европейских белых роз, то обязательно чьи-нибудь могилы опять порастут чертополохом, как выразился по поводу посмертно реабилитированных врагов народа их тоже посмертно реабилитированный государственный обвинитель.

Поэтому снова русские люди укалываются о шипы европейских роз, пересаживая их в свои зелентресты, снова сомневаются в благонадежности на русской почве христианского гуманистического европеизма, — и начинается тоскливое беснование вокруг креста; беснуются и от злости, и от боли; надежду в себе то холят, то топчут, — тут и возникают загадочные афоризмы, чье значение, как будто «темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно».

Именно это волнение (спасибо за него автору!) и вызвала у меня беседа Венедикта Васильевича Ерофеева с Василием Васильевичем Розановым. Кончилась их встреча неблагоприятно: Венедикт Васильевич проклял суровую Действительность, которая, как колоссальный Ванька-встанька, нависала над ним во всем своем всемогуществе.

В 1974 г., Венедикт Ерофеев ушел от нее в пустыню. Он не стал отшельником. В узбекской Голодной степи, а потом в Таджикистане он работал лаборантом паразитологической экспедиции, причем особенно увлекла его, как сам он признавался, борьба с «окрыленным кровососущим гнусом». Это дивное словосочетание — «окрыленный кровососущий гнус» — подарила писателю сама жизнь, сама песчаная и бесплодная нерусская почва. И Ерофеев

ушел из пустыни. Он снова задумался над реалиями отечественной истории. Он создал элегантный очерк-монтаж «Моя маленькая лениниана», где показал нам Ильича с человеческим лицом. Лицо получилось страшненькое.

Обостренный интерес к проблеме «окрыленных кровососущих гнусов» и привел, вероятно, Венедикта Ерофеева к трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Действительность тут рассматривалась как пробел в разумении, как бедлам, где люди себя все время изничтожали, но делали это без особого блеска, хотя и с охотой. Потому что они — психи и психиатры — были совершенно одинаковы, как разные генерал-лейтенанты в едином строю, или — что то же самое — они были совершенно различны, как равновеликие листья на общем дереве. При единой дубовой основе наблюдался на каждой листке свой узор, каждый был на свое лицо, каждый психотерапевт по-своему не считал больных за людей, а каждый псих по-своему с ума сходил.

Герой эссе «Глазами эксцентрика» решает было выпить яд, — но упивается Розановым и возвращается к жизни. Следующий по времени персонаж, инородный Гуревич — Протагонист Трагедии — предпочитает действительности, в которой жизни нет, метилловую цикуту. Он взрывает Действительность. Он мстит за Елисейские поля, вытопанные социальными санитарями. Один из них — Боря-Мордворот — вышибает из Гуревича дух вон.

Высокий градус саркастического трагизма, предложенный В. В. Ерофеевым, остается для нынешнего «авангарда» основоположным и непревзойденным.

Венедикт Васильевич Ерофеев прожил пятьдесят один год (24.10.1938—11.05.1990). В могилу его свела многолетняя, мучительная болезнь, отнявшая у него голос, — но голос физический, а не внутренний, писательский. В последнее время он обдумывал пьесу о Фанни Каплан, действие пьесы должно было происходить в современной Москве на пункте приема стеклотары.

Достоевский сказал о себе и своих современниках: все мы вышли из гоголевской шинели. Точно так же многие современные наши авангардисты вышли, можно сказать, из вагона электропоезда «Москва—Петушки». И самый поезд этот на вечном своем закольцованном маршруте туда и обратно, туда и обратно еще долго будет отчетливо виден на путях русской литературы.

Что же до Действительности, то она не победила Венедикта Ерофеева даже в последний день его жизни. Действительность доконала его жестокой болезнью, но это была пиррова победа, ибо Венедикт Ерофеев отдал Богу душу, не запятнанную лицемерием и рабством, душу свободного русского писателя.

**Юрий Айхенвальд**

---

Е. Ф. Сабуров

**ДВОЙНОЕ ДЕЖУРСТВО  
В ЛЮБОВНОМ УГАРЕ**

Пьеса в четырех действиях  
с почти постоянной  
и уместной музыкой





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Соня, 35 лет.

Вика, 35 лет.

Василий Петрович, 35 лет, доцент.

Сергей Иванович, 32 года, зав. лабораторией.

Сестра Сергея Ивановича, 25 лет.

Дима, художник }  
1-й художник } 30-40 лет.  
2-й художник }

Люба, 25 лет.

Жена Василия Петровича, юный Скрипач — бессловесные.

ЕСЛИ КТО ВЗДУМАЕТ ПОСТАВИТЬ, то совершенно не обязательно, конечно, следовать тому, что я тут написал в ремарках. А впрочем, какой режиссер им следует? Это же... сами понимаете. Я их, ремарки эти, написал, чтобы читателю было легче ориентироваться. Из вежливости. Тоже ведь и о нем надо думать. Но вот насчет музыки,— это уж обязательно. Тут самая популярщина нужна: Венявский этот, поппер-бабочки всякие. И уж, конечно, Сарасате. Но его, ради Бога, не в 3-м действии! И вообще музыка с текстом должна находиться в сложных отношениях, как супруги между пятым и десятым годом совместной жизни. А если б, например, я ставил... Я б на сцену выводил полный симфонический оркестр со скрипуном, а действие бы шло на авансцене и между пюпитрами. Между пюпитрами все сделать можно и очень интересно. А в другой раз... а в другой раз я бы совсем по-другому сделал! Но, честно говоря, я совершенно не верю, чтобы это хоть один раз появилось на нашей прославленной сцене.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*Сцена делится на два плана: передний и задний. Задний приподнят, и действие на нем происходит в глубине и над головами тех, кто на переднем. Задний — это вход в консерваторию с сидящим над всей сценой П. И. Чайковским за пюпитром — за ним колонны, вокруг торжественные крылья здания, под ногами чахлая зелень. Передний план — сторожка как бы на другой стороне улицы Герцена. Отделяет ее от заднего плана деревянный крашенный зеленым кондовый строительный забор. В сторожке Соня и Вика. Стол, три стула, софа непрезентабельная. У дальней стенки кухонная тумба с телефоном и электроплиткой на ней. Слева дверь во двор, справа — в туалет.*

Вика (*только что вошла. Ставит коробку на стол*). Еще раз здравствуйте.

Соня (*мгновенно разбрасывая коробку*). Торт! Торт! Молодец! Сейчас же чай! Как хорошо, что зашла, молодец, раздевайся, что стоишь! Здравствуйте! Ишь ты, здравствуйте! Вроде на «ты» всегда были. Сколько мы с тобой в одной конторе зады протирали? Пять?

Вика (*нерешительно развязывая пояс плаща*). Шесть лет. Даже с небольшим. Но так мы вроде бы особенно тесно...

Соня. Нет-нет, подругами мы никогда, конечно, не были, но... сослуживцы... это ведь так естественно. Да?

Вика (*обрадованно раздевается*). Конечно. Сослуживцы. Бывшие. Поинтересоваться — естественно.

Соня (*пристраивает Викин плащ, наливает в туалете за перегородкой воду в чайник, ставит его на плитку, достает чашки-ложки*). Это мой трудовой будень. Все есть. Видишь, как удобно. Одни сутки отдежурила — двое гуляй. Очень удобно. Правда, вот сейчас у меня двое подряд. Я брала-менялась, понимаешь? То есть я сегодня — ночь, завтра — целый день и ночь. Потому что я менялась, — отвозила Катюку к маминой сестре. Каникулы, то-сё, понимаешь?

Вика (*все время кивает, пытается помочь расставлять чашки*). Да. Ты теперь одна.

Соня (*кратко вздохнув*). Да, как отец умер, так одна. Но... ты знаешь, что отец мой умер? Это же еще было, когда я...

Вика. Да! Ты, как он умер, так и ушла тогда сразу с работы. Поэтому, что он умер, так это я как раз знаю.

Соня (*радостно*). Ну вот! Я и тут с тех пор. То есть сначала на одном объекте была три месяца, а теперь тут. На этом. Очень удобно.

Вика (*видно, что все порывается спросить*). А мы думали... ты сразу уедешь.

Соня. Ух, как просто. Во-первых, так просто — сразу уедешь, а во-вторых, мне и здесь пока что хорошо. Чего мне?

Вика (*разочарованно*). А-а-а. (*Спохватившись*.) То есть как?

Соня. Очень удобно. Да я как ушла из нашей конторы, вообще себя человеком почувствовала.

*Кипит чайник и одновременно звонят в ворота. До того было видно на заднем плане проходящего человека.*

Во! К чаю обязательно кто-нибудь придет. Это закон. Завари ты, там заварка, все есть. (*Бежит открывать*.)

Василий Петрович. София!

Соня. Василий! Какой сюрприз, проходи! Уф, я тебя как давно-давно — сколько? месяц? — не видела, и не показывается, вот дает.

*Со стула поднимается Вика.*

Это Вика, знакомься, Вася. И какой ты в галстук! В костюме!

Василий Петрович. Здравствуй, Сонечка, давай хоть поцелуемся.

*Чмокаются троекратно.*

По такому случаю выпить бы, но вот дела...

Соня. У меня есть деньги. Конечно. И, Вика, ты хочешь?

Вика. Мне сегодня так бы надо это. У меня так плохо.

Соня. Ну, перестань. Сейчас Вася сбегает, вот пятерка, и все, посидим, потрепемся.

Василий Петрович. Соня, я не могу. Соня, у меня деньги есть.

Я теперь доцент, понимаешь, нет? Есть у меня деньги.

Соня. О-о-о!

Василий Петрович. Ну, не выступай! Я правда не могу, Сонь.

Я договорился с женой пойти на концерт. На концерт, понимаешь? Там приятель на скрипочке играет. Неудобно.

Соня. Скрипка — похабный инструмент. Ну, дела. Ты — и на концерт. Да брось ты чепуху пороть.

Вика. Не уговаривай его, Сонь. Договорился человек.

Соня. Я его лучше тебя знаю. Ну? Успеешь. Сбегает, выпьешь и на второе отделение успеешь, пойдешь. Ну?

Василий Петрович. Не успею. Тут магазин только на бульварах.

Я уже за водкой никак до семи, а другого я не пью.

Соня. На Суворовском бульваре? Да это же пять минут.

Василий Петрович. Но я должен выйти к жене в четверть восьмого.

Соня. И выйдешь.

Василий Петрович. С тобой спорить... Ладно, пошел.

Он выходит из сторожки, из ворот забора, поднимается на задний план и уходит по Герцена направо. Потом возвращается, становится у П. И. Чайковского. Мимо него проходит Скрипач с фалдами из-под дубленки. Они долго раскланиваются и трясут друг другу руки. Скрипач не снимает перчатки и жестами показывает, что этого делать не стоит. Потом Скрипач уходит, потом приходит Жена Василия Петровича, и он с ней объясняется. Все это время внизу, в сторожке, идет своя жизнь.

Вика. Какой интеллигентный мужчина.

Соня. Правда? Тебе он нравится? Ничего, правда. Уже доцент — идет в концерт. Мы с ним на одном курсе учились. Ты чай-то заварила?

Вика. Ой, нет. Я только выключила плитку, а чай не успела...

Соня. Ничего страшного, сейчас подогреем, заварим. *(Хлопочет.)* Мы на одном курсе все учились. Он, я и Мика, муж мой, который объелся груш.

Вика *(осторожно)*. Я вот тебя хотела спросить. Он... пишет?

Соня. Да пишет все время. Зовет.

Вика *(трагически)*. И ты что решила? *(Пауза.)* Я понимаю.

Соня. Чего ты понимаешь? Отца нельзя было одного оставлять.

Вика. Но сейчас-то!

Соня. А сейчас будем пить чай. С тортом. Пока Вася не пришел. Закуска-то у меня, интересно, есть какая-нибудь? О! У меня были огурцы. *(Ищет.)*

Вика. А знаешь, у кого я узнала, где ты? У Сергея Ивановича. Подошла так индифферентно: а как дела у Сони, вы знаете? Он мне говорит: она сторожихой теперь работает на стройке. Напротив консерватории.

Соня. Могла и не застать.

Вика. А я и не застала один раз. А мне сказали, когда ты будешь. А ты видишься с Сергеем Ивановичем?

Соня. Я теперь, Вика, персона нон грата. Вижусь я с кем или не вижусь, что в этом интересного? Вот ты пришла ко мне, мы с тобой сидим, чай пьем, правда? Что в этом кому интересного, так?

Вика. Ну, я ведь просто так.

Соня. Я ж помню, что поднялось на работе, когда узнали, что Мика уехал. И потом, когда я уходила.

Вика. Ну, это же как положено, тут же никто не виноват.

Соня. Вика, неужели я кого-нибудь виню! Что ты в самом деле! Но если так получается, то надо соблюдать, как это говорится, определенные правила игры. А ты все с этим своим?

Вика. Такой тяжелый человек. И муж тяжелый человек. И этот...

Соня. Да брось ты, Вика. Не переживай ты из-за мужиков.

Господи. Вот тебе Василий Петрович понравился — хватай его. Что ты смотришь?

Вика. Очень интеллигентный человек. А ты думаешь, я ему понравилась?

Соня. А как же!

Вика. Ну, нельзя же так сразу.

Соня. Да брось ты! Это вот когда затяжные дела, хуже некуда, а раз-два — и никому не обидно.

*На последние реплики Сони и Вики накладывается конец разговора на повышенных тонах Василия Петровича с Женой.*

Василий Петрович. К концу подойду! Ты только скажи, когда конец.

*Она пожимает плечами.*

Все в порядке! Он меня видел, значит, я был. К концу подойду, вообще все в порядке. Какой я «такой»? Какой-никакой! Венявского, что ли, мне слушать? *(Спускается на передний план в ворота и в сторожку.)* София!

Соня. Василий!

*Василий Петрович сбрасывает пальто на стул, раскрывает портфель и выкладывает хлеб и колбасу.*

Гениально! *(Сдвигает торт, чашки.)*

*Василий Петрович торжественно ставит на середину стола бутылку водки, и тут же начинается концерт Венявского, который продолжается довольно громко, заглушая частично дальнейший разговор.*

Прошу садиться!

Василий Петрович *(сквозь суматоху)*. Лить?

Вика. Чуть-чуть.

Василий Петрович. Естественно, чуть-чуть. Соня?

Соня. Ни в коем случае! Ты же знаешь, у меня печень.

Василий Петрович. Естественно! Дернули! *(Пьет, чокнувшись со стоящими еще стаканами: «чуть-чуть» Вики и пустым Сони.)*

*Вика пьет вдогонку.*

Соня *(поднимает пустой стакан)*. Огурчики!

Василий Петрович *(подстраиваясь под музыку)*. Огурчики-огурчики-огурчики-огурчики! *(Разливает так же.)*

Соня. Но огурчики!

Василий Петрович *(с успокаивающим жестом)*. Сейчас! *(Повторяет ритуал первого стакана.)* О! *(Откидывается на стуле.)* Теперь огурчики.

Соня. Вася, открой банку. Вика, открывалка там. Ниже, там!

Вика. Нету. Нашла!

Василий Петрович (*открывая банку с огурцами*). Огурчики-огурчики-огурчики-огурчики!

*Нарезают хлеб, колбасу, раскладывают огурцы, невнятно переговариваясь, начинают есть.*

Стоп! Что мы все едим и пьем! Едим и пьем! А ведь у каждого из нас жизнь! Почему мы не говорим друг с другом о жизни? Только едим и пьем. А духовное? Почему молчат струны наших душ? А?! Вика, вот вы... Ведь у вас есть же какая-то жизнь? А?! Расскажите. Ведь мы же, в конце концов, не хухры-мухры — соль нации. Ее, можно сказать, интеллектуальный потенциал. А едим и пьем.

Соня (*смеясь*). А чего ж это нам не есть и пить?

Василий Петрович. С тобой разговор особый. Ты отрезанный ломоть. А как я ее любил! Как я ее любил!

Вика. Действительно любили?

Соня. А что, ты считаешь, меня уже и полюбить нельзя было?

Я тогда ничего была.

Вика. Соня, ты и сейчас очень... очень даже... ничего.

Соня. Всего-навсего ничего?

Василий Петрович. Ты... ты... ты обворожительна! Входишь в пятерку первых дам Москвы и ее окрестностей. Или в десятку.

Соня. Десятка в полном составе у «Метрополя» дежурит.

Василий Петрович. Соня, мы же интеллигентные люди!

Вика. Рассказывайте, Вася, очень интересно.

Василий Петрович. Даже так. Но в это время уже появился Мика, и у меня не было никаких шансов.

Вика. Никаких? (*Кокетливо*.) Ну, не верю.

Соня. Да, Викочка, никаких. Да он врет все.

Василий Петрович. А вообще в этом что-то есть...

Соня. В чем в этом?

Василий Петрович. Ты мне вообще-то очень нравилась.

И я очень даже жалел, можно сказать... До, можно сказать, самоубийства мысленно доходил!

Соня. Слушай, я очень не люблю, когда ты начинаешь таким тоном... серьезно на эти темы...

Вика. Да он же шутит, Соня.

Василий Петрович. Я серьезен, как футболист в опере. Но Соня не хочет меня слушать, как всегда. Как всегда! Я должен отвлекаться. Переключиться. Кто мне поможет? Вика! Вы! Вы расскажите нам что-нибудь этакое. Но не надо шуток! Что-нибудь серьезное, но не из этого мира, не из этого болота, не из этой жизни.

Вика. Что? А вот у нас, вы сказали про самоубийство, а вот у нас одна... ты ее, Соня, не знаешь... она из другого отдела, да она после тебя пришла. Так вот, представляете, покончила с собой. Самоубийство.

Василий Петрович. Как это вы нам... да... очень... да... интересно.

Вика. Но она, говорят, религией интересовалась. И с мужем у нее были нелады.

Соня. У верующих самоубийство — грех.

Вика. Ну как же, вот даже в газетах писали, что баптисты сами убиваются и детей своих убивают. Это, может, в русской вере — грех. В христианской. А она, наверное, была не русской веры, а подпала под каких-нибудь баптистов.

Соня. Что ж, кроме баптистов, никого нет?

Вика. Ну как, Соня, наверное, нет. Вот у нас христиане, в Христа веруют, а за границей католики. Они веруют в папу. А баптисты совсем другие. Они действительно разные бывают, но они все баптисты, сектанты иначе называются.

Василий Петрович. Ну что ты, действительно, Соня, выступаешь? Тебе объясняют по-человечески. Что ты, ей-Богу, в русской вере понимаешь, а? Тут без поллитры мне ни фига не ясно, а ты, можно сказать, уже одной ногой смотришь туда, на Запад.

Соня. Как же это я ногой смотрю?

*Василий Петрович ораторствует так пылко, что Вика не может понять, а не серьезно ли он говорит, и крутит головой на развеселившуюся Соню.*

Василий Петрович. Думаешь меня поймать на слове? Думаешь, я оговорился: смотришь ногой? Да, смотреть ногой нельзя! А то, что ты делаешь, можно? Неестественная фраза: смотришь ногой, а естественно ли твое положение? Нет! Неестественно! Потому что ты занесла ногу над... священным. Граница, она как? Священна или не священна? А? Ты представляешь, какое у тебя, вообще говоря, неприличное положение! Как стоишь над священным? А? Мы русские люди, нас это не может не оскорблять. Так что ты нам не указ. Ты ешь-пей, хоть ты и не пьешь, а мы живем духовными запросами. Мы говорим за жизнь. Вика, какая у вас жизнь?

Вика (*внезапно и громко*). Тяжелая.

Василий Петрович. Отлично! Вот! Сейчас мы еще выпьем. Чуть-чуть! И вы нам все расскажете про вашу тяжелую жизнь.

Вика (*выпив и давась огурцом*). Мой муж очень хороший человек.

Я сейчас в тяжелейшем положении. Тяжелейшем. Такого не бывает. Софа, скажи!

Соня (*качая головой*). Да, у нее тяжело, Вася.

Вика. Нельзя себе представить. Сын мой, я так его... Ну, все время о нем. Жить негде. Ну, негде совсем. Если б ты знал, комнату хоть снять. Не знаешь, не сдают? Никуда неохота ехать. Я у тебя, Сонь, останусь.

Соня. Поедешь-поедешь. Правда, она хорошая?

Василий Петрович. Чудесная. Красавица. Налить?

Вика. Угу. Я недавно читала дневники Сент-Экзюпери. Он ставит искренне, честно вопросы. Такие вопросы, ну, что такое счастье? Я чувствую, а этот тяжелый человек, хороший, но давит, давит.

Василий Петрович. Муж?

Соня (*делает Василию Петровичу недовольное лицо*). Фи!

Вика (*раздосадованно*). Да нет, не муж.

Василий Петрович. Явно нам бутылки не хватит.

Вика. Мне бы сейчас мужика, которому отдаться — и все.

Василий Петрович. Я тут!

Соня. Вася, Вика, сумасшедшие, только не у меня!

*Возьтятся, смеясь, втроем на диване. В дверях, за музыкой неслышная, появляется Люба. Не раздевшись, села. С дивана доносится:*

Василий Петрович. Шуточки, София, шуточки. Старые мы, немощные уже. Куда нам на прекрасных Викторий? А бутылки явно мало.

Соня. Тебе уже пора встречать.

*Музыка кончилась. В тишине Соня и Василий Петрович смотрят на Любу. Все трое улыбаются друг другу. Вика лежит на диване ничком. Люба достает из сумочки чекушку. Василий Петрович оживляется и подходит к ней с протянутой рукой. Они знакомятся церемонно.*

Василий Петрович. Василий Петрович.

Люба. Люба.

Соня. Привет, Любаша. (*Василию Петровичу.*) Уже разливаешь? Мы с Василием Петровичем учились вместе.

Люба. Очень приятно. Сейчас, я только закуску возьму какую-нибудь. Я так не могу.

Василий Петрович (*нервно ждет, кивает на Вику*). Этой не надо. (*Доливает в стаканы.*) Спит.

Соня. Тут еще моя сослуживица бывшая, Вика. Противная тетка.

Василий Петрович (*быстро закрикивает, так как Вика села на диван, и, мотая головой, смотрит на них*). Поехали! Со знакомством! Вы прямо как ангел небесный прекрасно спу-



стились к нам. Исключительно вовремя, потому что я бегу!  
Пора идти!

Вика (*реагирует на громкую речь Василия Петровича и смотрит на него восторженно*). Да! Пора идти!

*Немой обмен жестами. Соня: уводи ее. Василий Петрович: куда? я же к жене. — Куда хочешь!*

Василий Петрович (*Вике*). Позвольте плащ.

Вика (*гранддаместо*). О! Благодарю! (*Сталкивается с неловкой Любой. Смущилась, но гордо*.) Здравствуйте.

Люба. Здравствуйте.

Соня. Ребята, пока, целую. Нет-нет. Мне надо выйти — за вами ворота закрыть. Я не простужусь, не простужусь. Не надо меня обнимать, Вася. Побереги пыл для Виктории.

Василий Петрович (*уже выходя в ворота*). Пора бы заняться тобой, Сонька, но не моего полета птица: мамаша диссидентки, фея самиздата.

Соня. Иди-иди. До свидания, Вика.

Вика (*жеманно*). Всего хорошего, Соня.

Василий Петрович (*просунувшись из ворот назад — Соне*). Вот так бы взять и умереть в феврале месяце рядом с холодной нелюбимой женщиной в этой холодной нелюбимой стране.

*Пока Сони не было, Люба достала письмо, развернула, положила на стол перед собой. Соня возвращается и, пока они с Любой разговаривают, наверху Василий Петрович прощается с Викой, к ее полной растерянности, и уходит к Жене, с которой вместе встречает Скрипуна, выходящего из консерватории. Втроем они удаляются по Герцена вверх, а Вика мечется туда-сюда, даже на мгновение хочет вернуться к Соне, но, наконец, махнув рукой, уходит налево — вниз к Манежной площади. Люба поправляет чулок, отвернув полу плаща, и становится таинственной и задумчивой.*

Соня (*бросившись ее тормошить и целовать*). Как же я тебя такой люблю, ты наш подарок!

Люба (*очень наивно и беспомощно*). Я, понимаешь, вечером всем... скучно, да? Я думала к Диме заехать. А то совсем как-то... Ты меня понимаешь?

Соня. Дима хороший художник. Очень хороший. Но туда тебе не надо заходить.

Люба. А куда, Соня? Куда?

Соня. Я знаю, с кем тебя надо познакомить. О! Уже звоню. Ну почему я не мужик? Снимай-снимай (*кидается раздевать Любу*) и чаю попьем. А чего это давно твой художник-грузин не показывается?

Люба. Нет, он не грузин. (*Очень оживилась и протягивает письмо*.)

Соня. Звоню-звоню. (*Звонит.*)

*Люба осторожно кладет письмо назад.*

Сергей Иванович? А ну, давай быстро сюда. Это я, я, Соня. Давай-давай! Да тебе же здесь близко. Тебе же пешком. Я тебе говорю, двигай. (*Подмигивает Любе.*) Не прогадаешь. Ага! (*Кладет трубку.*) Лапонька-рыбонька! Ах, ты лапонька, ты рыбонька. Да? Вот, значит, как? А я думала, вы разошлись.

*Люба снова протягивает письмо.*

(*Берет его, но не читает.*) Но он тебе очень-очень нравился, по-моему. Ах, почему я не мужик!.. (*Вскакивает и ставит чай, забывая письмо на столе.*) Вот. Пока закипит, расскажи-расскажи мне о себе. Что у тебя, как?

Люба (*рассудительно*). Ну, я сейчас живу у Риты. Она уехала на две недели и мне оставила свою комнату. (*С расстановкой, почти звеня от счастья.*) Представляешь, как хорошо!

Соня. Чудесно. У нее же комната. В коммуналке, правда?

Люба. Да. И соседка, конечно... Тяжело немножко.

Соня. Достает?

Люба. Все время написать грозитя. В милицию написать грозится.

Соня. А чего она может написать? Что за глупости.

Люба. Нет, Соня, очень даже может.

Соня. Ну и что? Тебе-то что?

Люба. А прописка? Прописки нет. И еще... Почему, говорит, все люди на работу ходят с утра, а ты не ходишь? Приходится уходить. А холодно ведь!

Соня. Ты что, по улицам ходишь?

Люба. А куда же? Куда? С утра-то и в гости не очень пойдешь. Раз-другой. А так по улицам. Пока не вечер. Вот такая.

Соня. Д-да.

Люба. И что ей от меня надо? Я ей уж: Зоя Афанасьевна, да Зоя Афанасьевна. Я бы ей и в магазин пошла, и...

Соня. Пенсионерка?

Люба. Да. Одинокая.

Соня. Самый страшный случай.

Люба. Но ведь о ней заботиться надо. Я и смотрю, она так мается! Я ей что-нибудь там помогу, я ведь люблю по дому там, приготовить или еще что. Сделаю, а она «напишу», говорит, да «напишу».

Соня. Тяжелый-тяжелый случай. Но, думаю, не напишет.

Люба. Кто ее знает? Я думаю, может и написать. А теперь вот еще взялась, чтоб я поздно не приходила. Дверь на цепочку закрывает. И если поздно приходишь, то надо позвонить, чтоб не закрывала. Да еще всю обругает и говорит: все равно закрою, а то воров приведешь. Как же это я воров приведу? А, Соня?

Соня. Это она тебя на режим посадила. *(Веселится.)* С утра на работу выгоняет, а вечером спать укладывает. А как же с ней Ритка? Так и жила?

Люба. Ну нет. Рите что? Рита ведь законная, это ее комната. Рита на нее как цыкнет! Она боком-боком и уползет к себе. Она при Рите очень боится.

Соня. Ха! С Ритой-то особенно не поговоришь!

Люба. Так ведь Рита в своем праве. Она и мне, когда меня оставляла, говорит: ты с этой не общайся, вообще не общайся, как будто ее нет. А как не общаться? Рита только уехала, а она сразу...

Соня. Ну, конечно, на тебя-то, безответную. Теперь она хозяйка! Ритка ее давила, а теперь она сама может давить. Представляю себе, как она тебя — и в хвост, и в гриву. Да? Заездила?

Люба. Но, вообще, она женщина хорошая. Показывала мне фотографии. Дочка у нее есть, за офицером. И далеко где-то он служит. Давно не приезжала. Мне стала грозиться и этим: вот, говорит, дочка с зятем приедет, а он офицер. Он тебя выгонит. А они летом приедут. В отпуск проездом. А я и сама до того уйду. Рита ведь вернется. Уже скоро.

Соня. Ты у меня лапонька-рыбонька безответная. Ты у меня уже загрустила. Чего ты загрустила? Ну, чего? Подожди. Я сейчас прочту письмо твоего грузина.

Люба *(опять оживившись)*. Нет, он не грузин.

Соня *(любуясь)*. Ах, ты лапонька-рыбонька! Посиди тут, посиди. Я прочту. Или лучше посмотри за чаем. А я почитаю. *(Читает.)*

*Люба прибирает и расставляет на столе, выключает и приносит чай, каждую фразу комментирует горестно-замедленными жестами, а каждая ее поза — совершенство.*

«Я уезжаю к себе на родину из этой сраной Москвы. Коз пасти, фрукт жрать. Делай, что хочешь, а мне с этими сволочами не жить на этой земле. Как они обсирают мои картины, сами ни души, ни мысли не имеют, то и оставайтесь, как есть, а мне не по пути в этой сраной Москве, где все за глаза одно

говорят, а в глаза другое, и концов не найдешь. Разве можно жить с такими людьми?» Ух, надо было новый заварить! Люба (*виновато-виновато*). Я решила, у тебя вроде не старая, вроде свежая еще заварка.

Соня. О-ох, ладно-ладно, уже плакать начала.

Люба. Да я нет, просто так.

Соня. Пей-ешь.

Люба (*кивает и сглатывает*). А я что же делаю?

Соня. Пей-ешь. И расскажи-расскажи, как ты? Что у тебя?

Люба. Ну вот, я живу в Ритиной комнате (*отряхнула пальчики*).

*Скрежещет звонок.*

Соня. Это, наверное, Сережа. Для тебя, для тебя. Это — что я звонила, чтобы он приехал. Для тебя. Для тебя. (*Выходит, впускает в ворота Сергея Ивановича.*) Иди, мы тебя ждем. Припри ворота. (*Чмокает и на ухо ему говорит.*) Мой тебе подарок. Чудо. Только не давай ей говорить.

Сергей Иванович (*входит с Соней*). Сергей.

Люба. Люба.

Соня. Пей, ешь. Чай, торт. Водку Люба принесла, да тут же и выпила.

Люба. Ой, Соня!

Соня. Шучу-шучу, лапонька, ты рыбонька. Чай, торт тоже неплохо. Мы тут ознакомились с претензиями к художественной общественности Москвы со стороны...

Люба. Автандил, его звали Автандил, он уехал к себе в горы какие-то.

Сергей Иванович. Вы прелесть.

Соня. Она лапонька-рыбонька. Лапонька-рыбонька.

Сергей Иванович. А где... вот... ложку...

Соня. Они, эх! Там, в тумбочке с твоей стороны.

Люба. Я поднесу!

Сергей Иванович. Пойдите! Пойдите!

*Люба послушно останавливается на авансцене, поджарая, с разверстым воротом над трепещущей, выпяченной грудкой.*

Соня. Погаси свет.

Сергей Иванович (*щелкает выключателем*). Люба-Люба-Люба.

Соня (*задумчиво*). Если ее раздеть сейчас, она так и будет стоять.

Может, дышать придется немного трудней.

Сергей Иванович. А то и нет.

Соня. Эх, включи!

*Из темноты опять выныривают Соня и Сергей Иванович, все освещено ровно. Люба подает ложку Сергею Ивановичу и стоит.*

Сергей Иванович. В газ ее надо кутать, в шелка!

Соня (*Любе*). Мужчины — дураки.

Сергей Иванович (*встает, подходит к Любе и с опаской берет за плечи себе под мышку*). Прелесть.

*Люба не спеша нежно прижимает его, и он начинает тяжело дышать.*

Соня. Какая Любка — соблазнительница! Кончайте обниматься.

*Сергей Иванович выпускает ее, они замедленно садятся, Люба со своей всегдашней доброй и беспомощной улыбкой.*

Сергей Иванович. Сонечка, здравствуй. Так мы ведь с тобой и не поздоровались.

Соня. Здравствуй, Сереженька. Как твои дела?

Сергей Иванович. Спасибо. У тебя-то как, главное?

Соня. Без изменений. Пока ничего нет. Вчера звонил Мика.

Сергей Иванович. Как он там? Все у него в порядке?

Соня. Ну, а что у него может быть? Все так же. Ждет.

Сергей Иванович. Да чего же они тебя там тянут? Хотя...

Соня. Да, конечно.

Сергей Иванович. ...срок обычный. Сейчас вообще стало дольше. Когда ты?

Соня. Прошло три месяца.

Сергей Иванович. Ну, это сейчас не срок.

Соня. Я тоже так думаю. (*Хмыкает.*) Для тебя есть новости. Ты через кое-кого передавал ему свои рассуждения то ли о Розанове, то ли еще о ком-то.

Сергей Иванович. Н-да. Что-то вообще... да. Но то, что это я — намеком, не более того.

Соня. Ну, так он тебе намеком и вернул. «Кстати, — говорит, — передай: вызвало большой интерес». Я спрашиваю: «Что, Мика?» — а он: «Радио. Соня, передай: радиоинженерия пользуется большим успехом».

Сергей Иванович (*на нем нет лица*). Мика офонарел!

Соня. Обкакался? Не бойсь, он другим и не такое намакивал. Ничего, живут.

Сергей Иванович. Хорошо. Будем надеяться, что меня возьмут последним.

Соня. Ты что, очень карьерный стал?

Сергей Иванович. Сонь, ну какой я карьерный. Но вообще мне дали лабораторию.

Соня. Поздравляю. Большая победа советской науки. Скоро будешь закрытой тематикой заниматься.

Сергей Иванович. Сонь, а ты знаешь... а я, вообще говоря, патриот. Неудобно, конечно, но...

Соня. Да какой ты патриот — ты нормальный человек.

Сергей Иванович. Ну, не все же патриоты — идиоты. Разные бывают.

Соня. Тут до тебя Вика была. Вот патриотка. Аж вся дрожала. От сложного комплекса чувств: ненависти, зависти и любопытства. Как это я еду, видишь ли! В заграницы!

Сергей Иванович. Наша Вика? С работы? Она теперь у меня в лаборатории. Подарочек. Как она всюду пролезет без мыла! Как она узнала, что ты тут?

Соня. Да вы же и сказали, Сергей Иванович!

Сергей Иванович. Я? Черт его знает, может, и сказал как-то.

Соня. Чуть ты ее здесь не встретил.

Сергей Иванович. У тебя действительно опасно бывать становится. Вступишь еще во что-нибудь.

Люба (*опять оживилась*). А я ее видела. Добрая женщина, только немножко расстроенная.

Соня (*Сергею Ивановичу*). Можешь и не бывать.

Сергей Иванович. Сонечка, нельзя же так все время быть на взводе.

Соня. Все время. Меня все время всю трясет.

Сергей Иванович. Сонечка, срок пустяковый еще. Три месяца! Фи! Все будет в порядке.

Соня. Как вы все, однако, меня хотите выпихнуть поскорей.

Сергей Иванович. Ну, что ты говоришь, Сонечка! Ты наше солнышко.

Люба. Соня!

Соня. Я, может, еще здесь пожить хочу.

Сергей Иванович. Да я-то буду только рад.

Соня. Чем деньги на телефон тратить — это же безумно дорого, — лучше б Мика джинсы прислал. И мне, и Катьке. Денег совсем нет.

Люба (*вздыхает*). Да... деньги...

Соня. А ты как живешь, я вообще не понимаю. Вот Божья птичка. Кто покормит. Откуда у тебя деньги на чекушку взялись?

Люба. А папа прислал в письме трешку.

Соня. И что пишет?

Люба. Чтоб в Челябинск возвращалась. Как всегда.

Сергей Иванович. А вы из Челябинска?

Люба. Да. Я в Москву по лимиту завербовалась.

Сергей Иванович. Где же это вы?

Люба. Олимпиада.

Сергей Иванович. Вы на стройке работали?

Люба (*согласно кивает*). Очень тяжело.

Соня. Ну, чего вы про такую бодягу завели. Что, вам делать нечего? Молодые, здоровые.

Сергей Иванович. Ну я, знаешь, уже не мальчик.

Соня. Сергей Иванович, родной, пока у мужчины ничего не болит, он всегда юноша, а ты юноша вдвойне, втройне. Ты же моложе меня, а я старуха еще хоть куда.

Сергей Иванович. Сонь, тебя послушать — опять жить хочется.

Соня. Ну и живи.

Люба. А чего ж не жить? Жить — хорошо. Хоть как.

Соня. Лишь бы не болеть, как я. Все-таки старая кляча.

Сергей Иванович. Какая ты старая кляча? Просто ты устала.

Соня. Смертельно устала, Сережа. Сплю плохо.

Сергей Иванович. Тебе-то, Сонька, и отдохнуть бы надо, а мы... что ж... пойдём, а, Люба? Пора бы, пойдём!

Соня. Ладно, бегите. Сергей, ты бы все-таки звонил, зараза!

Сергей Иванович (*наклонившись к Любе, смущаясь*). Пойдем ко мне.

Люба (*извиняясь, касается ладонью его лица*). Только я должна позвонить.

*Он кротно поцеловал ладонь.*

*(Пошла звонить, объясняя.)* Надо соседке Ритиной позвонить, что не приду. Она ругается. Она запирает дверь на ночь. Все время ругается. Грозится написать на меня. Что я, мол, не работаю. И без прописки. Зоя Афанасьевна?

Сергей Иванович (*Соне*). Не слишком ли это я быстро? Впрочем, я не знаю, я с этим миром мало знаком.

Соня. Ты не комплексуй. Она... очень хорошая.

Люба. Да-да, Зоя Афанасьевна... Я понимаю, что поздно... но я предупредить хотела, чтоб вы запирали. Мне рано завтра на работу... Да. На работу завтра рано... Ну, почему вы так говорите, Зоя Афанасьевна. *(Старается сказать подтвержде.)* На работу, и я останусь у подруги, потому что здесь ближе.

Сергей Иванович (*как бы не слыша Любин разговор*). Я, Сонь, завтра хотел к тебе зайти. Я почему-то думал, что ты завтра дежуришь.

Соня. А я и завтра дежурю. Я ж Катьку отвозила в счет отработки.

Сергей Иванович. Тяжело двое суток подряд. *(Кивает в сторону Любы.)* Если б я был пьяный, а то... говорить что?

Соня. А ничего не надо говорить. Она очень... добрая. Эх, почему я не мужик.

Люба (*жалко показывая трубку телефона, потом говорит*). Спокойной ночи вам, Зоя Афанасьевна. *(Сергею Ивановичу и Соне.)* Идемте. Я готова.

*Сергей Иванович и Люба целуются с Соней. Он подает Любе плащ. Она спокойно, с достоинством принимает это, хотя и не просила. Контраст с Викой. Выходят за ворота и поднимаются на улицу, а Соня машет им из ворот, запирает и возвращается к себе. Поднимает тарелку и достает две десятки.*

Соня. Сергей Иванович, Сергей Иванович. Когда же он их подсунул? Эх, милостыню подают. (Серьезно и искренне кланяется двери.) Спасиго тебе, Сережа. Люди мы или не люди? Спасибо еще раз. (Гасит свет.)

*На улице под П. И. Чайковским Сергей Иванович останавливает Любу. Она готовно поворачивается, и они долго целуются. Меняются декорации.*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

*Стандартный дом. Многоэтажный. Стандартная квартира не на первом этаже. Справа, где кончается стена дома, внизу маленький П. И. Чайковский и маленькая консерватория стоят боком. Комната в глубине, а коридор на авансцене, на авансцене и плита, т. е. кухня. Сергей Иванович и Люба входят и раздеваются в коридоре.*

Сергей Иванович (показывает дальше по коридору). Там сестра.

Люба. Вы вдвоем с сестрой живете?

Сергей Иванович. Тише-тише. Да, вдвоем.

*Проводит Любу в комнату и зажигает там свет. Слева большой буфет. Справа диван. Посреди обеденный стол и четыре стула со сплошными спинками. На задней стене окно. Справа от него за диваном полки с книгами под потолок. Перед диваном лицом к зрителям придвинутый к невидимой передней стене письменный стол. Он выше, чем диван в разложенном состоянии, и несколько заслоняет происходящее на нем. Люба садится на диван.*

(Стоит посреди комнаты, колеблется.) Что-нибудь поедем?

Люба (с радостью). Да. Давайте я помогу.

Сергей Иванович. Нет. Не надо. На кухню... не надо. Посиди...те. Тут.

*Выходит на кухню и туда мгновенно выскакивает Сестра.*

Сестра. Привел какую-то б...!

Сергей Иванович (шипит). Иди к себе.

Сестра. Как, ты будешь мне указывать? Где хочу, там буду.

Сейчас пойду и выгоню. Первый час!

Сергей Иванович. Ну и спи.

Сестра. Будешь мне указывать! Когда хочу, тогда сплю! Ты ее хорошо знаешь?



Сергей Иванович. Знаю.  
Сестра. С улицы взял!

*Сергей Иванович приносит бутерброды и плотно затворяет дверь. Люба пересаживается за стол.*

Сергей Иванович (*садится напротив и успокаивается*).  
Соня — молодец!

Люба (*как будто ждала, о чем заговорить*). Сонечка замечательная. Она меня так всегда поддерживает. Сонечка такая умница. (*Быстро дожевывает и сглатывает.*) Я Сонечке за многое очень благодарна. Больше я не буду. Спасибо. Я вообще мало ем.

*Он поднимается, подходит к Любе и неловко тыкает ее головой к себе в живот. Она быстро вытирает пальцы о салфетку и охватывает его сзади. Тогда он опускается на колени.*

Люба. Зачем, зачем вы?

*На протяжении этой сцены Сестра раза два проходит туда-сюда по коридору и, наконец, исчезает у себя. Люба тоже сползает со стула на пол. Так они и целуются-обнимаются на коленях.*

Сергей Иванович (*усаживает ее назад*). Подожди, я постелю.

*Он раскладывает диван, достает из шкафа и переносит в два приема постельные принадлежности. Стелет. Люба, сидя на стуле, из деликатности смотрит в окно. Управившись, он подходит и берет ее за плечи. Она с готовностью оборачивается и начинается взаимное раздевание. Уже в трусах Сергей Иванович бросается к двери и гасит свет. В темноте с дивана на стулья еще летят части белья. Происходящее на диване затемнено и частично скрыто за письменным столом. Все время сопровождается вскриками и всхлипами. Раза два затихает и возобновляется снова. В один из моментов Сергей Иванович плачет, повторяя: «Лапонька-рыбонька, лапонька-рыбонька. Я даже не знал... не знал, что такое... может быть». Люба в ответ мягко шепчет: «Серезенька-Серезенька». Наконец, они засыпают. За окном постепенно светлеет. Утром она опережает его и вскакивает голенькая на колени на диване.*

Сергей Иванович. Ты что?

Люба. Завтрак тебе.

Сергей Иванович (*пригибает ее назад*). Лежи. (*Встает, идет на кухню, возится у плиты, заходит за загородку.*)

*Шум спускаемой воды.*

*Люба дотягивается до комбинации, надевает ее, слезает с дивана и садится на стул спиной к зрителям. Он входит и ставит сковородку посреди стола, тарелки, вилки из буфета, садится напротив Любы. Все очень серьезно, молча. Смотрит на нее. Встает и стаскивает с нее комбинацию.*

Люба. Но мне холодно.

Сергей Иванович. Сиди.

*Едят.*

Люба. Сереженька, но мне надо.

Сергей Иванович. Накинь на себя что-нибудь.

*Пауза.*

Сейчас. *(Достает свой халат.)*

*Люба в его халате и тапочках уходит по коридору в ванную. Слышны звуки утреннего туалета. Она взяла с собой сумочку. Сергей Иванович возбужден, растерян и страшно серьезен. Встает, садится. Звонит телефон в коридоре под дверь его комнаты.*

Сергей Иванович. Да. Очень хорошо. Мне пришло вызывающее письмо от Никаноркина. Мы зря, зря давали ему такие авансы. Я... Я сейчас приеду на работу. Не об этом надо думать. Вместо благодарности, а благодарности была бы естественной, будь мы подержанней, я вас не обвиняю, вас именно, но... теперь он требует. Просто не знаю, как будем решать дальнейшее. Как и что. Надо подумать. В таком тоне я ему... я работать не могу. Не хочу, в конце концов.

*Мимо возвращается Люба, и Сергей Иванович останавливает ее. Они тихо ласкают друг друга, и она проходит дальше в комнату.*

Я готов встретиться. Да. Чтобы мы вместе, и обязательно пусть будут Коржиков и Станислав Моисеевич, вы и я. Вот так. Просто решим, что отвечать, насколько Никаноркин нам нужен. Нужен, я понимаю, но надо что-то придумать, чтобы он нам не диктовал... Я еду. Можете собирать людей. Да. Ну, сколько? Через минут сорок, ну, через час буду. Да. Всего хорошего. *(Входит в комнату. Очень по-деловому собирает-ся на работу.)*

*Люба все прибрала со стола, помыла на кухне и сидит, совершенно одевшись, на диване с сумочкой на плече, смотрит на него. Он замечает ее, вырывает сумочку и откладывает подальше.*

Жди меня. Никуда не уходи. Ну, не знаю, книжки посмотри, что ли. Не уходи. *(Уже в дверях, иронизируя над собой.)* Жизнь моя теперь, видимо, должна перемениться. *(Со злостью, что надо уходить.)* Жди! *(В коридоре останавливается и детски счастливо улыбается, но тут же становится серьезен и озадачен всем происшедшим вновь.)*

*Сестра тут же выходит и, помедлив, резко врывается в комнату Сергея Ивановича.*

Люба *(привскакивает)*. Здравствуйте. Люба.

Сестра. Меня зовут Валя.

Люба. Очень приятно, Валя.

Сестра. Да? *(Брезгливо прихихивается.)* Хоть бы форточку открыли. *(Подходит, открывает форточку и назад. В дверях останавливается, задумывается и резко выходит, хлопнув дверью.)*

*Пока Валя совершает утренний туалет и завтракает у плиты, шастая по коридору, Люба садится к столу, вертит ложку. Сидит, вертит. На ложке проба. Ах! Это все серебро. Подошла к буфету и все — серебряные приборы. Валя ничего этого у плиты не видит, но делает стойку и, оставив еду, бросается в комнату. Быстро забрала со стола и из буфета вытацила, унесла серебро. Дверь прихлоннула снова. Люба постояла и села на диван, руки положила на колени себе. Сидит. Быстро-быстро поднимает голову, покрутит шеей и опять сидит. Звонит телефон.*

Сестра. Да. А мне-то что? Что ж я ее обслуживать должна? Танцевать мне перед ней? Нет? Ну, спасибо на том. А мне плевать, что ты задерживаешься: я должна уходить, и я ее здесь не оставлю. И так... Что?! Я еще с тобой об этом поговорю. Я ее не оставлю. Ты — как хочешь: приходи, води... но. Нет! Я так и скажу. А что тут стесняться? Мне надо уходить и все. И все, и так и скажу. А как иначе. И я с тобой не хочу говорить. Очень хорошо. Все в порядке. И впредь...

*Телефон: ту-ту-ту-ту.*

Очень хорошо.

Люба *(старается приободриться и засмеяться. Это выходит не с первой попытки, но, наконец, смеется до глаз, до морщинок на лбу. Гасит свет и выходит в коридор).* Валя! Простите. Я должна уйти. Мне пора. *(Тут она и ей улыбается вся-вся.)* Очень было приятно познакомиться. Вы передайте Сереже, пожалуйста, что вот не дождалась, но пора, пора. Вы передайте, что я позвоню, обязательно.

Сестра *(равнодушно вытирает чашку).* Что ж передавать? Вот и позвоните, и скажете.

Люба. Ну, до свидания.

Сестра. Лимита. Ти-пич-ная лимита! Лимиту в дом привел. Интеллигент.

*Люба долго идет по улице, а улица навстречу. Проходит мимо П. И. Чайковского с его консерваторией. Погода отвратительная.*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

*Захламленная квартира художника. На переднем низком плане кухня. На заднем приподнятом — совмещенный туалет и жилая комната. В комна-*

*те стоит огромный, от пола до потолка, сюрный портрет Любы в костюме эпохи Возрождения на фоне неба и моря с летающими раковинами и бабочками. По стенам на крюках на веревках висят связки картин. Свободного места почти нет. Перед большой картиной табурет. На кухне пьют водку Дима, 1-й художник и 2-й художник. Дима и 1-й художник сидят за столом, а 2-й художник спит на раскладушке прямо на авансцене. На столе бутылки, огурцы, консервы, хлеб, почему-то большие комки бумаги, стаканы. П. И. Чайковский теперь внизу слева.*

1-й художник. Потому что духа у тебя нет. Духа! Душа — это у всех есть, а вот дух — это совсем другое дело.

Дима. Одна бодяга.

1-й художник. Не скажи. Мне книжку давали. Душа — одно, а дух — другое. Вопросы правды и добра надо ставить. Иначе — хана. У меня в картине всегда есть добро и зло. И внутри меня все борется. Борется! *(Показывает, как в нем все борется.)*

Дима *(мутно смотрит на него)*. Чего ты размахался?

1-й художник *(зверя)*. Ты слушай меня! Я сейчас самые глубины свои открываю. Я не о душе думаю. У меня экзистенциальный прорыв. Во!

Дима. Тогда выпей.

1-й художник. Мордovorот ты. Как есть мордovorот.

Дима. Я — художник. Я картины пишу. И все.

1-й художник *(радостно)*. А духа у тебя нет.

Дима *(разливая)*. Ничего. У тебя последняя с синим пятном тоже ничего.

2-й художник *(не открывая глаз)*. Говно.

1-й художник. А ты! А ты! Я тебя убью!

Дима *(примирительно)*. Ну, ты выпей тоже.

*Пьют на своих местах и заедают из консервных банок вилками. 2-й художник аккуратно ставит банку на пол подле раскладушки и опять затихает.*

1-й художник. Картошечки бы.

Дима *(широким жестом на сковородку)*. На!

1-й художник *(попробовав)*. Холодная.

2-й художник *(не поворачиваясь)*. Дай сюда.

*Ему ставят на пол.*

*(Пробует.)* Дух. Если дух, должен и холодную есть. *(Плюет-ся и отставляет сковородку в угол.)* Холодная.

1-й художник. Указывать мне будет. Сам хорош. Дух не в том, чтоб холодную картошку жрать. Дух — это когда вот добро, а вот зло, и они борются. Это чувствовать надо. Это не то, чтоб глупым американам картинки продавать.

Дима. Что?! Сейчас выйдешь отсюда к такой-то бабушке!

1-й художник. Да я ж не тебя имею в виду! Я ж вообще.

Дима. И вообще выйдешь.

1-й художник. Да я ж не про тебя. Я ж про американа. Американ, он же дурак. У него же с детства все есть. Они же все время улыбаются. И подпрыгивают. (*Показывает, как американцы ходят, подпрыгивая.*) И подпрыгивают. Они ж ничего понять не могут. Ты с него чем больше запросишь, тем он тебя больше уважает. Ободрать его нельзя — денег у него много, а содрать — он же тебя и зауважает. Будет говорить — хороший художник, дорого берет. А ты сколько взял?

Дима. Сколько взял — все мое.

1-й художник. Сколько взял — все и пропьем.

Дима. А что ж мне — солить? На дачу-машину копить?

2-й художник. Копить.

Дима (*опешив*). Это почему?

2-й художник. Хороший художник картины пишет. Продаст, за щеку положит деньги и картины пишет, а дурак пропьет и опять американа ищет.

Дима. Не в деньгах же только дело. Отвезет — посмотрят.

1-й художник. Кто посмотрит? Где посмотрят? Американы посмотрят?

Дима. Что ж там совсем уж людей нет?

1-й художник. Нет, Дима, нет там людей. И здесь нет. Но там еще больше нет. Здесь хоть какой заваливающий, грязный, сволочь, а в нем — бездны! А там бабочки, жучки (*показывает порхающих бабочек*), насекомые, эльфы там, а людей — нет.

Дима. Ты брось. Бизнес, воротилы, самоубийства, мафия.

1-й художник. Кому ты веришь, Дима, газетам нашим веришь? Газеты Колька с Петькой делают. Что, мы с тобой Кольку с Петькой не знаем? Они никогда там и не были. И не будут. А начальство их, которое ездит, оно только шмотки привозит. У него там и времени нет куда пойти. Там, Дима, только магазины, а в магазинах полно колбасы, а между колбасой эльфы летают — американцы. И все время улыбаются. А мафию сами выдумали, чтоб нашим же не обидно было, что колбасы нет.

2-й художник. Смотри, дурак-дурак, а дело говорит.

1-й художник. А ты... ты — сам дурак!.. Я тебя убью!

Дима (*рассудительно*). Черт его знает. Так посмотришь. Конечно, по репродукциям...

1-й художник. Вот и я тебе говорю — ноль! Духа нет.

Дима. Да-а... пошел ты со своим духом. Может, мы чего не понимаем?

1-й художник. В живописи мы не понимаем, что ли?

Дима. Чего они пишут так плохо? (*Растерянно.*) Просто пишут ведь плохо.

2-й художник (*садится на раскладушке. Он в одних трусах. Поворачивается за стол*). А у них мозги устроены не как у нас. Шоу-бизнес называется. Наливай. Вон Алик с Виталиком уехали — звезды первой величины, а Олег — в говне. Ха! Олег-то ведь художник. Это же без дураков. А эти? Называется шоу-бизнес. Работа такая. А вы живопись, живопись. Была ваша живопись — вся вышла. Ты вот говоришь — плохо пишут. Наливай-наливай. Кого это интересует? Другие задачи. Этот ух — дух — весь протух (*показывает на 1-го художника*), ты — эстет сраный — плохо пишут. Другие задачи! Шоу-бизнес называется.

Дима (*волнуясь*). Ну, как же так? Все-таки...

2-й художник (*чокаясь*). Ваше здоровье! (*Выпивает.*) Еще давай (*меняет бутылку, разливает*). Здоровье того американа, который купил твою картинку и тем нам доставил несравненную радость общения. И пусть всегда будут американцы, ценители истинной русс-кос-ти!

Все (*поят*). Год, сейв Эмерика, их хоум, свит хоум! (*Пьют стоя.*)

1-й художник (*воодушевляясь, заметно пьянея*). Мы остались хранителями культуры. Может быть, единственными хранителями. Ну, что ты скалишься?

2-й художник *укладывается назад.*

Я убью тебя!

*Дима падает лицом на стол.*

Ты настоящий художник, Дима. Но... дух... дух...— это... Огонь! Огонь! Быстрый огонь!

*Все затихают. Звонки в дверь. Головы приподнимаются и смотрят друг на друга. 1-й художник жестом показывает, что он выяснит, в чем там дело. Поднимается вверх и между санузелом и комнатой открывает дверь и выпускает Любу.*

1-й художник (*широким жестом*). Заходи.

Люба (*спускаясь на кухню*). Как у вас тут весело!

1-й художник. Стакан даме!

*Дима наливает и придвигает полный стакан на край стола.*

Люба. Я сейчас разденусь и сяду.

Дима. Пей, сука! Потом разденем!

*Люба засмеялась, поджала губы и — выпила. Тихонько ойкнула.*

1-й художник. Заешь. *(Делает сообща с Димой ей бутерброд с куском рыбы.)*

Люба *(уже скинула верхнее, пододвинула табуретку)*. Спасибо, ребята, спасибо.

1-й художник. Еще по одной.

Дима *(от усилия над бутербродом совсем ослабел)*. Я уж... абзац! Пропущу. Вы давайте на новеньких.

*Остальные наливают по половине, чокаются с Диминым носом, выпивают. Люба утирает рот, разворачивает забытый всеми сыр, нарезает, накладывает на хлеб. Ей хорошо и тепло.*

Дима *(вдруг вскинулся)*. Душно. Второй день сиднем. Офонареть. Душно. *(Рвет дверь на балкон.)*

*Оттуда снег.*

2-й художник. М...к. Жопу мне застудишь.

1-й художник. А ты выпей с холоду.

Люба *(протягивает)*. Правда, выпей и закуси.

2-й художник *(пьет)*. У, какая хорошая! *(Целует Любу вместо закуски, больно защемив шею.)*

1-й художник *(глубокомысленно)*. Быстрый огонь выжег глаз.

Дима *(вскакивает и летит через табуретку, крича)*. Закрой к матери балкон, говно! *(И дальше невнятно, падая.)*

Люба *(бежит к нему)*. Расшибется.

Дима *(отбивается от помощи)*. Пшла вон, сука. Сам! *(Напрягшись, проходит к балкону, затворяет дверь и вдруг поднимает палец.)* Наливаем!

Люба *(выпив со всеми)*. А я шла-шла. Думаю, куда пойти? И тут же думаю — к Диме, конечно, пойти. И думаю, вдруг грустит, а вдвоем веселее. А если пишет, то, конечно, сурово. Да. Или вот он меня писал. Такая красивая картина. Правда?

2-й художник. Правда.

1-й художник. Это «дама на синем»?

2-й художник. Ну, большая, которая стоит.

Люба. Разве нет?

2-й художник. Хорошая. Хорошая картина.

Люба. Да. Но если натюрморт пишет... да. Но, я думаю, посижу в уголке. Или есть сделаю ему. Покушать что-нибудь. А то он забывает, когда пишет. Увлекается.

Дима. Щебечет-щебечет. Чего щебечет-щебечет? *(Падает назад.)*

Люба *(гладит Диму по голове, он огрызается)*. А тут, оказывается, так весело у вас. И праздник прямо!

1-й художник. Он американу церквуху продает.

Люба. Вон ту, которая как разрезанная вся?

1-й художник. Да нет! Американу! Со снегом все вокруг. Ширпотребную такую. Американу, знаешь как? *(Встает и показывает, таинственно озираясь, оглядываясь. Тычет в маленький портретик.)* Русское искусство! Тайна. Федор Достоевский. Князь Мышкин! Иисус Христос! — Тот сразу: сколько? — 200 рублей. Чеками возьму. Долларами — нет. *(Выпрямляется.)* И все в порядке. Гуляем. *(Показывает водку.)* Отличный продукт.

Люба. Хорошо как. Но надо закусить. Закусить надо. *(Оглядывается и замечает сковородку в углу.)* Ребята, там это надо разогреть.

Все. Разогрей-разогрей.

*С этого момента и до конца действия все резко меняется и приобретает нереальный оттенок. Другое освещение. Плавающие замедленные жесты. Истерические или затянутые фразы. Атмосфера «болотного ада». Все делается очень неловко, с трудом.*

Люба *(двигается в угол, опираясь на стол, наклоняется над сковородой)*. Ха. Никак не уцеплю.

2-й художник *(откидывает прикрывавший его коврик и подбегает к сковородке в кальсонах)*. Уйди вон. Только мешаешь.

Люба. Все. Я отнесу. Поставлю.

2-й художник. Неси. *(Ложится и пытается ногой натянуть на себя сползший коврик.)*

Люба *(сердобольно качает головой, но тут же у нее все плывет перед глазами, хватается за стол)*. Сейчас! *(Ставит сковороду на газ — обчиркалась, но зажгла — и возвращается к раскладушке. Хватает коврик.)* Может, ему одеяло?

1-й художник. Обойдется, на х...

Люба. Спи. Так тоже тепло.

*1-й художник идет вверх в сортир и возвращается, захватив с плиты сковородку.*

Не согрелось.

1-й художник. Нет, согрелось.

Люба. Не согрелось еще, ребята.

Дима. А ты сиди, дура.

Люба. Ну, не согрелось, ребята.

1-й художник. А ты... твою мать...

Дима *(попробовав)*. Не согрелось действительно. *(Жует и плюет.)*

1-й художник. Ну и х... с ним.

Люба. Нет, ребята, надо согреть.

1-й художник. Прежде надо что? Что? Надо дернуть за... за... за прекрасных дам.



2-й художник *встает и молча протягивает стакан. Удар. Темнота. Медленно высвечивается санузел наверху. Люба стоит в ванне в белье. На бачке унитаза повешено ее платье. На коленях перед унитазом стоит 2-й художник и трет лоб.*

Люба. Плохо бедному. *(Оглядывает себя.)* Прямо в трусах залезла, эх. И в лифчике.

2-й художник *(сидит на крышке унитаза и чешет ноги под кальсонами).* Что ж ты, дура, в одежде? Мокрая ж будет. *(Решительно встает.)* Снимай.

Люба. Да ничего.

2-й художник. Снимай. *(Пытается растягнуть лифчик, но чуть не расшибает голову.)* Повернись.

*Она поворачивается, но и так не легче.*

Люба. Подожди-подожди. Я сама. Вот.

2-й художник. А штаны?

Люба. Ну... штаны...

2-й художник. А что ж, в мокрых? Обопрись. *(Снимает с нее трусы, развешивает бельишко на батарее.)* Так-то лучше.

Люба. Спасибо. *(Поворачивается под душем.)*

2-й художник *(приседает на крышку унитаза, встает).* Вылежай. Оботру. *(Подает руку.)* Прохватит сырую. *(Растирает ее полотенцем и, качаясь, смотрит вниз. Улыбаясь, показывает.)* Хочет! *(Тут же хватает Любину грудь, чтоб не упасть.)*

Люба *(назидательно).* Не стоишь, а...

2-й художник. ... а стоит. *(Хохочет.)* Стоит? Стоит. *(Усаживает Любу на крышку унитаза, становится перед ней на колени.)*

Люба. Ну, ведь не хочешь.

2-й художник *(упрямо).* Нет. Хочу. Очень. Сама возьми. Сейчас все будет в порядке.

*Она с ним намучилась, но, наконец, он отваливается довольный.*

Все! Пошли выпьем.

*Освещается кухня внизу, где спит Дима головой на перевернутой сковородке.*

1-й художник. Пропали куда-то... *(Разливает.)*

Люба *(показывает 2-му художнику на себя).* Так я ж...

2-й художник *(выпихивая ее вниз по лесенке).* Да брось ты, все свои.

*Люба садится на раскладушку спиной к зрителям и после того, как все выпивают, ложится, закрываясь ковриком. 1-й художник, глядя на нее, заводится и судорожно сдирает с себя штаны.*

Ты осторожней.

1-й художник (*бросаясь на раскладушку*). Пошел вон. (*Бьет Любу, чтобы не засыпала.*)

Люба (*плачет*). Не можешь, что ли, осторожней. Больно же...

1-й художник. Шевелись! Эх-хх!! (*Медленно встает.*)

Дима (*поднимает голову неожиданно*). Эх, я так тебе верил, так тебя любил! Вон отсюда, б...! (*Привстает, но снова валится на стол.*)

*1-й и 2-й художники вдруг начинают есть. Подсовывают Диме.*

2-й художник. Поешь, давай.

1-й художник (*садится с бутербродом к Любе на раскладушку, гладит ее*). Поешь, легче станет... или выпьем.

Люба (*ответно гладит его по лицу*). Тебе хорошо все?

1-й художник. Очень... да... хорошо все. Поешь.

Люба. Мне позвонить надо... Сереже (*ест*), но телефона нет.

1-й художник (*сочувственно*). Телефона нет?

Люба. Номера нет. Не знаю.

*1-й художник уходит за стол, где пытается накормить Диму, а Люба встает и поднимается в санузел. Натягивает платье на голое тело и, взявшись за полу у разреза, начинает танцевать, выкидывая ноги. Внизу Дима таяло встает и идет наверх. Войдя в сортир, запирает дверь на задвижку.*

Люба. Димочка.

Дима. Верил тебе. (*Поворачивает ее и наклоняет в ванну.*)

Приподымись. На носки, дура.

*2-й, а за ним 1-й художники взбираются по лесенке вверх.*

2-й художник (*стучит в дверь*). Чего заперлись?

1-й художник (*с лестницы*). Я тебе в угол наассу.

2-й художник. Отопри, мать твою...

Дима (*отпирает, а Люба выпрямляется*). Стой ты, дура!

*Она послушно нагибается. В сортире четверо. 1-й и 2-й художники мочатся. Дима возится над наклоненной Любой. Все кричат, хмыкают, невразумительно ругаются.*

Дима (*наконец выпрямляется*). Все. Пошли отсюда. Дышать нечем.

2-й художник (*сводя Диму по лесенке*). Держись.

1-й художник. Ты держись, Дим.

2-й художник (*1-му*). А ты пошел быстрее. Под ногами тут... Наливай лучше, помощник выискался...

1-й художник. Я тебя убью. Я тебя... Я не знаю...

2-й художник (*усаживает Диму*). Давай-давай, быстрый огонь

выжег глаз. Налить не можешь? (*Устраиваются, выпивают и закусывают.*)

Люба (*стояла-стояла в сортире, смотрела на стенку и показывает*). Облупилась. Стенка облупилась.

*Все затемняется, один луч следует за Любой.*

Как в Челябинске, стенка облупилась. (*Выходит из сортира и вступает в комнату.*) Мне позвонить надо. (*Стоит перед своим огромным портретом и смотрит на него.*) Мне позвонить надо Сереже. Но нет телефона. Номера нет. Не знаю номера. (*Достает из кармана платья письмо, показывает портрету.*) Уехал. Написал письмо. Вот. Уехал. Почему? (*Пытается прочесть, но не может.*) В общем не может жить с такими людьми. Почему? Разве в людях дело? (*Протягивает письмо к портрету и выпускает его из пальцев. Листок планирует. Следит за ним и поднимает глаза на грязную стенку.*) Облупленная. И тут стенка облупленная. Как в Челябинске. Везде облупленная и там, и тут. И там, и тут. Номера нет. Уехал. С такими людьми жить... Разве в людях дело! Эх! (*Задевает рукой за связку картин на стене.*)

*Они вываливаются и обнажается прочная петля. Люба смотрит на нее, подтягивает табуретку, залезает и вкладывает голову в петлю. Луч высвечивает только Любины ноги и табуретку. Табуретка падает. Освещен только низ — кухня. Трое выпивают, благожелательно глядя друг на друга.*

2-й художник. И хуже человека пожалеешь.

1-й художник (*подняв палец*). Нет, вряд ли кто с состраданием...

*Удар.*

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

*Декорации 1-го действия. Василий Петрович и Соня выпивают.*

Соня. И хуже человека пожалеешь.

Василий Петрович. Нет, вряд ли кто с состраданием в душе мог бы остаться холодным к тому, что ты рассказываешь.

Соня. Хорошо, что ты приехал.

Василий Петрович. Как бы я иначе мог? Ты позвонила — я тут.

Соня. Ну, мало ли что... Всякие обстоятельства бывают.

Василий Петрович. Какие наши обстоятельства, Сонечка? Такое дело, какие уж тут обстоятельства могут быть?

*Звонит телефон.*

Соня, телефон!

Соня. Ах, да. Это ведь звонок?

Василий Петрович. Да.

Соня. Не твой? Это не ты звонишь, а? Что не можешь прийти?

Василий Петрович. Подойди.

Соня. Я слушаю! Здравствуй, Сережа. Как жизнь? Любин телефон? Или как найти, если нет номера? Подожди. (*Прикрывает трубку ладошкой.*) Вася, чуть-чуть, идиотство, налей. Да! А Любы нет. Больше нет. Ну, не совсем уехала. Подожди. (*Подходит к столу, выпивает, обращается к Василию Петровичу.*) Совсем, совсем уехала. (*Снова берет трубку.*) Как же совпало, что ты звонишь сегодня! С чем совпало? Просто совпало. А Люба повесилась. Вот так. Сегодня утром. Мы же ее вместе вчера видели. Ну, где-то, значит, тогда. (*В голос зарыдала.*)

Василий Петрович (*подскакивает, за плечи трогает, под глазами вытирает*). Успокойся, Сонечка. Ну-ну, успокойся. Не надо же так.

Соня. Я пью, Сережа. Я как трахнутая, ничего понять не могу. Они сидели, пили у ее знакомых художников, она пошла в ванную, потом заходят, а она уже все — удавилась. Да все они там были пьяные. Ну, приезжай. Да приезжай, когда сможешь, я-то отсюда не двинусь: трудовой будень. Пока.

Василий Петрович. Кто это такой?

Соня. А ты его разве не знаешь, Сергея?

Василий Петрович. Мало ли я Сергеев знаю.

Соня. Такой высокий, худой, рыжий. Не то МЭИ он кончал, МАИ? Лаборатория у него по асушным делам. Я с ним работала, а сейчас ему дали лабораторию. Вика у него теперь работает.

Василий Петрович. Какая Вика?

Соня. Та, с которой ты вчера пошел.

Василий Петрович. А, эта клуша.

Соня. Оба вы вчера от меня с дамами вышли. И ты, и Сергей. Слушай, а ты ведь и Любу видел.

Василий Петрович. Когда я ее видел?

Соня. Что ж ты ваньку валяешь? Конечно, видел.

Василий Петрович. Ты же, надо сказать, давно не пила. Ты же вообще не пила — печень. Так?

Соня. Зато ты у нас всегда пил. Что ты из меня дурочку делаешь? Ты считаешь, я сейчас так напилась, что все путаю?

Василий Петрович. Ну, не видел я твою Любу!

Соня. Мало того, что видел, ты еще и пил с ней. Ее чекушку вы раздавили почти что на ходу, когда ты уже улетал.

Василий Петрович (*удивленно*). Да! Это я, Соня, уже — все,

хорош. Это уже, Соня, старость. Склероз. Красивенькая такая девчущка. Но я ее как-то одну минуту видел. Не больше. Еще эта телка здесь валялась, и мы врезали побыстрому. Точно. Но я ее только так, мельком...

Соня. А что красивенькая, уже заметил. Глаз — алмаз. Выпьем, Вася. Выпьем. А то у меня истерика будет.

Василий Петрович (*наливая*). Так он что, сейчас подъедет?

Соня. Кто?

*Пьют.*

Василий Петрович. Сережа этот, твой.

Соня. Какой он мой? Такую лапоньку-рыбоньку профукал, провонял, про... Я не знаю даже, что он там... Он же с ней ушел...

Я почему-то была уверена, что он-то должен понять, что это за баба, а он оказался таким же говном, как вы все.

Василий Петрович (*вздыхает*). Сонечка, какие, Господи, есть. Откуда других взять?

Соня. Я думала, она у него поживет, хоть до лета. А впрочем, его дело. Часа через два он подъедет, сказал. Ему из Чертанова и еще что-то надо сделать по дороге. Ох, я совсем сплю, вчера всю ту ночь не спала. Вы когда все ушли, я еще долго читала-читала, а с утра этот дурак заявился в шесть.

Василий Петрович. Кто?

Соня. Тебе-то какая разница? Прораб. Я ж тут на работе. Потом, думала, отосплюсь, а тут... такое...

Василий Петрович. Ты, Соня, сама с собой говоришь. На фига ты меня позвала? Я зачем здесь нужен? Сейчас этот Сережа приедет и побеседуете. А я пошел.

Соня. Вася, ну не будь ты идиотом, а? Ну, я только что от ребят. Они мне рассказали, как они ее нашли, как милиция приезжала, как их допрашивали. Интересно?

Василий Петрович. А у них неприятностей не будет? Ну, в смысле, там все чисто.

Соня. Вроде не должно. Какие тут могут быть дела? Что, милиции интересно на них дело накручивать? Нет, конечно. Там все ясно для милиции. Лимита бывшая, без прописки, без работы — повесилась. Что, думаешь, это редкость большая? Наверняка у них это через день по Москве.

Василий Петрович. Широко у тебя круг знакомств, ничего не скажешь.

Соня. Ух, какой ты аристократ.

Василий Петрович. Где ты их только цепляешь?

Соня. Да. А с Любой я на этой стройке познакомилась. А потом она у меня даже жила одно время.

Василий Петрович. И ты ее шуганула? Ну, деликатно, конечно.

А Сереже подсунула, чтоб она к тебе опять не запросилась. А?

Соня. Какая ты мразь.

Василий Петрович (*оживился*). Нет, ну сама посуди, явилась к тебе с чекушкой. Для нее — это не просто, деньги на выпивку тратить. Ей же и на жратву, наверное, не очень хватало, а? Значит, что-то попросить хотела. Чего? Да чего ж, Господи, тут гадать. У тебя, слава Богу, трехкомнатная квартира. Тут-то мы и перепугались. А что? Если по-честному, Сонь, то я тебя на все сто понимаю. Живешь тут, а по твоей квартире кто-то ходит, ходит. И ведь конца-края нет! Когда это она куда-нибудь устроится? Держи карман шире. А тут подсказывает этот Сережа...

Соня. Я его сама вызвонила.

Василий Петрович. Ты не считаешь, что нам пора опять выпить?

Соня. Считаю.

Василий Петрович. «За дружеский союз, связующий»...

Соня. Ты хочешь сказать, что подсыпал что-то мне?

Василий Петрович. Помилуйте, как можно! Я — вам? Я думал, уж скорее наоборот. Я — Моцарт. Это точно. Я, знаешь, какую штуку придумал? А? Японцы покупают. Японцы! Это тебе не хухры-мухры. (*Бьет себя в грудь.*) Я придумал. Василий Петрович, а не какой-нибудь там Пронькин-Гельфанд. Во как. Знай с кем разговариваешь. Вот за это и выпьем. (*Пьют.*) Сладость все-таки необычайная.

Соня (*возмущенно*). Господи! Это ты про водку?

Василий Петрович. Сонечка, но вкусы, они ведь... не регламентируются. Это сладость моего народа. У вас — цимес, а у нас... Кстати, я ел этот цимес. Вот уж гадость так гадость!

Соня. А я, Вася, цимес не ела и даже не знаю, что это такое.

Василий Петрович (*внимательно смотрит на Соню*). Цимес — это морковка тертая с сахаром. А вот если ты на меня будешь обижаться по национальному вопросу, дорогая подруга моя, то я тебя за человека считать не буду. Вы все тут как обалдели со своими отъездами, что уже потеряли всякое соображение.

Соня. Вася, а как можно тут не обалдеть? Ты газеты читаешь?

Василий Петрович. Газеты у нас выполняют очень важную потребительскую функцию, Соня. У нас в стране дефицит туалетной бумаги.

Соня. Я не могу, Вася. Ты видишь, что я уже не могу разговаривать. Ты видишь, что я уже сплю?

Василий Петрович. Ты уверена, что ты напилась?

Соня. По-моему, сверх меры.

Василий Петрович. Так вот, если ты так уверена, значит, у тебя на самом деле ни в одном глазу. Тверезая ты, как устрица.

Соня. Почему, как устрица?

Василий Петрович. А ты видела пьяную устрицу?

Соня. Я никакую устрицу не видела. Еще.

Василий Петрович. Я тоже. Никакую. И, в отличие от тебя, никогда и не увижу. Но почему-то мне кажется, что они непьющие. А вот почему ты спать хочешь, я тебе объясню. Тебе со мной скучно. И все. Потому что я не интеллектуал.

Соня. Да. А вот Сергей Иванович интеллектуал.

Василий Петрович. Какой Сергей Иванович еще?

Соня. Сережа вот этот, о котором мы с тобой только что говорили.

Василий Петрович. Так выпьем за Сергей Ивановича! Интеллектуала!

Соня. Он написал эссе о Розанове. Мика взял у него это эссе и увез с собой, а недавно звонил и говорит, что там очень заинтересовались. Но до чего смешно сказал! Передай, говорит, что заинтересовались радиоинженерией. Контора-то Сережина, она по радио всяким делам.

Василий Петрович (*разволновался*). До чего смешно! А! Я себе представляю, как этому Сергею Ивановичу смешно было! А! Заинтересовались там радиоинженерией! И Мика, умник, это по телефону, да?

Соня. Он прямо с лица сбледнул, когда я ему передала. (*Смеется.*)

Василий Петрович (*опять внимательно смотрит на Соню*). Ты это, стало быть, ему передала. А теперь ты мне это передала. До чего ж ты нас, Соня, не любишь.

Соня (*посерьезнев*). Кого вас?

Василий Петрович. Ну, нас. Этих. Остальных. Остающихся то есть.

Соня. Мразь ты.

Василий Петрович. Не без этого. Спорить трудно. Но за Сергея Ивановича выпить тем более надо. Это тебя взбодрит. Ничего более бодрящего, чем водка, просто не знаю.

Соня. Все ты, понимаешь, так переиначишь, так перековеркаешь...

Василий Петрович (*разливая*). Только пить надо не по полстакана и уж тем паче не по четверть, извините за выражение, но исключительно по полному. То есть, как принято называть, целиксовой дозой.

Соня. А я не упаду тут же?

Василий Петрович. Возможно. Но это не является препятствием... по-моему. Мы ведь за Сергея Ивановича, а он

заслуживает. Как интеллектуал. Эссе о Розанове. Мой, как-никак, тезка. А? Василь, правда, Васильевич, не Петрович, но все-таки. И по половым вопросам очень даже много интересовался. Тут у нас, можно сказать, вкусы весьма сходные. Так что? За интеллектуала? В отличие от меня.

Соня (*поднимает стакан*). Да уж, в отличие от тебя. (*Пьет*.)  
Василий Петрович (*пьет, закусывая*). Значит, мальчики в общем-то дешево отделались.

Соня. Какие мальчики?!

Василий Петрович. Художники. Эти. С Любой твоей.

Соня. Почему моей? (*Заметно пьянее еще больше*.) Ты так скачешь все время. Я уже не успеваю. Моей! Что за моей! Все мои! В общем-то, да! Это ты правильно сказал, что дешево отделались. Они боялись, что там анализ какой-нибудь и скажут изнасилование, так что сами сказали, что что-то там у них было с нею. Просили меня подтвердить, в случае чего, что у них давно было и что они — старые знакомые.

Василий Петрович. А было, да?

Соня. Ну, они там все были пьяные!

Василий Петрович (*останавливается*). Что ж, если пьяные, так обязательно трахаться? Это интересно!

Соня. Но обычно бывает, когда пьяные. Никто ж не соображает, верно? И потом даже и не стыдно.

Василий Петрович (*снова принимается есть*). Интересные у тебя, Соня, представления о морали.

Соня. Как ты все перекручиваешь, просто ужасно как-то!

Василий Петрович (*смеется*). Ну, я виноват. Ну, я не по делу сейчас. Продолжай.

Соня. Да. А что продолжать?

Василий Петрович. А действительно, что продолжать? Так. Значит, они ее трахнули там. Все, что ли?

Соня (*рыдает*). Все — не все, дурак! И она повесилась! (*Пытается налить, проливает*.)

Василий Петрович мгновенно перехватывает бутылку и наливает сам.

Ничего не могу делать. А почему, знаешь?

Василий Петрович. Что?

Соня. Почему она повесилась?

Василий Петрович. Почему все вешаются? Потому что пойти некуда было. Элементарно.

Соня (*бессильно опускает голову*). Да.

Василий Петрович. Это все известно. Это еще классик сказал. Достоевский Федор Михайлович. Это не вопрос.

Соня (*истерично*). Да. Да. Да.

Звонок.



Телефон? Нет, дверь. Меня нет. Меня нет. Никого не хочу видеть. А если это Сережа? Надо впустить Сережу.  
Василий Петрович. Для Сережи твоего это еще рановато. Это кто-то из друзей твой трудовсй будень посещает.

*Пауза. Опять звонок.*

Настырный, однако. *(Смотрит на часы.)* Нет, для Сергея Ивановича это рановато, явно.

Соня. А вдруг? Такси взял...

Василий Петрович. Интеллектуалы на такси не ездют. Особенно с техническим образованием. На такси ездют богатые торговцы и нищие актеры. Музыканты еще, правда. А интеллектуалы — ни фига.

Соня. Выпендриваешься... выпендриваешься...

*Звонок.*

Василий Петрович. Опять! Нахал какой!

Соня. Посмотри. А вдруг он!

Василий Петрович. А если не он?

Соня. Гони в шею. Никого видеть не хочу. Не могу! Гони сразу.

Василий Петрович. Вот так, сразу?

Соня. Прямо скажи: пошел вон.

Василий Петрович. Мадам не принимают. В расстройстве они! Месяца у них! *(Решительно идет к двери.)*

Соня. Дурак! *(Идет за ним, очень сильно шатаясь.)*

*Он выходит к воротам, а она слушает у двери сторожки.*

Василий Петрович. Кто там? *(Высовывается вовне.)*

Вика. Это я. Я.

Соня *(шипит)*. Гони. *(Уходит в сторожку, закрывает дверь.)*

Василий Петрович *(выходит за ворота и оказывается на заднем плане, где уже давно приплясывает от холода Вика)*. Да кто ж «я»?

Вика. Вы? Васенька — Василий Петрович. Здравствуйте. Так идемте...

Василий Петрович. Да вы кто такая?

Вика. Да я Вика ведь... Мы вчера...

Василий Петрович. Вчера! Что вчера?!

Вика. Мы здесь торт ели... с водкой...

Василий Петрович. А сегодня нет торта. Нет.

Вика *(растерянно)*. Как нет?

Василий Петрович. Ну, не каждый же день торт.

Вика. При чем тут торт?

Василий Петрович. А я про торт, между прочим, и не начинал. Это вы про торт начали. *(Решается.)* И вообще вы мне надоели.

Вика. Как?

Василий Петрович. Обыкновенно.

*Пауза. Во время которой Соня, уже севшая за стол, выпивает свой полный стакан в сторожке.*

Вика (*тихо*). Я к Соне пришла.

Василий Петрович. Не велено пускать! Шла бы ты... домой.

Вика. Куда, Вася? Я же вчера говорила.

Василий Петрович. Не интересуют меня твои квартирные проблемы. Не интересуют.

*Соня внизу ложится на диван и засыпает.*

Пшла вон.

Вика. Как же так? Мы вчера так хорошо...

Василий Петрович. Жить ты мне мешаешь! Жить!!! Жить мне не даешь! Не нужна ты тут никому! (*Топает ногой, как на кошку.*) Пшла вон!

*Вика испуганно отпрыгивает в сторону, а Василий Петрович уходит за ворота вниз.*

Вика (*воет*). У-у, жиды! (*Уходит.*)

Василий Петрович (*входит в сторожку*). Слышь, Соня эта вчерашняя приходила, Вика. Прилегли? Интересно. Сонь! (*Рассматривает пустой Сонькин стакан.*) Однако. Хм-м! Однако. (*Выпивает, закусывает, поглядывает на спящую Соню.*) Интереснось. (*Возится, стаскивает с нее вместе с колготками трусы.*)

*Соня во сне разбрасывает ноги.*

Вот это да! Это даже как-то... Полный абзац! (*Садится за стол и, не отрывая глаз от Сони, допивает свой стакан и очень вкусно закусывает, крякает, разваливается на стуле.*) Очень интереснось. (*Голова валится на грудь, но тут же просыпается.*) А что ж это нам... не это самое? (*Растегивается и лезет на Соню.*)

Соня (*во сне, невнятно*). Что? Кто? Не надо. (*Засыпает опять, чуть всхлипывая.*)

Василий Петрович (*возится-возится и встает расстроенный*). Не получается, зараза. Ну и... Обидно. А ладно... Нет. Потом же мучиться будешь: мог, а не трахнул. Нет. Надо. А пошла она! Нет, все-таки надо. Или пусть спит? Нет. (*Ложится назад и пыхтит.*)

Вдвоем. Ох!

Василий Петрович (*напевая ходит по комнате с колготками и трусами наподобие флага*). Ну и хорошо. Ну и хорошо. Вот и хорошо.

Соня (*внезапно встает и идет в угол направо, в сортир, огрызаясь под нос*). Дурак. Дурак.

Василий Петрович (*удрученно*). Что ж ты в одном тапочке? (*Разводит руками.*)

Звонок.

Соня (*возвращается и рухнула назад*). Звонят-звонят. Звонят-звонят.

Василий Петрович (*сует колготки с трусами в туалет, прикрывает Соню какой-то тряпкой и выпускает Сергея Ивановича*). Прошу. Пожалте в дом. На дворе морозец, однако, да?

Сергей Иванович. Я...

Василий Петрович. Все знаю, все знаю. Проходите. Вы — Сергей Иванович, не так ли?

Сергей Иванович. Да. Я к Соне.

Василий Петрович. Спит. Вот, видите. Переволновалась. А я Василий Петрович. Очень рад.

Сергей Иванович. Да, я про вас слышал. Вы учились вместе с Соней и Микой.

Василий Петрович. Можно сказать, первый друг. А вот у меня сегодня радость. Нежданная. Но во всяком случае — радость. А у вас — горе.

Сергей Иванович. Да.

Василий Петрович. Я все знаю, все знаю. Раздевайтесь, садитесь, не стойте. Вы здесь не в гостях. Все свои. Свои ведь?

Сергей Иванович. Понимаете, я ушел с утра, но я думал, что не надолго. Думал, раз-два, туда и обратно.

Василий Петрович. Да, Боже мой, да перестаньте вы.

Сергей Иванович. И вот я только сейчас освободился!!!

Василий Петрович. Так бывает ведь, так бывает! Мы же работающие люди. Мы же всегда не можем распоряжаться своим временем. Это же сплошь и рядом.

Сергей Иванович. Верно! Я же не мог вырваться.

Василий Петрович. Не терзайте вы себя так. Не всегда ведь все от нас зависит. Ну, так получилось в конце концов. Бывает.

Сергей Иванович. Конечно. И я звонил! Звонил! Но она уже ушла. Я несколько раз звонил. Сестре давал указания.

Василий Петрович. И что сестра?

Сергей Иванович. Она не выполнила.

Василий Петрович. Что ж, мы не можем отвечать за всех и за все. Это жизнь. Не терзайтесь. Я понимаю, у вас горе. Она вам нравилась.

Сергей Иванович. Я, знаете, может быть, даже и навсегда хотел с ней связать свою жизнь.

Василий Петрович (*морщится*). Да? Во всяком случае это,

конечно, горе. А у меня, вот, нечаянная радость. Так что нам с вами и не грех бы выпить.

Сергей Иванович. У меня есть шампанское. Я хотел сегодня с Любой вечером...

Василий Петрович. Чудесно! Шампанское! Давайте сюда скорей.

А у нас тут еще водочка осталась, если хотите. Я-то все. Все. Назюзюкался, знаете, еле говорю.

Сергей Иванович. Нет. Вы еще вполне.

Василий Петрович. Вы чудесный человек. *(Берет в руку бутылку шампанского у Сергея Ивановича.)* Я ведь тоже про вас слышан. И что мы будем о Любе, о том, о сем?! Еще будут эти Любы! О нашей жизни поговорим. Вот я штуку придумал. Японцы собрались покупать! Да, знаете, а вы, слышал, написали эссе о Розанове.

Сергей Иванович. Уже протрепалась!

Василий Петрович. Да бросьте вы это, Сергей Иванович! Мы же здесь все свои! Мы все свои! *(В зал.)* Мы все здесь свои!!! *(Открывает шампанское.)*

Конец

## О Е.Ф.САБУРОВЕ

Сейчас принято «возвращать в культуру имена» или «вводить в литературу молодых». Евгений Сабуров не молод. Возвращать его не надо: он был и есть. Поэт. Прозаик. Драматург. Пишет и читается давно; публикуется — впервые. Свои произведения подписывает «Е. Ф. Сабуров». У него свое время.

После книги Ницше «Несвоевременные размышления» естественно делить не только мысли, но и саму литературу на «своевременную» и «несвоевременную». Предполагается, что есть литература, время опережающая, есть — «отстающая», эпигонская и, конечно же, над всем господствующая — литература «вечная».

Но что такое — литература «своевременная»?

Вопрос — о литературе и, безусловно, не только о ней; вопрос также об историческом пространстве, в котором литература себя осуществляет. Последние десятилетия это пространство оставалось полым: мы жили не в истории, но в вечности, заступившей место истории.

Разумеется, в вечности ничего не происходит, да и не должно происходить; в ней ничего не меняется и ничего не возникает. Вечность предполагает отсутствие времени, отсутствие возможности быть иным, живым,— ибо время есть предельное отличие, каким предмет или человек отличаются от самих себя. Наши же отличия были исключительно пространственными: известные нам предметы, в том числе и литературные, отличались по отношению к друг другу, но не к самим себе. Все подчинялось ритуалу, юбилейным приливам и отливам. Речи сменялись аплодисментами, аплодисменты — речами; знаки приравнивались значениям, значения — всеобщему одобрению; одобрение переходило в бурные овации, овации — в производственные собрания «на местах» и многотиражную литературу. «Плерома» — полнота всего во всем, о которой два тысячелетия мечтали мистики и теологи, стала неотвратимой обыденностью. Отныне читать великие книги, беседовать с Платоном, Августином, Достоевским и прочими бессмертными классиками всех времен и народов было столь же неизбежно, сколь естественно было претендовать на должность продолжателя великих традиций.

Писательское дело Сабурова в эти годы — героическая попытка обрести в литературе «собственное время», осуществить ее своевременность. Отсюда — особенность его прозы: сопряжение подлинного опыта, соразмерного подлинному, а не нарисованному времени, со способностью мужественно продумывать этот опыт до конца; продумывать, не перекаладывая на чужие плечи, но — «здесь и сейчас», в чутком соотнесении с верностью собственному слову, интонации, дыханию, шагу.

Проза Евгения Сабурова — не литература андеграунда, не диссидентская литература. Для Сабурова дело не в табуированных или нетабуированных темах. Мир, страна, повседневность не разделены у него на «живую» и «мертвую» зоны. И сам он — математик, экономист, преподаватель, научный сотрудник — живет разом и в мире культуры, и в мире научной работы, подтачиваемой то рутинным самодовольством, то беспроигрышным компромиссом. Он никогда не был внутренним эмигрантом, уповающим на то, что где-то за горизонтом, под небом в алмазах, другие, лучшие люди создают вечные ценности. Поэтому, должно быть, Сабуров и не заражен полемическим ядом, он никому не подсказывает, никого не обличает, не учит; его читатель — собеседник, готовый думать и говорить по существу.

Способность Сабурова-прозаика извлекать дополнительные смысловые оттенки из предельных ситуаций, даже из немотствующей темноты, резко отличает его повести и пьесы от традиции нашей «черной литературы». Автор «чернухи» принципиально не принимает, не любит ту жизнь, тот мир, в который вынужден был войти. Он не живет в нем, а наблюдает со стороны. Его поэтика черной беспросветности — решающий аргумент в споре: вот я вам докажу, что вы, ваша жизнь, ваш быт, ваша история, ваша страна — ничтожны, абсурдны и ни на что не годятся. Сабуров подобной логике не следует. Да, он видит мир без грима, но принятие «того, что есть» не означает для него согласия с той жизнью, о которой он рассказывает. Его стиль мысли чужд хорошему пению.

Другое дело — «правила игры»; он их не только хорошо знает, он их принимает. Правда, когда первые повести были написаны, стало ясно: правила правилами, но выигрыша в этой игре быть не может. Такова жизненная позиция — не делать писательскую карьеру. Но это не означало «писания в стол». У прозы Сабурова всегда были свои читатели. Конечно, если бы ее напечатали «тогда», он был бы только рад. Но что-то менять в себе, в своих произведениях ради печатания — такого не позволяла верность литературе.

Подобную позицию занимали и другие писатели, в том числе близкие Сабурову Всеволод Некрасов и рано умерший Евгений Харитонов. Они не ждали ни обновления литературы, ни изменения культурной политики. Они сами, каждым днем своей работы, меняли лицо литературы и творили новую культуру. Оставили они след? Школ в традиционном понимании никто из них не имел, но рядом с Евгением Сабуровым вырос Михаил Айзенберг. Рядом с Всеволодом Некрасовым — Дмитрий Пригов, а след Евгения Харитонова сейчас обнаруживается почти в каждом журнале.

Все они — из того немногочисленного круга людей, у которых нет никакой эйфории по поводу «вернувшихся в культуру имен». Эти имена всегда были с ними, потому что они сами жили в одной с ними культуре. И к их опыту умножения наследия стоило бы приглядеться. Знание творчества Андрея Белого и В. Набокова, М. Кузмина и К. Вагинова, Вл. Соловьева и П. Флоренского не сделало их эпигонами. Они преодолели соблазны и угрозы «культурной гибридизации».

Пьеса Евгения Сабурова — первая встреча с Сабуровым-драматургом. Станет ли его «своевременная литература» действительно литературой нашего времени? Или — окажется «несвоевременной», не услышанной, невоспринятой и откроется нам позже, после чтения его стихов? Не будем предрешать. Ведь прежде всего Е. Ф. Сабуров — поэт.

**Евгений Барабанов**

---

**Олег Юрьев**  
**МИРИАМ**  
**МАЛЕНЬКИЙ ПОГРОМ**  
**В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ**  
**КОМИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**  
**ДЛЯ ТЕАТРА ТЕНЕЙ**





## МИРИАМ

пьеса в жанре народной комедии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мириам.  
Офицер.  
Атаман.  
Краском.

Действие происходит на условно-историческом фоне гражданской войны. В языке персонажей не следует искать реальных общественных, племенных либо каких иных соответствий.

*Театр представляет полутемную комнату. Вещи: стол, на котором стоит семисвечник, может быть, зажженный не полностью; самодельная табуретка; трехрядный могущественный комод; платяной шкаф — двустворчатый, когда-то зеркальный, а ныне — лишь с отливающим желтым свечным светом неровным треугольником в правом нижнем углу. В углу сцены, у самой рамы более или менее никелированная кровать с тускло отсвечивающими шишечками. На кровати — кто-то небольшой лежит, укрытый с головой. В ногах его сидит Мириам.*

Мириам. ...значит, жили три козы. Самую маленькую Козюлькой звали, средненькую — Козой, а старшую, огромную такую — как ее... — ага, Козищей. Ну жили они, жили... Ну, они паслись. Паслись, паслись... тут трава у них кончилась, нечего есть... Ну, решили идти... — искать — ну, где бы чего... Шли, шли, пришли к реке. Быстрая такая речка, камни ворочает. А за речкой — луг. Там трава — самая сладкая, простыни везде развешаны, газеты старые — чтоб жевать; одно слово — козий рай! И всего столько! — на век хватит! Ну они — к мосту (там мост был — узенький, весь качается...). Ну ладно... Решили, чтоб первая Козюлька шла — она самая маленькая. Ну, значит, Козюлька скачет — цок-цок-цок — по мосту. Только до середины доскакала, из-под моста — раз! — Водяной — огромный... «Я тебя,— говорит,— съем». «Не ешьте меня, пожалуйста, господин Водяной,— говорит Козюлька.— Я еще маленькая и очень невкусная. Подождите немножечко, я еще повкуснее. А вот сюда сейчас моя сестра придет, так она меня гораздо больше — она вкусная...» «Ну,— говорит Водяной,— ладно. Раз так — иди вкусней. Потом поговорим». И Козюлька — цок-цок-цок — поскакала через мост. А тут уже бежит — топ-топ-топ — Коза.

«Стой! — говорит Водяной. — Я тебя съем!» «Не ешьте меня, пожалуйста, господин Водяной! — говорит Коза. — Я еще не очень большая и не очень вкусная... А вот сейчас сюда придет сестра моя — очень-очень большая и чрезвычайно вкусная коза».

«М-м,— говорит Водяной,— если будет еще больше и вкусней... чего ж... эх, проходи!» И Коза — топ-топ-топ — побежала через мост. А тут — бух-бух-бух — Козища. «А-а! Вот оно то самое, чего мне и нужно! — подумал Водяной и кричит: — Стой! Стой! Я тебя съем!» А Козища зарычала, закачала бородой, засверкала глазами и раз! — как подцепит Водяного на свой огромный грязный рог. Подцепила, раскрутила в воздухе и как швырнет — летел он, голубчик, ровно девять дней и ночей, а куда прилетел и что с ним потом было — не скажу, не знаю сейчас точно.

Ну, значит, а сестры встретились на этом самом лугу, обрадовались, стали жить, гулять, есть свою сладкую траву, жевать простыни и газеты и, действительно, с каждым днем и с каждой ночью становились все вкуснее и вкуснее.

*Выстрелы, лошадиные шаги, дребезжанье стекла, шевелится свет свечей.*

Офицер (за дверью). ...караулы. Да, Семенёно, вышли еще разъезд к Маковеевке. Всё.

*Распахивается дверь.*

*(Наклонясь, входит.) Ух, как сыро... чрезвычайно холодно... (Крупными шагами пересекает комнату, садится в растянутой шинели к столу.)*

*Полы шинели распластываются по полу.*

*(Стаскивая перчатки.) Горячего бы чего... Чаю, что ли...*

Мириам. Чаю? Сию минуту, пане начальник. Как раз кипит, вас дожидался как будто.

Офицер. А что, не дожидался?

Мириам. Дождался-дождался, пане начальник, вас и дожидался.

*Наливает в стакан кипятку. Офицер пьет, держась обеими руками за стакан и низко наклоня остриженную голову. На столе, в левом ближнем к зрителю углу стоит его фуражка, откуда высовываются, ломая руки, темно-желтые перчатки.*

Так вы надолго к нам, пане начальник?

Офицер (не поднимая головы). Как всегда. Навсегда. Еще...

*Мириам наливает еще.*

Мириам. Вот если покушать насчет, так ничего, извиняюсь, нету.

Вчера было яйцо, но кончилось, ей-богу, кончилось...

Офицер. Не нужно.

*Осторожно и твердо ставит стакан на стол.*

Мириам. Может, еще чего хотите, пане начальник? Говорите, говорите, не стесняйтесь. Только ничего, извиняюсь, нету.

Офицер. Да что ж ты меня этак страшно все величаешь? Меня зовут Георгий Викторович. Георгий Викторович. А тебя?

Мириам (*неожиданно спокойно и убедительно*). А-а, пане начальник, какая разница...

Офицер (*растерянно*). А меня Георгий Викторович... (*После непродолжительного молчания.*) Ну, а как тут, скажи, у вас дела?

Мириам. Какие дела, пане начальник? У нас, упаси Бог, никаких дел не имеется. Кто вам только сказать мог такое, будто у нас якобы дела всякие есть?! Мы люди честные, всякий скажет, всякий... нас тут все знают...— спросите...

Офицер. Ладно, ладно... (*Чуть-чуть продвигается в ее сторону, шагнув сидя, для чего несколько приподнявши задницу и подтащивши под собой табуретку.*) А скажи, любезная... Муж-то твой, а? Где муж-то твой? Небось воюет — все вы теперь героини краснопузые, а? Комиссар небось, а?

Мириам. Ни-ни-ни-ни-ни. Боже упаси! Совсем наоборот, пане начальник. Он за вас как раз, очень у вас нужный человек, не сглазить бы. Как раз на той неделе ваши за ним специально приезжали, чтобы (*показывает двумя пальцами*) чик-чик генерала вашего жеребца.

Офицер (*еще несколько продвигаясь в ее сторону, благодушно*). Это что же такое, «чик-чик» этот?.. (*Привставая.*) Как это генерала?!

Мириам. И полковника тоже, не только генерала — чик-чик.

Офицер (*успокоенно*). А, он парикмахер.

Мириам. Я знаю, как это у вас называется? Может, парикмахер, может, еще что. Короче, вам там мерины нужны, а мой муж человек известный, лучше его не найти, всякий скажет, всякий...

Офицер (*начиная понимать*). А-а, я начинаю понимать... Он чик-чик (*показывает*). Он чик-чик (*смеется*).

Мириам. Ну да же! Он из жеребца генерала делает мерина...

Офицер (*вскакивая*). Я тебе запрещаю издеваться над меринами нашей армии! Слышишь?! — запрещаю!

Мириам. Что? Что? Я же ничего такого... Я же...

Офицер. Хватит. Если ты мне еще раз скажешь слово «мерин», я велю тебя наказать. (*Садясь на табуретку.*) Мой долг

воспрещает мне ведение подобных разговорчиков! (*Еще чуть-чуть придвигается к ней. Вздыхает.*) Ах, как грустна все же наша солдатская жизнь. Ни семьи, ни дома, ни очага, ни чего. Скачешь все, скачешь куда-то... И нет с тобой рядом никого, кто бы понял тебя, посочувствовал, кто бы прижал твою израненную голову к своему нежному сердцу...

Мириам. Ай-я-яй. Скажите, пожалуйста...

Офицер (*еще придвигаясь*). Ей-богу! Да! Я прострелен в четырнадцать местах, моя шинель пропахла порохом и кровью, мои руки разучились обнимать женщин, а приучились лишь к шее моего верного коня, четырнадцать раз уносившего меня из кровавых ловушек смерти. Я прямой человек, я солдат, и я скажу...

Мириам. А скажите, пане начальник, конь у вас — жеребец или кобыла?

Офицер. Кобыла. Машка. А что?

Мириам. Ничего-ничего, пане начальник. Просто, если у вас там кому-нибудь мерин нужен, то муж мой человек известный, лучше его никто не сделает, всякий скажет...

Офицер. Мол-чать!!! Я уже тебе запретил, кажется, произносить...

Мириам. Извиняюсь, извиняюсь, пане начальник, не буду больше... Значит, вы обнимаете свою кобылу и что же дальше?..

Офицер. Дальше? Ну да, я обнимаю свою кобылу и... М-м-м... что же я хотел сказать? — Как-то из головы вылетело...

Мириам. Так вы обнимаете кобылу...

Офицер. Да нет же, не кобылу...

Мириам. А кого?

Офицер (*оживленно*). Вот в том-то и дело, дорогая моя, что некого, совершенно некого мне обнять на трудных дорогах войны. И никто меня обнять не может... (*Трагически заслоняет лицо ладонью. Выглядывает.*) То есть понять не может, понять. (*Снова заслоняется.*)

Мириам. Не расстраивайтесь так, пане начальник. Мой муж говорит — а он так понимает, — что кобылы — очень умные животные, почти все понимают, понимаете ли. Да, пане начальник, кстати —

*Офицер выходит из трагической позы.*

если у вашей кобылы будут жеребеночки, то лучше моего мужа никто не примет — у кого хотите спросите. И берет он недорого...

Офицер. Моя кобыла — солдат, как и я, и ей сейчас не до жеребят! Но вообще я потом поразмыслю, как твоего... этого пристроить. Может, действительно, кому-нибудь ну-

жен... мерин. Мол-чать!!! *(Вскакивает, подбегает к столу и несколько раз стучит по нему кулаком.)* А-а, это я сам сказал. Ну, неважно. *(Снова садится, придвигая при этом табуретку еще чуть-чуть.)* Прошу прощения, нервный, знаете, стал. Так вот — я таки устрою твоему Мойше за-амечательную карьеру, — если... мы не поспоримся.

Мириам. Так мы же...

Офицер. Я — офицер! Моя честь дворянина и образованного человека не позволяет мне поднять руку на женщину, на этот перл создания и...

Мириам. ...и шмерл творенья.

Офицер. Да! Поэтому отдайся мне по-хорошему!

Мириам. Что вы, пане начальник, как можно?!

Офицер. Очень просто. Я бы ведь мог тебя изнасиловать, правда? Ведь мог бы, верно? Но я же не стал и не стану, следовательно, я — благородный человек, следовательно — отдайся мне! Все!

Мириам. Ну нет уж, пане начальник, вы уж меня, пожалуйста, лучше изнасиуйте. Тогда, если придет мой муж и спросит: «Мириам, была ли ты мне верной супругой, скажи, Мириам?!» — я отвечу: «Почти».

Офицер. Это как же, почти?

Мириам *(с неопределенным жестом)*. Ну... почти.

Офицер. А-а... *(Широко и криво улыбаясь, встает и шагает к ней, расставив руки.)* Ну, будем считать, что я тебя насилую.

*Мириам бьет его коленом в пах.*

*(Согнувшись и держась обеими руками за пострадавшее место.)* Ты что, сука?!

Мириам. Но вы ж меня насилуете, пане начальник!

Офицер *(добравшись до табуретки)*. Да ты знаешь, что я тебя могу расстрелять или даже повесить? А?! Знаешь?!

Мириам. Никак не можете, пане начальник, как благородный человек. Давайте я замочу какую-нибудь тряпочку — суньте ее себе в штаны.

Офицер *(его отпустило, он неуверенно встает)*. Ты шпионка и я тебя сейчас застрелю. *(Скособочась, по самый погон запускает руку в карман шинели.)*

Мириам. Ай-я-яй, пане начальник. Мой дедушка был поблагородней вас, а он бы уж никогда не стал стрелять в бедную женщину.

Офицер. Да как ты смеешь?! *(Судорожно шарит в подкладке.)* Господи, куда он мог подеваться!

Мириам. Мой дедушка, земля ему пухом, никогда не забывал свой револьвер где попало.

Офицер (*осторожно садясь на табурет. С надрывом*). Ну откуда, откуда у этого твоего распроклятого старого жида мог взяться револьвер?! Откуда?!

Мириам. Это был его любимый револьвер, из которого он хотел застрелиться, когда мой прадедущка со стороны бабушки, земля ему пухом, не захотел выдать за него бабушку, земля ей пухом, потому что дедушка...

Офицер (*язвительно*). Земля ему пухом?

Мириам. Да, пухом — был граф.

Офицер. Боже мой, какой граф? Ну какой, какой граф?!

Мириам. Я знаю, какой? Граф и все. Граф или князь. По-моему, даже князь. Точно, князь — Хвалынский ему была фамилия.

Офицер. Я, я князь Хвалынский, а ты кто, мать твою?..

Мириам (*спокойно*). Ну, значит, мы родственники. Ай-я-яй, пане начальник, а вы еще хотели меня расстрелять, повесить и изнасиловать. Очень, очень некрасиво. Благородные люди так не поступают по отношению к своим родственникам, как говорил мой дедушка.

Офицер (*обреченно*). Земля ему пухом.

Мириам. Да-а, святой был человек, хороший был еврей, можно сказать; единственно что, бывало, в синагоге все ермолку норовит с головы стянуть, да иногда еще покреститься потянется. Вспомнит, притворится, что лоб зачесался — и снова сидит, земля ему пухом.

Офицер. Но ведь я, я Хвалынский, мы одни Хвалынские, не было такого никогда, я б знал!.. знал!..

Мириам. Вам, наверное, просто не рассказывали, чтоб когда-нибудь сделать сюрприз. Так вам тряпочки не нужно замочить, а? пане начальник?

Офицер (*еще продвигаясь к ней, уже, кстати, совсем близко*). А знаешь, это даже хорошо, что мы родственники. Поцелуй меня, сестричка, по-братски. Завтра утром твой маленький братик ускачет на своей белом коне навстречу пулям и саблям, — так что невинный родственный поцелуйчик его сможет несколько утешить.

Мириам (*отступая*). Как говорил мой дедушка...

Офицер. Знаю, знаю про дедушку, земля ему пухом. (*Поет.*) Ну пацалуй! (*Встает.*)

Мириам. Ну ладно. Если по-родственному, то я попробую. Только зажмурьте глаза — я стесняюсь...

*Офицер протягивает руки, старательно жмурится и улыбается. Мириам со всей силы бьет его коленом в пах.*

*Он приседает и кричит: «Ох!!!»*

Извиняюсь, пане начальник, я таки, кажется, немножко

промахнулась с этим нашим родственным поцелуйчиком.  
Офицер (*выстывает*). Ну сейчас... я тебя все-таки застрелю... змея курчаваая...

*Мириам пытается выбежать из дома, но он, левой рукой держась за пострадавшее место, а правой вытаскивая нашедшийся-таки револьвер, догоняет ее и отшивыряет к двери.*

Ну вот. (*Приближается к ней, целясь дрожащим дулом.*)

*За окном слышны выстрелы, крики, конский топот и прочее тому подобное.*

Мириам. Что, пане начальник, съели? Наши пришли. Это вас сейчас будут расстреливать и вешать, а не меня.

Офицер (*хрипло*). Какие ваши?

Мириам (*неопределенно*). Ну... наши.

*Офицер машет рукой, выбегает из комнаты, сейчас же вбегает обратно и принимается рысцой бегать по комнате, держась за пострадавшее место и размахивая револьвером.*

Пане начальник, а пане начальник. Если вы уж очень хотите, то можете в шкаф залезть. (*Раскрывает одну створку.*)  
Добро пожаловать.

Офицер. Ага! — чтобы они взяли меня, как мышь в мышеловке.  
Ни-ког-да! Я буду отстреливаться до последнего патрона, а последним убью тебя, предательница!

Мириам. Не забудьте хорошо закрыть дверцу и, действительно, сидите там как мышка, пане начальник,— земля вам пухом.

*Офицер, ворча, уstraивается в шкафу.*

Атаман (*за дверью*). Вы, хлопцы, рубайте, рубайте; я мигом...

*Вваливается. На нем растянутый полушубок. В правой руке — обрез, в левой — лимонка. Останавливается на пороге, озираясь.*

А, вот тут кто!

*Топоча дубовыми сапогами, бежит к Мириам. Та — от него. В результате принимаются бегать вокруг стола. Последующая беседа происходит именно в таком состоянии.*

Стой, стой, курьва! Ща рвану! Стой! Стой!

Мириам. Пане начальник, так вы ж и сами убьетесь, извиняюсь, конечно.

*Атаман бежит, глядя вверх и назад, на вознесенную над головой гранату. Спотыкается, падает, оставляя руку вверх. Мириам приостанавливается.*

Атаман (*полежав, вскакивает*). У-у, зараза!

*Бегут.*

Мириам. А не сможет чтоб сказать пан начальник — или они будут не с банды Ощепенки часом?

Атаман (*в утвердительном смысле*). Ну. (*Взрывает.*) Я тебе покажу банду!

Мириам. Извиняюсь, извиняюсь, пане начальник — с армии. С армии, с этой... с освободительной, как ее...

Атаман (*несколько умягченно*). С хлеборобской освободительной, с хлеборобской. Разумеешь?

Мириам. Ни-и, пане начальник, не разумею.

Атаман. Где ж тебе, нехристь! Оно к тому, шо мы только хлеборобов освобождаем. А всяка друга сволочь сама нехай освобождается, як хочет. Ясно?

Мириам. А, ну ясно. А простите за нескромность, — много уже кого освободили или как? пане начальник, а?

Атаман. Уж Каменку освободили, а шо?

Мириам. Это ту Каменку, шо у Клячкина Врѣга, эту Каменку? А Грицька-пасичника, ну шо мед возит, вы его тоже?..

Атаман. Шо «тоже»?

Мириам. Это... освободили... его тоже?

Атаман. А як же! Сразу же!

Мириам. Ну и как же он теперь, пане начальник, освобожденный?

Атаман (*размыслив немного, машет рукой с обрезом*). А-а, шо ему, черту старому, сделается... Как всегда...

*Мирное течение беседы прерывается решительным скачком Атамана. В последнее мгновенье Мириам уклоняется. Беготня усиливается. После нескольких кругов Мириам забирается на табуретку, с табуретки — прелестно, по-женски придерживая юбку — на первую ступень трехрядного комода; подхватывает прислоненный в углу ухват и припиливает им набежавшего Атамана за шею к стене.*

Пусти, сука!..

*Хватается зубами за кольцо гранаты и кидает ее в окно. Взрыв. Сыплются стекла. Освободившейся рукой перехватывает ухват и в свою очередь припиливает Мириам к комоду (по возможности, за талию).*

(*Сплевывая кольцо.*) Не родилась ще такая баба, шоб Ощепенка объехать. Ще не родилась!

Мириам (*пытаясь руками отодвинуть от себя ухват*). Так что — вы и есть сам тот самый Ощепенко?! Шо ж вы, пане начальник, сразу не сказали, я ж и не бегала бы зазря! Ай-я-яй-я-яй! Сам батька Ощепенко...

Атаман. Шо, слышали про Ощепенка, идолы?!



Мириам (*старательно-восторженно*). Ну а як же ж!!! Так я же тогда согласная! — Разве ж от Ощепенки убежишь? — всякий скажет...

Атаман. Ну то-то. (*Убирает ухват.*)

Мириам (*боком сползая с комода*). Что, пане начальник, я, конечно, извиняюсь,— может, перекусите сперва, чем богаты? — Измаялись, верно, гонявши, как заяц, день и ночь, ведь не маль...

Атаман. Как кто?!!

Мириам. Извиняюсь, извиняюсь, пане начальник. Как лев. Как тигр. Как орел.

Атаман. Другое дело. (*Засовывает руку в карман полушубка и извлекает еще одну лимонку.*) Не, не то. (*Сует обратно, вытаскивает бутылку самогона и ставит на стол.*) Ну шо, давай тогда вечерять, коль такие кренделя. (*Снимает полушубок, смотрит куда бы его пристроить, не находит и садится, положив его к себе на колени. Сверху кладет обрез.*) Сидай, молодая.

*Он в овчинной безрукавке на алую шелковую рубаху и латаных штанах с лампасами.*

Мириам. Пан начальник наверно шутят. Это же можно только стоять, если перед тобой сидят сами пан начальник такими львами, такими тиграми, такими орлами!

Атаман. Сидай, сидай... Мы, хлеборобские освободительные, не то что эти... или эти...

*Наливает самогонку в стакан, стоящий на столе. Роемся в карманах штанов: из одного появляется кривой черный сапожный нож, а из другого — шмат сала. Протягивает стакан Мириам.*

Накось.

*Мириам деликатно принимает стакан, с мгновенье держит его в вытянутой руке и залпом плещет через плечо, ближнее к зрительному залу.*

Знатно! Приешь-ка. (*Отрезает от сала и протягивает ей на ноже кусок.*)

Мириам. Спаси вас Бог, пане начальник! Всю жизнь мечтала о хорошем куске настоящего домашнего сала. (*Осторожно берет нож за лезвие, стряхивает сало за плечо и кладет нож на стол.*) Спасибочки.

*Атаман наливает себе и опрокидывает. Отхватывает здоровенный кусок сала.*

Атаман. Э-эх, хорошо вошло! У-а! Ну шо, давай, шо ли?..

Мириам. А вот не скажет пан начальник — вот Каменку вы освободили, вот нас... а вот дальше куда?

Атаман. Дальше? Дальше — ясно! Варькин Млын брать станем. Мириам. А дальше?

Атаман. Ну, там по тракту — Сухокурье, Нужный Хищ, Готмитунзовка... так... — а тебе зачем?

Мириам. Пане начальник, ну так, может, я посылочку с вами передам, если по пути... Двоюродной тете. И так что ж? и что дальше?

Атаман. Дальше?.. А, эта — Фифина Пустошь — знаешь, где Гриценки на курятни колонны с панского дома насобачили... Гыа!..

Мириам. Пане начальник, ну будьте такие хорошие, ну скажите — ну куда, куда дальше, а?

Атаман. А шо тут? За Фифиной Пустошью шо идет? — о! Москва! Возьмем вот Москву-матушку, освободим ее от комиссаров да панов, да и заживем по-хорошему! По-божески заживем. О как! Ну ладно, где тут у тебя, в смысле, ну...

Мириам. А что, пане начальник, вы в этом разе императором заделаетесь, так я понимаю?

Атаман (*лезет в потылицю*). А шо?! Меня народ любит! Может, и поставит меня народ царем, раз он меня любит. А раз поставит, значит, буду стоять. Я — могу. Я — человек известный. Могу и туда, могу и сюда... Куда хочешь могу. Я, например, на германской войне восемь... десят... турков пленил... зараз.

Мириам. Да ну, шутите. Где ж это у вас на германской турки водятся? На германской — германцы водиться должны.

Атаман. Фью, глупая. Там разные были. Турки там, германцы, вашего племени были... Вот у нас, к примеру, гражданская щас, так?

Мириам. Ну?

Атаман. Во. А у нас господа с товарищами воюют. А граждәне отдельно.

Мириам. Граждәне? Это как же ж они, извиняюсь, конечно, отдельно?

Атаман. Граждәне, они хи-итрые. Хлеборобские освободительные, иначе сказать то ись. Они — отдельно. Ну, хорош гуторить, давай ночевать. Мне еще к куме.

Мириам. Пане начальник, а может, вы сейчас к куме, а завтра я в баньку, постелюсь, то-сё... Что ж такому человеку да неумытой женщиной пользоваться?!

Атаман (*кладет обрез на стол, вешает полушубок за шиворот на левый ближний к зрителю угол стола. Вставая*). Это ничего, шо грязная. Меня, брат, простой грязью не порaziшь. Вот, помню, на этой, германской, я вовсе черную жинку звал. Нам союзники прислали их миллион, чтоб, значит, мы ободре-

ли. Я, знаешь, попервой и не поверил изначально. Палец незаметно поклонил и по животу ей потер — ничего не отходит — черная, как есть. Так что баба — она всегда и есть баба. *(Подходит к Мириам и берет ее за плечо.)*

Мириам. Шухер! Заразная я!

*Атаман отдергивается.*

Извиняюсь — все знают: заразная. От меня ж — как дай вам Бог враги — кто куда... — одни — туда, другие — сюда, третьи — еще куда-нибудь. Зараза — необоримая. В Маковеевке плотника знаете? как его?... с крыши еще свалился — таки от меня заразился.

Атаман. И какая ж, разрешите обратиться, хворь тебя гложет? Може, и мы какую лекарству същем, а?

Мириам. Какую? какую лекарству, пане начальник? Если б какой-нибудь меня лекарством бралó, так что ж? враг я, что ли, здоровью своему? Козу бы продала, обстановочку *(делает округлый жест)*, все... А я же ж говорю: моя болезнь — необоримая, извиняюсь, конечно.

Атаман. А я тебя сейчас — излечу, При мне такая особенная лекарства имеется *(присев и зажмурясь, делает «мой меч — твоя голова с плеч»)* — вмиг существование от несущественного отметет. Ну-ка, излагай, какая такая твоя есть болезнь.

Мириам. Что вы, пане начальник, как же ж? Болезнь-то ужасная, несказуемо какая ужасная болезнь. Выговорить невозможно!

Атаман. А-а, вон оно шо... Так оно ладно... оно ничего... Я с твоей заразы не боюсь — у меня, к примеру, две такие, несказуемые, с германской ще. Гыа...

Мириам. Ай-я-яй, пане начальник, что ж вы такое говорите? У вас болезни, можно сказать, простые, общеупотребительные, а моя болезнь ваших таких ста стоит, или больше. Вы ж вслушайтесь только, название-то какое — презумпция невиновности. О как!

Атаман. Як? Лгешь, курьва. Я такую болезнь знаю, оно болезнь благородное, это у нас на германской поручик Чубчиков мучились. А шоб у рыжего Янкеля дочки така хворь образовалась — режьте мое тело, нет веры моей на таковское дело!

Мириам. Пане начальник. Так вы что ж, и папашу моего, выходит, знали, земля ему пухом?..

Атаман. Гыа... Знал?! Столько б хлопцев к мне в бан... ду-ду-ду — то ись в армию... — сколько мне этот самый Янкель запласт на сапоги перепоставил. Приидеш в город — с поросям там или с чем еще... — а папаша твой чуть свет уж у базару — полон рот гвоздей. Душевный был... — как сейчас

помню. Повезло ему, шо ще до всего этого безобразия Бог прибрал — нынче вашему брату уж вовсе тошно... Ну, хва! Давай лягать!

Мириам (*подростерявшись*). Как же ж, пане начальник, вы ж папашу моего знавали, и что ж?..

Атаман (*спокойно*). От глупая. Я ж тебе говорю — гражданская война щас. Ясно?

Мириам. Ясно. Ясно, ясно, ясно... Ну, пане начальник, коли вы болезни моей не боитесь, и Бога не боитесь, чего ж с вами уж поделаешь? Минуточку, минуточку, сейчас изготовлюсь... Отвернитесь — туда, туда, в уголочек... во-во.

*Атаман неохотно и все время оборачиваясь идет в предуказанное место.*

Не подглядывай, пупсик.

Атаман. Только скорее... Я человек немолодой, долго уже ждать не могу.

*Мириам подходит к углу, наклоняется, что-то делает, перебегает комнату наискосок и повторяет свои манипуляции. Затем возвращается к столу и взлезает на табуретку.*

Мириам (*медленно*). Ну, вот и все. Я готова. Можете уже обращаться.

Атаман (*оборачиваясь*). Ты шо? Шуток со мной шутишь?! Я тебе...

Мириам. Замолкни, человек. Недостойный раб. Знаешь ли, за кем вздумал ухаживать, знаешь? Ага — не знаешь! Я ведь сама ваша святая-пересвятая Богородица. Сошла я в эту вашу земную юдоль, сошла, чтоб ободрить страждущих и покарать преступных... а ты, вошь, под юбку путаешься!

Атаман (*после замешательства*). Ах ты, морда...

Мириам. Не вякай, червь... Гляди.

*Делает крупный шаг и застывает в воздухе приблизительно в полуметре от пола.*

Атаман (*мелко и часто крестясь*). Господи-боже, господи-боже, господи-боже...

Мириам (*нравоучительно*). То-то же!

Атаман (*валясь на колени*). Матенька!.. (*Пытается в этом положении ползти.*)

Мириам. Т-ш... Не приближайся, дурнопах. А то попрошу Илью Пророка тебя молнией трахнуть.

Атаман. Матенька!.. (*Стучается лбом об пол.*)

Мириам. Я-то матенька... Вот что тебе батенька скажет, ироду?..

Ну, пока я добрая, кыш отсюда.

*Атаман взвывает и бросается к выходу. Зацепляется за веревку и падает. Мириам, естественно, тоже. Она сидит на полу, раздвинув ноги под платьем, и весело смеется.*

Какие ж вы, пане начальник, все ж таки кретины,— это ж мамочки мои рѳдные!

Атаман (*очумело*). Га?!? — Га!!!

*Прыгает к столу, хватает обрез и передергивает затвор. Наставляет обрез на Мириам. Та смеется.*

Ну, ща я тебя в бога мать...

Мириам (*спокойно*). Ни-и... Слышите?

Атаман. Шо? (*Озирается.*)

*За окном выстрелы, крики, скрежет сабель и т. д.*

Мириам. Это наши. Это, извиняюсь, конечно, Илья Пророк скачет.

*Атаман сует голову в окошко, принимает ее обратно, несколько раз стреляет на улицу.*

Атаман. Окружили, прижали, отрезали! Обманули Ощепенка!

А ты что лыбишься, кўрлядь!

Мириам (*вставая с полу*). Знаете что, пане начальник? — не грубите. Будете грубить — вас таки вздернут на фонаре — вон там, у рынку, под каким мой папаша сапоги ваши чинил. Хотите? Ну ладно, ладно... залазьте-ка лучше в шкаф. (*Открывает вторую створку.*)

*Атаман стреляет в окно, останавливается, что-то соображая, и залезает в шкаф.*

Атаман. Спаси тебя Бог, дочка!

Мириам (*закрывая дверцу*). Исключительно в память о папаше... царство ему небесное...

Краском (*в дверях*). Разрешите, хозяйюшка? (*Входит.*)

*Он в мятых галифе и намертво застегнутом френче. К боку пришпилена шапка.*

Мириам (*подходя к столу и приостанавливаясь*). Милости просим, милости просим... Пожалуйста, пожалуйста, пане начальник.

Краском. Ну какой же я пан, голубушка, ну какой пан? Вы что ж, не видите? (*Показывает на себя руками*) — товарищ я. Товарищ Гусев. (*Подает ей руку.*) А вас-то как, товарищ?

Мириам. Извиняюсь, руки у меня грязные. (*Берет протянутое за обшлаг и несколько раз стряхивает.*)

Краском. Так ведь и у меня, чай, не одеколонные! Как раз выйдет настоящее пролетарское рукопожатье. Это буржуи пусть...

у них заведено, чтоб руки друг дружке лизать, они пусть и скоблятся, как чесоточные. А нам такая хворь ни к чему... верно я говорю?

Мириам. О, пане начальник, как вы правы, как правы! (*Хочет выйти из комнаты.*)

Краском. Стой! Куда?

Мириам. Как куда? На двор пойду... таки попачкаюсь как надлежит...

Краском. Не-надо-не-надо. В таких делах нарочитость, она всегда подозрительна — еще подумают, что примазываешься. Пусть все естественно проистекает... верно я говорю?

Мириам. Ну вам виднее... воля ваша... И так чтоб, пане начальник, может, нужно чего? Могу кипяточку... что еще? — еще кипяточку могу... А... — вот, водочки хотите?

Краском. Сначала, знаешь, чего попрошу — водицы, горячей — в тазик или еще куда... ну, чтоб ноги поставить. А то, знаешь, скакаше, скакаше, конечностями страдаше... Сапоги, черт, жмуть, заразы белогвардейские.

Мириам. А? — Мигом.

*Мириам проворит ванночку. Краском, чертыхаясь и приговаривая «дворянское копыто» и «сопля голландская», стаскивает блестящие длинные сапоги со шпорами и, накрывая, как фокусник, портянками, ставит их аккуратно к левой, ближней к зрителю ножке стола. Сидит на табурете, вертя на весу большими пухлыми ногами. Мириам приносит тазик.*

Краском. Пх-х-х... Мерси, товарищ...

Мириам. Ой, пане начальник! Так они же ж у вас отмоются! Или ноги можно?

Краском (*выдергивая ноги из тазика*). А?! Что?! (*Кладет обратно.*) Не... ноги можно... А скажите, голубушка, сейчас у вас тут какие настроения? — например, нашим приходом довольны... из беднейших слоев которые?

Мириам. Так вы ж, пане начальник, едва, извиняюсь, пришли, только-только, можно сказать, ноги в тазик сунули — кто ж вас знает...

Краском. Нас-то всякий знает... можно сказать, наше дело такое... Вот вас тут всех бы узнать... — не навредило. Ну-с, так и запишем: умонастроения мелкобуржуазные.

Мириам. А это, пане начальник, хорошо или плохо, а?

Краском. А это, красавица, с какой стороны глянуть: с одной — может статься, конечно, и хорошо, а с другой... ну, с той, пожалуй что, и неважно.

Мириам. А вы, пане начальник, с какой стороны смотреть станете, извиняюсь, конечно?

Краском. А я, рыбушка, диалектически — в плане... ну, тактической стратегии...

Мириам. А-а... ну ясно...

*Краском твердой рукой наполняет стакан.*

А не скажете, извиняюсь, конечно,— вот вы сюда пришли, а дальше куда?

Краском. А мы, цыпушка, здесь сосредоточимся. (*Выпивает.*)  
Здесь хорошо.

*После непродолжительного молчанья.*

Мириам. А-а... ну ясно... Пане начальник, вот вы, кажется, думаете, что мы за них...

Краском. Не-а, не думаю.

Мириам. ...а мы за вас...

*После непродолжительного молчанья.*

Пане начальник, а вот комбриг у вас случайно не товарищ Буденный?

Краском (*вырезая из сала аккуратную пирамидку*). Не-а.

Мириам. А кто?

Краском (*засовывая пирамидку в рот*). Это, дорогой товарищ,— секрет.

Мириам (*радостно*). Так мой же папаша, земля ему пухом... с дорогим товарищем Секретом вместе — еще при царе — в тюрьме сидели, и кстати...

Краском (*жуя*). В тюрьмах... много всяких... сидит...

Мириам. А-а... ну ясно...

*После непродолжительного молчанья.*

Краском. Любушка, а покушать бы... еще... не найдешь чего... а то я свою пайку подарил... сироткам тут одним...

Мириам (*вяло*). Было вчера яйцо, но кончилось, истинный Бог, кончилось.

Краском. Ах ты, жалость какая... Ну ладно... А хлебца, знаешь,— кусочек... нету?

*Мириам вынимает из комода небольшой кусок черного хлеба, накальвает на извлеченную оттуда же вилку и преподносит Краскому.*

Благодарствуйте, хозяйюшка. (*Жует.*) Милушка, водички не плеснете еще?— стынет...

*Мириам подливает из чайника. Краском шлепает ногами в тазу и ахает.*

Пх-х-х... хорошо... Осторожно, осторожно!.. хорошо... А вообще вы тут плохо чего-то живете. Ну ничего, скоро будете жить еще лучше... А скажите-ка, птицушка, вот вы вроде как

беднячка и все такое... хорошо... — а чего ж это вы в нас из окошек стреляете? А?! Кто вас одурманивает? А?!

Мириам. Я стреляю?! Боже упаси, пане начальник, — я ж... и с какого конца заряжать его знать не знаю...

Краском. Вот я и говорю: заряжал-то некто иной, а ваш бедняцкий одураченный палец всего лишь послушно нажимал собачку.

Мириам. Чего нажимал?

Краском. Собачку. *(Показывает указательным пальцем.)* А хлебу не същете еще — чуть-чуть?.. — а то я свою пайку подарил... сироткам тут одним...

*Мириам описанным уже манером удовлетворяет его просьбу.*

*(Поощрительно.)* И ну...

Мириам. Что «и ну»?

Краском. Как что? — фамилии, явки, пароли. *(Вынимает из нагрудного кармана маленькую записную книжечку и карандаш.)*

Мириам. Шутите, пане начальник. То, верно, не с моего окошка стреляли... истинный Бог, не с моего — мы ж за вас.

Краском *(мрачно)*. Со всех окошек стреляли. Ну-с — скоренько: кто дает заданья, когда он у тебя бывает, сколько тебе заплатили.

Мириам. Чего ж с вами сделаешь, пане начальник... Да! да! да! — приходил... этот... — Колчак... позавчера. Мириам, говорит, взорви железную дорогу...

Краском *(пишет)*. Же-лез-ную до-ро-гу. Ну?

Мириам. ...будь другом, Мириам! Ну, я взорвала, конечно, — мне что, жалко?

Краском. Гражданочка, это как же — Колчак, а? Колчак — в Омске, а вы — здесь, а?

Мириам. Так лаз у него *(тычет пальцем в пол)* с-под самого Омску *(нагибается и приподнимает крышку)*.

Краском *(машет руками)*. Закрой же, закрой...

*Мириам закрывает подпол.*

Так вот, гражданочка, вы меня не путайте — это я взорвал железную дорогу, а не вы.

Мириам. Ну и я.

Краском. Но мы же не могли взорвать одновременно одну и ту же железную дорогу, ведь верно? — а второй тут нет, так? Ну, что?!

Мириам. Пане начальник, таки я вам больше того скажу — здесь и одной нет. Ее ж до войны еще не построили — ну, забыли.



Только станцию построили и железяк наложили в степу...

А потом... то-сё...

Краском (*в сердцах*). Проклятый царизм! Кбзушка, водички, а?

*Мириам плещет.*

Нет, ну вы подумайте, — все разворовали, гниды, у-у... А мы-то с вами — старались, взрывали... Знаете что?

Мириам. Что?

Краском (*засовывая книжечку и карандаш обратно в нагрудный карман*). Выходите за меня замуж.

Мириам. Ой.

Краском. Вы беднячка и я бедняк. Вы из окошка не стреляли...

Мириам (*быстро*). А вы в окошко не стреляли?

Краском (*быстро*). В ваше — не стрелял.

Мириам. А Колчак?

Краском. А что Колчак? Колчак — в Омске, а я — здесь.

*Мириам несколько пятится.*

Хлебцу еще кусочек, а? А то я тут...

*Мириам приносит.*

(*Жует, держа в кулаке букет вилок.*) Не хочешь? А может, ты все-таки стреляла, а? Стреляла?..

Мириам. Я-то, конечно, хочу... вот муж мой...

Краском. А-а, так это твой бывший муж стрелял?

Мириам (*растерянно*). Почему бывший?

Краском. Вот чего, лапушка! Я сейчас только ногами отойду, мы свадьбу сыграем, а завтра с утра и обкрутимся, — у нас в полку в канцелярии и обкрутимся, — у нас там писарь есть, товарищ Фарш — ну замечательно обкручивает, замечательно!

Мириам. Как же? Сначала свадьба, потом венчаться... — как же это?

Краском. Ну это ерунда, просто порядок такой.. у нас в полку...

Так что, решено?

Мириам. Так муж мой...

Краском. Разведем! В нашей же канцелярии и разведем. У тебя (*тычет в сторону кровати*) пацан или девка? — ну, все равно усыновлю!

Мириам. Не усыновите.

Краском. Почему ж это не усыновлю? Обязательно усыновлю!

По законам военного времени.

Мириам (*отстраненно*). Потому что вчера утром его убили. Выскочил сдуру в огород, скакали там задами какие-то... Ну, стрельнули... Хорошо — сразу...

Краском. А я его все равно усыновлю! Посмертно, а?!

*Мириам неторопливо подходит к окну и долго смотрит.*

Ну, чего там?

Мириам (*отстраненно*). Идут.

Краском. Кто, кто идет?

Мириам (*отстраненно*). Я знаю?

*Краском вскакивает, со звоном бросает вилки на пол, а сам, брызгая и шлепая босыми распаренными ногами, бежит к окну.*

Краском. А!!!

*Шашку — наголо и бегом к двери. У порога на мгновение замирает столбиком и — обратно, к окну.*

Наши!!! Нет, не наши. А!!!

*Снова подбегает к двери. За окном пулеметная очередь. Бежит обратно. Конский цокот, крики, взрывы. Бежит к двери, застывает на пороге и вдруг решительно прыгает к шкафу. Распахивает дверцы. Из шкафа синхронно вышагивают Офицер с револьвером и Атаман с обрезом. Быстренькая немая сценка, во время которой участники в основном прислушиваются к окну, где, не оборачиваясь, стоит Мириам.*

Потом, потом!!!

*Заталкивает их, несильно-то сопротивляющихся, обратно в шкаф, сам забирается следом и захлопывает дверцы изнутри. Дверцы не захлопываются, потому что наружу вылезает конец шашки. Мириам медленно отходит от окна, прилежно всовывает шашку в шкаф, притискивает плечом дверцы и идет садиться на табуретку.*

*Звуки за окном равномерно усиливаются. Одновременно с ними, именно одновременно, а не поверх,— мужской голос начинает читать стихи; на их предпоследней строчке, постоянно до того момента усиливавшиеся, звуки из окна резко обрываются. Последняя строчка идет в полной тишине на падающей интонации.*

Гвоздь поет, входя в дощечку;  
Свет поет, садясь на пол;  
Дым поет, идя сквозь печку;  
Жук по стеклышку пошел.

Дождь идет по ветхим кронам;  
Конь стоит по-над рекой;  
Лен идет полком зеленым;  
Конь стоит по-над рекой.

Стол идет на все четыре;  
Конь стоит по-над рекой;  
Стул шагает по квартире;  
Конь стоит по-над рекой.

Гвоздь молчит, войдя в дощечку.  
Свет вздыхает, сев на пол.  
Дым молчит, пройдя сквозь печку.  
Жук со стеклышка сошел.

Конец

1984

---

## МАЛЕНЬКИЙ ПОГРОМ В СТАЦИОННОМ БУФЕТЕ

маленькая еврейская трагедия <sup>1</sup>

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Авремл Дворкес, хозяин буфета на станции Дворки.

Двойра, его жена.

Шмулик, их сын.

Янкель, слуга.

Пасулько, телеграфист

Мирон, стрелочник

} железнодорожный персонал.

Отец Константин, священник из соседнего села Полянки.

Действие происходит в начале первого десятилетия XX века в Российской Империи, на станции Дворки, где поезд останавливается, самое большое, на четырнадцать минут.

*Театр представляет комнату, длинную, узкую, расположенную вдоль авансцены. Она освещается двумя керосиновыми лампами — одна в левом углу, на буфете у самой двери. Почти на всю ширину сцены распространяется дощатый незастеленный стол, притиснутый к заднику. В заднике зашторенное окно, рядом висят ходики — семь часов. Посередине стола — вторая лампа. Из прочей обстановки — по краям сцены большое количество табуреток горками (одна на одной) и крупный фикус в кадке, где-нибудь на полу.*

*Одна табуретка придвинута к столу — на ней косолапо сидит Авремл Дворкес и толстыми пальцами склеивает кольцо из довольно широкой*

картонной полосы. Дворкес — коротенький, пузатый, с лысиной, поросшей черными перьями. Над ушами — кудлатые, тянущиеся вверх черные крылушки. Под ушами — распространенные, сильно проседевшие бакенбарды, также стремящиеся вверх. Глаза выпуклые, но продолгие, причем продольно стоящие. Зрачки вертятся вокруг самых невообразимых осей и с самой невообразимой скоростью.

Жена Дворкеса, Двойра, моет пол, по какой-то причине в поле зрения зрителей пока что лишь ее задняя, но, вообще-то, несомненно, наиболее видная часть.

Дворкес. Подкинь-ка мне немножечко ножниц, Двореле, а? — а я зубчики вырезать стану.

Двойра (*с трудом разгибается — черноволоса, броваста, лицом резка — иронически*). Зубчики?

Дворкес. А что? Или тебе что кажется? — зубчики не нужно? Знаешь что, Двойра, на это я тебе, кажется, скажу тогда...

Двойра. Авремл, а я тебе, кажется, тогда так отвечу: зубчики или незубчики, я лично себе и знать-то даже ненавижу, так что мне никак и казаться не может — зубчики или незубчики. Но как мне может казаться, Авремл—Авремл, слышишь ты еще или нет? — так это то, Авремл, что ты, Авремл, мог бы уже и отстать от женщины, наконец, если уже она моет пол...

Дворкес (*саркастически*). ...наконец!

Двойра (*наклонившаяся было, быстро разгибается*). И наконец! Да, наконец! А коли жаждешь покорячиться сам случайно — так я не возражаю — на пол, на тряпку, на все... а я иду себе вырезать зубчики! (*Возвращается к прерванной деятельности.*)

Дворкес (*рассудительно*). А как же, Двойра, скажи — страшно это узнать интересно — станешь ты вырезать зубчики, когда в тебе... глаз кривой?!

Двойра (*быстро*). А в тебе нос.

Дворкес (*осторожно проводя указательным пальцем по своему носовому хребту*). Двойра! Я тебя умоляю! Заруби себе, если у тебя есть где: кривой нос пока что ни единому на свете созданию Божью не смог еще воспрепятствовать вырезать зубчики! (*Любовно разглядывает на свету керосиновой лампы создание рук своих.*)

Двойра (*буквально выстреливается с полу*). Авремл!!! А я говорю тебе — таки уже серьезно! — с теми зубчиками лучше отцепись от своей жены, иначе у ней разрыв сердца окажется... и, слышишь, Авремл? — я сейчас же съезжаю к маме, а у ней также окажется разрыв сердца, и...

Дворкес. А интересно было б узнать, Двореле, скажи мне это, я очень-очень тебя прошу — что же вы с моей тещей, мадам

Полянкер, станете себе делать с двумя рваными сердцами и ни с одного рваного рубля денег, а?

Двойра (*звучно шмякает тряпку об пол*). Все! Мое терпение на тебя таки исчезло! Прощай!!! (*Наклоняется и ожесточенно трет пол.*)

Дворкес (*после паузы*). Все это страшно хорошо, но где ж тогда наши ножницы, н-н? Двойрочка, скажи мне, я тебе прошу — просит твой муж... слышишь, Двойра, нет?

*Молчание.*

Ну, тише, тише, что ты кричишь? Я уже иду. Я почти что их уже нашел, сейчас. Сейчас мы с тобой вырежем страшно хорошие зубчики. Да, Двойрочка?

*Мадам Дворкес ожесточенно возит тряпкой по полу. Дворкес, осторожно ступая, подходит к буфету и выдвигает один за одним все его многочисленные ящички.*

Ну? И где же ж они? Тебе как кажется, а?

Двойра (*снизу, торжествующе*). А я, знаешь, у тебя спросить хочу, Авремл, иначе... — раз если уже ты не видишь, чего есть прямо под твоим кривым носом, так у кого ж из нас глаз в таком случае кривой?

Дворкес. В буфете. Их. Нет.

Двойра. Ха-ха!

Дворкес. Я не знаю ха-ха или хи-хи, но в буфете их нет, я тебе это говорю!

Двойра. Он мне это говорит! Слушай, ты как, отстанешь сегодня или же сегодня не отстанешь, скажи сразу, чтоб я уже знала. (*Отрывается от своего занятия и подходит к буфету. Оглядывает и по очереди задвигает все его ящички.*) Таки да... нет...

Дворкес. А может быть, ты немножечко там понюхаешь, а, Двореле? У кого-то, я слышал, здесь нос был страшно прямой... Ты нюхай, нюхай, старайся, может, он у тебя покурносеет от усилий... Во станешь красивая! Ц-ц-ц!

Двойра. Авремл, это тебе такое наказание — Бог забрал у тебя эти ножницы, чтоб ты чрезвычайно задумался за свое отношение к семье.

Дворкес (*жалобно*). А зубчики?

*Двойра разводит руками, дескать, как ни прискорбно, а придется без зубчиков.*

Женщина! Ты отвратительно мне ведешь хозяйство! И где уже мои ножницы! У них как, ноги есть? Они что, сами ушли?

*(Упирает в Двойру укоряющий перст.)* Женщина! Ты их утерjala!

Двойра. А когда я, интересно, что тебе теряла, а? Дай себе вспомнить, ротозев! Это, скорей, ты... да Янкель твой нахальнющий... их пропили!

Дворкес. Женщина! Я есть владелец питейного заведения, а никак не посетитель такового,— как же я могу что-нибудь пропить?... а, неумная?

Двойра. А Янкель твой, он что, тоже уже владелец, н-да? То-то же, я вижу, он здесь всем и распоряжается... а ты скачешь под его дуду!

Дворкес. Короче, я сейчас вызываю свидетеля Янкеля и рассуждаю все дело по мудрости своей, как царь Соломон.

Двойра. Из тебя такой же Соломон, как из меня царица Савская... или генерал-губернаторша.

Дворкес *(надменно)*. Женщина, это несомненно, что ты не царица Савская и даже не генерал-губернаторша. Но что же из этого проистекает. Из этого, жизничка моя, проистекает всего лишь, что я, конечно, не являюсь — как твой муж — царем Савским или генерал-губернатором... Но никто, женщина, ты слышишь это, никто, нигде, а также никогда, опираясь на твое утверждение, не смог бы доказать, что я не есть царь Соломон. *(Опережая желаемую нечто ответить Двойру.)* Янкель, Янкель!!!

*Входит Янкель, насвистывая фрейлахс. Это рыжеватый молодой человек с пейсами, заложенными за уши, и в клетчатом картузе. В нос как будто на треть налита вода, которая и плещется на дне. Заметно хромает. Одет, как и Дворкес, в безрукавку поверх рубахи (только его рубаха поярче) и в мятые штаны.*

Янкель *(весело)*. Чего это? Изволите чего, пан Дворкес, или как-с?

Дворкес *(строго)*. Янкель, чрезвычайно себе запомни и раз и навсегда: в еврейском доме не свистят. Свистят лишь одни лишь Иваны!

Янкель. Заблуждаетесь, пан Дворкес, Иваны совершенно не свистят, Иваны насвистывают!

Дворкес. Хм... А раз ты, Янкель, умный такой, ответь-ка мне скорей на один крошечный вопросик: скажите, реб Янкель — а у ножниц есть ноги?

Янкель *(уверенно)*. Есть! *(Показывает двумя пальцами, какие у ножниц ноги.)*

Двойра. Куда ты задевал наши последние ножницы, выкрест? Отвечай или мы тебя вышвырнем и ты будешь пасти свиней

у своих Иванов, раз уже ты так хорошо знаешь, свистят они — или же насвистывают!

Янкель. Мадам Дворкес, это же даже совершенно не стоит труда быть выкрестом, чтобы знать, мадам Дворкес, что свиньи — хрюкают, а вовсе не свистят или же насвистывают. (*Торопливо.*) А ножниц я ваших не трогал, ножницы мне ваши без интереса, мадам Дворкес!

Дворкес. **Но я же должен вырезать зубчики!!!** М-м... Янкель, а у **тебя** есть ноги?

Янкель. Что-то вы сегодня, пан Дворкес, крупно интересуетесь ногами. К чему бы это?

Дворкес. Я тебя спрашиваю, отвечай как есть. Или как нет.

Янкель (*неуверенно*). Ну... есть...

Дворкес. Тогда бери их в руки...

Двойра. А вот этого у него как раз и нехваточка, на горе наше...

Дворкес. ... и беги в Полянки, к моей теще, мадам Полянкер. За ножницами. И чтоб через сорок минут здесь! Ясно?

Двойра. Какой ты умный, Авремл! Ты думаешь, тебя Бог не накажет, да? Ты думаешь, что если у этого молодого человека из хорошей семьи одна нога немножко хромает, так ты можешь уже над ним издеваться, как надо мной, да? Ты думаешь, что если я дала ножницы моей маме на несколько дней, чтобы она ногти себе постригла, так ты можешь вырывать их у нее прямо из рук? И скажи мне, умный Авремл, как ты без этого безногого и безрукого Янкеля обслужишь господ с виленского скорого, которые, может быть, захотят скушать куриную ножку или яичко в мешочек? А?!

Янкель (*лживо-огорченно*). Да-а, пан Дворкес, видите, никак... Хотите, я Шмулику скажу... (*Торопливо выходя.*) Ему нужно даже... навестить свою бабушку... (*Уже из-за двери.*) Пусть она его таки убедит учиться на раввина, а не на машиниста...

Двойра. И ты пошлешь ребенка в ночь из-за этих идиотских зубчиков? Одно горе с тобой... Только через мой труп! Слышишь, только через него!

Янкель (*появляется в дверях*). Мадам Дворкес, если вы хотите лечь трупом, то перегоняйте скорее вашего Шмулика, и лягте... а то он уже наверно у самых Полянок... так дунул... А мы, значит, пока полчаса порепетируем...

Двойра. Ты слышишь, Авремл, как этот твой Янкель надо мной издевается? Ты его для этого себе нанял, да? Скажи же мне, Авремл, для этого? Сам уже не можешь и его нанял, да?

Янкель (*преувеличенно-испуганно*). Пан Дворкес, так мы с вами не договаривались! Контракт же есть! (*Роется в карманах.*)

*Дворкес пожимает плечами. Пауза.*

Двойра. Ну... я в кухню... Кто-то же должен!.. (*Уходя.*) Шмулик, если вернется до поезда, шлите ужинать... После мамы у него нет никакого аппетита!!! (*Выходит.*)

*Дворкес садится на свое прежнее место, а Янкель взбирается на другой, левый конец стола и принимается болтать ногами, при этом нарочито хромая.*

*После непродолжительного молчания.*

Янкель. Абрам Исаакович, а вот вы когда в последний раз «Критику чистого разума» читали? Скажите.

Дворкес. Да давненько, Яша, годика четыре как... Сам же знаешь, как это сейчас... — поезд, поезд... Где же здесь?.. А что?

Янкель. Да нет, ничего... Так... Я тут просто размыслил... ну, насчет императива, этого... категорического... Ну, чего сейчас-то?.. Хотя, если вы уж так сильно интересуетесь, то... **Все дело в проблеме пола!!!** Что вы себе считаете насчет проблемы пола, Абрам Исаакович? Что?!

Дворкес. Пола? Проблемы? А вот мы спросим у Двойры сейчас. Двойра!!!

Двойра (*появляясь в дверях*). И ну?

Дворкес. Двойра, скажи, радость моя, а что же ты себе считаешь насчет проблемы пола?

Двойра (*после некоторого внутреннего сосредоточения*). Я считаю... я считаю... что должно быть чисто все... а ведь натопчут, заразы... А-а... (*Машет рукой, уходит.*)

Дворкес. Вот, Яша, видишь? Вокс популум — не хрен собачий. А вообще-то я тебе, знаешь, прорекомендую чего... категорически... — брось-ка ты чушь эту всю — проблемы-шмомблемы — а примись-ка, знаешь, за серьезные, знаешь, экономические учения... Вот что ты считаешь насчет прибавочной стоимости?

Янкель (*кричит в сторону*). Мадам Дворкес, как вы считаете насчет прибавочной стоимости?

Голос Двойры (*из-за стенки, лениво*). А что, ты уже сильно переломился, что прибавки хочешь, а, Янкеле? Ты сперва хоть жалованье свое оправдай, котлище бездонное... Ишь, развелось их, желающих... А нет, так катись... нашелся один здесь такой... Шмендрик!

*Янкель несколько обескураженно чешет в рыжей шевелюре.*

Дворкес. Да ну ее... вечно она... В шашки, а? А? Разик... до виленского... (*Смотрит на ходики.*) Есть еще...

*Янкель кивает и боком сползает со стола. Берет табуретку и подсаживается к Дворкесу, который в это время оживленно расставляет шашки.*



В какой руке?

Янкель. Абрам Исаакович, вы ж в тот раз... первые ходили...

Теперь я, значит.

Дворкес. Ничего не значит. Тот — не считается. Ну, в которой?

Янкель (*неохотно*). Ну, в левой...

*Дворкес вытаскивает из-под стола руки и разжимает левую ладонь.*

А-а, Бог-то правду-то ви-идит! (*Начинает осторожно вращать доску.*)

*Стук за дверью. Дворкес приподнимает голову.*

Входная... Я ее заперал, за Шмуликом... Может, это посетители?

Дворкес. Янкеле, ты меня смешишь до обмирации. Ты когда же в последний раз видел здесь живого посетителя? скажи мне это, Янкель? Посетители сюда не ходят, сюда ходят поезда. А поезд мы бы услышали,— слава Богу, прямо на рельсах живем... Это, наверное, Шмулик... Вернулся... **без ножниц!!!** Ну, я ему сейчас! (*Встает.*)

*Врывается Двойра.*

Двойра (*оглядываясь*). Это кто?

Дворкес. Думаешь, я могу по звуку определять — кто? Сама бы отворила, раз интересно... (*Янкелю.*) Точно, это Шмулик. Нет, сейчас он, как из пушки, полетит назад, к мадам Полянкер... (*Двойре.*) Не бойся, ему не будет в этом случае слишком жестко.

Двойра. Авремл, не открывай... а вдруг это погромщики?

Дворкес (*после паузы*). Женщина, у тебя есть ум? Какие здесь погромщики? Здесь погромщиков-то...— телеграфист-сопля... голландская... да Мирон-стрелочник. Ну, у этого-то целая черная сотня... мал мала меньше... вон в огороде по уши... С таким же успехом мы с Янкелем можем на них погром устроить... (*Идет к двери.*) А что, ты думаешь, если это погромщики, так они и не войдут, когда я не открою? Так? (*Выходит.*)

*Стук повторяется настойчивей.*

Двойра. Авремл, не открывай!

Голос Дворкеса. Сейчас, сейчас...

*Звук откидываемой щеколды. Через некоторое время входят по очереди: Мирон — кривоногий мужичонка в латаном тулупе и сдвинутом на затылок треухе; телеграфист Пасулько — длинный, лысый, в форме своего ведомства; священник из соседнего села Отец Константин — сухонький, с тремя седенькими клочками на маленькой желтой голове*

*(один клочок — на подбородке), в чересчур свободной черной рясе. Обеими руками сжимает большой наперсный крест. Следом за ними всеми — несколько обескураженный Дворкес.*

Двойра. Эй, Мирон, ты ножищи-то свои вытираешь, а? Рехнулся, да? Твоими-то сапожищами — да по чистому... Уже совсем, что ли?..

*Мирон приостанавливается, с мгновение нерешительно топчется на месте, потом совершает звучный скрипучий шаг.*

Мирон. Нынче это ничего, мадамочка, потому как, слава тебе, Господи,— погром!!! И так что, не обессудьте уж...

Пасулько *(выступая вперед, вперевив, тонким голосом)*. Не слушайте вы, путает он все, какой погром? *(Мирону.)* Ты чего это свинячишь? А? А ну иди утрись, кому говорят! *(Остальным.)* Не обращайтесь внимания — мужик-с... Лучше позвольте представить вам отца Константина; он ведь нарочно сюда пришел из Полянок — для вас, господин Дворкес!

Дворкес. Для меня? *(Подозрительно.)* А вы не крестить меня хотите? Если крестить, я не согласен — я воды боюсь, болезнь есть такая, может, слышали?

Отец Константин. Ни-ни, что вы, почтенный... Никто вас крестить не собирается, не бойтесь. Я по другому... делу.

Дворкес. Ну и очень прекрасно. Янкель, выпить-закусить! Двойра, что ты стоишь, ровно как статуя?— у нас посетители!

Пасулько. Не беспокойтесь, господин Дворкес, не обращайтесь на нас внимания, занимайтесь своими занятиями, как если нет нас... А мы — тихонько. Нам — только что скорого виленского у вас... дожждаться... Не возражаете?

*Двойра обтирает стоящие у стола табуретки. Янкель выносит поднос с бутылкой и тремя рюмками и ставит на левый конец стола.*

Дворкес. Присаживайтесь, располагайтесь, почувствуйте, как дома, душевно рады... *(Священнику.)* А все же нельзя ли поинтересоваться, господин священник,— что же это вас в такую нашу занесло, так сказать, глушь, в хаос и запустение, если можно так выразиться?..

Отец Константин. Видите ли... как бы это... друг мой...

Пасулько. Позвольте мне, батюшка, ладно?

Отец Константин. Ну-у...

Пасулько. Мирон, дверь.

*Мирон выходит. Звук накидываемой щеколды. Пасулько достает из кармана большой пистолет и, держа его в руках, садится нога за ногу на одну из табуреток.*

Видите ли, дорогой господин Дворкес... отец Константин сюда нарочно пришел, чтобы, так сказать, руководить, или, точнее

говоря, организовать вам, господин Дворкес, ну... короче говоря... справедливое возмездие за, как всем известно, злодейское распятие Спасителя нашего, ну... этого...

Отец Константин (*шепотом*). Иисуса Христа...

Пасулько. Совершенно верно. Его. А мы с Мироном, как все, так сказать, слои туземного населения, призваны отцу Константину с его... э-э-э... коллегами... — мы их и ждем — так вот, мы с Мироном призваны им воспомянуть в этом священном для каждого истинно русского человека предприятии...

Ну вот и все. Ф-ф-ф.

Двойра (*после удвоенной паузы*). О горе, горе...

Дворкес. Молчи. (*Его зрочки впервые прекращают вращаться*.)

*Мирон возвращается, грызя большой соленый огурец, прихваченный, очевидно, из кадушки в сенях, и становится у двери.*

Пасулько (*недовольно оглядываясь*). Ну чего, ну чего это вы... словно загрузили, друзья? Я же вас просил, не обращайтесь на нас никакого внимания... Вот вы чем бы занялись, когда б мы не зашли? Н-н?

Янкель. Мы хотели репетировать...

Пасулько. Чего делать?

Янкель. Репетировать... Ну, мы театр устраиваем иногда... Ну, для себя... Вечера-то длинные... Из Библии всякие сценки.

Отец Константин. Да? Интересно, интересный обряд. И о чем же вы в этот раз хотели?

Янкель. Да это не обряд...<sup>2</sup> Мы так, сами по себе... Про пророка Иону... Знаете, может?

Отец Константин (*покровительственно*). Да уж приходилось.

Дворкес (*со вновь завертевшимися зрочками*). А хотите, господин священник, мы для вас...

Двойра. О Боже... Авремл, ты с ума сошел?

Дворкес. Молчи. (*Священнику*.) Так как, а?

*Отец Константин смотрит на часы и садится к столу.*

Двойра, ты будешь все изобъяснять нашим посетителям, чего они не поймут.

Двойра. Не буду я им ничего изобъяснять, провались вы все вместе...

Дворкес. Тогда начинаем, ну-ка, в стороночку, в стороночку...

Эй, Мирон, уברי-ка там свет,— нужно, слышишь?

*Лампа у двери гаснет. Янкель и Дворкес уходят в дальний правый угол сцены. Священник и Пасулько перебираются в левый и садятся там на табуретки.*

Двойра (*вяло, монотонно*). Сейчас выйдет начальник корабля,

они пророка Иону везут, не куда его Бог послал, а куда-то в другое место. Ну, Бог и устроил им бурю... (*Отворачивается, закрывает лицо руками и так перебредает в ближний правый угол.*)

*В это время выходит Дворкес — это Иона — и ложится на пол, спиной к зрителям, чуть левее середины сцены. А на середину выходит Начальник корабля.*

Начальник корабля (*его изображает Янкель, надевший для сей цели синусоидальную бескозырку с тусклой надписью «БЕЗСТРАШНЫЙ»*).

Рогатое, черное море  
 Стало пред душой,  
 Завинтилось воронкой большой  
 В бело-сёром соре.  
 И возглас я не слышу свой —  
 Крови только запах из воды.  
 Клонятся горние сады  
 Сизой листвою костяной.

Зерцальные черные брызги  
 В померкших воздухах стоят.  
 Мачты незапные взвизги  
 Сердца срывают у наяд.  
 О, ветер кружится, кружится! —  
 Скрутился в конус моря диск.  
 И на небо небо ложится. —  
 И небеса катятся вниз.

Валов раскрошённые гребни —  
 Черные! — сверкают у виска.  
 В сердцевинах их ослепли  
 Литые два зрачка.  
 Мир нисходит внутрь.  
 Бледнеет в бездны вход.  
 Нет, никому не развернуть  
 Бесповоротных вод.

Этот запах страшный —  
 Колокольный запах тьмы!  
 Смерти вчерашней  
 Запах, запах катится от тьмы.  
 Кто бы ни пришел вослед,  
 И кто бы ни приплыл сюда... —  
 Вчера случившаяся смерть не оставляет след. —  
 Нет ни следа.

Пауза.

*(Бредет по сцене, скрючившись с отвратительным выражением лица.)* Ой, тошно... *(Берется обеими руками за живот.)* Ой, не могу... *(Добредаёт до Ионы, почти что спотыкается об него.)* А это чего такое?! Дрыхнуть... Растолкать его, что ль... а то и как тонуть станем не заинтересуется. *(Трясет Иону за плечо.)* Э-э-э, дядя...

Иона *(перекатываясь на спину и приподнимаясь на обоих локтях)*. А?

Начальник корабля. Дяденька, вам как, не тошно, нет?

Иона *(равнодушно)*. Ну есть... мутит... а чего?

Начальник корабля. А чего ж лежите, ровно труп?

Иона. А чего ж бы и нет, ежели я им все равно скоро стану. *(Ложится и отворачивается.)*

Начальник корабля *(покрутив пальцем себе у виска, снова трясёт Иону)*. Э-э, дяденька... подъем!

Иона *(та же игра, что и при первом обращении к нему)*. Ты как, с ума спятил, будильником себя вообразил, да?

Начальник корабля *(решиительно)*. Дяденька, Бог есть?

Иона *(после некоторой заминки встает и принимается преувеличенно-тщательно заглядывать под табуретки и стол)*. Ха... был, кажется... А тебе-то на что, а? А?

Начальник корабля. Дяденька, а если попросить Его, ну... не тонуть чтобы...

Иона. И что ж... Хорошее дело. Попросите.

Начальник корабля. Не-е... **вы** попросите, мы чего... мы-то просили уже...

Иона. Меня не послушается, такие, знаешь, дела.

Начальник корабля. Отчего ж это, дяденька?

Иона. А чего ж Ему... меня слушаться?.. я ж Его... не слушаюсь...

Начальник корабля. А чего ж вы Его не слушаетесь, дяденька? Это ж нехорошо!

Иона *(мрачно)*. У нас свои дела.

*Начальник корабля пожимает плечами и отходит. Постояв несколько мгновений в стороне, снова приближается к Ионе.*

Начальник корабля. Дяденька... мы тут жребий бросали... ну, на морского... вышло...— вы!

Иона. Я? Чего ж это я?

Начальник корабля. Ну... из-за вас...

Иона. Из-за меня? Чего ж это из-за меня?

Начальник корабля *(неожиданно агрессивно)*. А **все** из-за вас! А-а? **Все!** *(Кривится, отворачивает голову и хватается за*

*живот.)* Все-о-о из-за вас! (*Сжимает Ионино плечо и громко шепчет в Ионино ухо.*) Пятый!

Иона. Кто «пятый»? Э-э! Скажи, как люди — что такое — пятый?

Начальник корабля (*еще более громким, сиплящим шепотом.*) Вал... **Пятый!**

Иона. М-м-м... все еще пятый?.. (*Вздыхает.*) Ну ничего, не дрейфи, есть еще, время-то... Четыре еще валика целых... А?.. Не горюй, все сладится...

Начальник корабля (*всплескивая руками*). О боги!

Иона (*медленно встает и говорит, глядя прямо перед собой*).

Жизнь сказала: «Я ли уж не ласкова?

«Я ли уж тебя не сторожу?

«Хитростней узорочья дамасского

«Древо крови я в тебя вложу.

«Все обсыплю черной скользкой ягодой,

«А поверх — зеркальная пыльца...

«Только... Господину ты не ябедай,

«Даром не расстраивай Творца!»

— «Я пророк, ушедший от Хозяина,

«Я — еврей, ушедший от Отца...

«Как из алой мглы заря изваяна,

«Так из ней же скатаны сердца.

«Я — как шмель, гудящий озадаченно,

«В средостеньи мира, на цветке; —

«Скрипочная грудка пётлей схвачена,

«Нить плывет к невидимой Руке.

«Старую разлучницу лукавую

«Я не стану с Господом мирить!..

«Не грозись наградой да расправою,

«Не колебли золотую нить!

«Ты как хочешь штопай да залатывай

«Хитросплётенья своих тенет...

«Но глаза косые — не закатывай... —

«Я не стану пить твой черный мед!»

Начальник корабля. И вы не пошли?! О-ох!.. (*Отворачивается — то ли он рыдает, то ли его рвет.*)

Иона (*делает шаг к Начальнику корабля, хлопает его по плечу*). Да ла-а... Знаешь чего? Бросай за борт меня — и плыви, куда хошь! А? Плыдем-то куда? Н-н?

Начальник корабля (*неуверенно поворачивая голову*). В этот... В Фарсис... плывем... и...

Иона. Во-во. Вот туда и дуй!

Начальник корабля (*совсем оборачивается и смотрит на*

*Иону*). А... может, вы... и ни при чем? Может... еще ничего?...  
Знаете, мы еще погребем, покуви́ркаемся. Ладно?

Иона (*полублагодарно-полубиженно*). Гляди, парень, дело твое.  
Только сомнительно...

*Начальник корабля отходит от Ионы, через несколько мгновений возвращается.*

Начальник корабля. Не-е... ничего не выходит, дядя. Придет-  
ся, значит, тебя кидать, ты уж на нас не сердись... (*Машет*  
*рукой.*) А-а-а... (*Отворачивается.*)

Иона (*гладит его по голове и плечам*). Ну-ну, старина, ты чего? Не  
расстраивайся... У тебя еще куча таких будет... пассажиров...  
Я сейчас скоренько ухнусь, моречко и утихнет, и вы себе  
спокойненько пойдетинышки в свой Фарсисик... (*Уходит в пра-*  
*вый угол.*)

Начальник корабля (*машет ему вслед и кричит*). Зай гизунт,  
зай гизунт, зай гизунт <sup>3</sup>.

*Гаснет лампа, стоящая на столе.*

Голос Пасулько. Мирон, ты там смотри...

Голос Двойры. Ну, они его и выкинули. Но они не виноваты, они  
хорошие оказались люди, пришлось... А море сразу утихло.  
А его съел кит. Бог киту сказал, он его и съел. Ну, он теперь  
в ките.

*Чирк спички. На столе загорается лампа, сначала вовсю, после ее прикру-*  
*чивают до самого маленького накала. В узком желтом столбе становит-*  
*ся Иона.*

Иона (*примерно с середины Ионина монолога, лампа начинает*  
*постепенно разгораться, и к концу его в комнате восстана-*  
*вливается прежнее освещение*).

Пять концентрических сердец  
Вздоханием одним вздыхало,  
И цвел един, един венец  
Над свертком мяса и металла;  
В горящем масле ледяном,  
В пространствах ночи безуханных  
Повис оцепеневший дом  
На ветхих цѣпях окаянных.

Лучащиеся пузыри  
Беззвучно вверх и вниз ходили,  
Как очи всех, поводыри  
Кого без них вверху водили,  
Но света не было от них

В парящих полостях дрожащих,  
И дом качался на своих  
Зеркальных цепях нисходящих.

Растенья дышащие и  
Раскрашенные мхи сухие,  
Ввернувшись в черные струи,  
Об руки бились, как глухие;  
Листалась книга черных вод,  
И все сердца вздыхали снова  
И замирали: пролистнет  
Иль нет — единственное слово?  
И, краскою сухой шурша,  
С изнанки всех великолепий,—  
Как на конце карандаша,—  
Вращался дом на скрутке цепей.

В свеченьи взрезанного дня,  
Который — нет еще, не минул —  
Мне жить и жить еще, храня  
Грозу, что я из моря вынул;  
Сей дом из лезвий ледяной,  
Как пламенник иного века,  
Взошел над черной стороной,  
Как бы закливши человека!

За город, скраденный в ночи,—  
Рукой раскрашенной махая,  
Косись, танцуй и бормочи,  
Жена неплодная, плохая;  
И пей кровавое вино,  
Танцуй при последней дверце!  
Со внешним сердцем заодно  
Вздыхает внутреннее сердце!  
А три, оставшихся внизу,  
Внизу возропщут разобщенно!  
Да! Я унес от них грозу!  
Навек ей встать у небосклона!

*(Отходит чуть вправо от своего места, обчищая платье.)* Тьфу, эко она меня харкнула, животная дрянь... *(Оглядывается, приставив ко лбу козырек из правой руки.)* Ага, а вот и Ниневия. Ну, уж я им... — напроорочествую, ежели обещался, ух! *(Уходит.)*



*Выходит Царь Ниневийский — это Янкель в картонной короне набекрень, таки без зубчиков. Драпирован поверх одежды простыней на манер тоги.*

Царь Ниневийский (*выходит на середину сцены и протягивает ораторским жестом руку*). Ниневийцы!

Экие, оказывается (как, кажется, о вас давно уже рассказывается, я только верить не хотел...), все вы лодыри... и обжоры... и винопийцы!

Гопники, золоторотцы, гопстопники, золотари, слепые поводыри, сутенеры, шулеры и пристанодержатели!

Каждый! Каждый! Каждый — позорище для нас, царя, и всех граждан, и для собственных своих, для родных своих отца да матери, матери!

Эх, ниневийцы...

Оказывается, все вы — не кроткие девы, как я думал, а блудники... э-э-э... злодеи... э-э-э... убийцы! Убийцы?

Этакие, оказывается, сколько ни приказывается, а все ж вы убийцы, и блудники, и злодеи, — какие злодеи! —

Что приятнее вас оказываются, представьте, такие вонючие известки... то есть такие известные вонючки, как эти... э-э-э... эудеи; и, стыдно сказать, трудно, говорю, сказывается, язык аж узлом завязывается... — халды-балды, без усов, без бороды! — ха, халдеи!

Ух вы, ассирийцы! —

Дрянь дрянная! рвань рваная! пьянь пьяная! дрань драная! огородные чучела, чтоб вас испучило, кровопийцы!

Вы... вы... вы... — знаете кто? — совратители малолетних козлов — ме-э! И еще... нет слов!.. ваше любимое занятие — на труп групповщина, а труп-то мужчина, а-а?

Изо ртов ваших льется бессмысленнейшая матерщина!

...Итак, наши честнейшие и добрейшие подданные!

Как следует из вышеизложенного времяпрепровождения вашего неположенного, очевидно (а это обидно), — вы — адской силе еще при жизни своей грешной поголовно все являетесь отданные!

И все же... не все же потеряно! не хнычьте растерянно — есть, есть еще время раскаяться.

А кто в чем раскается, ему это-то и отпускается (разрешенье с небес такое спускается!).

...Приплыл тут в ките недожеванный один господин из языка, известного обрезаньем, и грозился, друзья дорогие, вам, и — смешно признаться — нам, нам, царю грозился, я говорю, что Бог собрался заняться морем, гнусом, трусом, голодом,

козоовцеконепадом, градом, хладом, огнепадом... в общем, говоря обобщенно,— за все, что воспрещенно, наказаньем; слышите? — наказаньем!

А звать почтеннейшего сего господина...— знаете небось, известно? — известный Иона-пророк.—

Весь — как сурок, нос — как курок, рот — как сырок, голос — как у сорок. Дней, говорит, сорок — срок!

Значит так.— Как говорится, придется пока что покориться...— слушайте, слушайте, детки, гласа Господня!

Поелику вчера было рано, завтра станет погано, единственно, когда еще можно крикнуть «осанна» — это сегодня. Сегодня и лишь только сегодня!

Ассирийцы, итак — а ну, кидай на пол всяк, все как один, ваку и гуталин, и бархотки, и сапожные щетки!

Затворяйте лавки да мастерские, вон все наслажденья мирские! Пока не заразные, хватайтесь за разные предметы священнообразные... эти... как их?!.. (ой, забыл, босяк их...) — а! вспомнил! — эти... чечетки!

Сделайтесь все, ровно овечки, кротки!

Кстати, об овечках,— и их, и их, и прочий, мясо-молочный и рабочий, крупный, средний и мелкий, рогатый и безрогий скот,— принудьте-ка также каяться и поститься, и все им простится, и не сможет вовек прекратиться отел, опорос и окот!

А пока что нехай и скот пострадает, покуда Иона-пророк за тем, как мы душим порок наблюдает, и все это дело наверх докладает.

...Три дня бедняжка торчал в ките — я имею в виду, в животе, в темноте, в духоте и в вони! —

Несладко было Ионе!

А потом таскался три дня еще по нашим скворешникам и нам, грешникам, всякие истины без устали проповедал,— не завтракал, не ужинал, не полдничал, не чаевничал, не ухватывал, не перехватывал, не закусывал, не перекусывал... и обеда ведать не ведал.

Дайте ж хоть денек сроку передохнуть пророку — его законный! — дайте, серьезно!

Бог говорит: кого не люблю, тому голову отрублю! — грозно говорит, грозно! очень грозно!

*Грозит пальцем и, подпрыгивая, уходит. На его место выходит Иона и смотрит ему вслед, качая головой.*

Пасулько. А темная все же книга, Библия... Правда, батюшка? «И бе Иона во чреве кита...» А как? кого? — совершенно не ясно! А?

Отец Константин. Как же не стыдно, Викентий Леонтьевич?! Не богохульствуйте... хоть сейчас-то... (*Дворкесу.*) Играйте, играйте, господин Дворкес. Очень интересно, очень!.. А я так прямо наслаждаюсь...

Пасулько (*защищаясь*). Так чего? Я же ничего! Я только сказал — не ясно.

Двойра (*неожиданно оживленно*). Таки я ж объясняю — эти, которых царь выходил, так эти сразу же все чрезвычайно забоялись, и говорят: не станем больше. И исправились подряд — все! Ну, Богу их и стало жалко; думает: не стану Я их казнить, может, правда, исправятся? И не стал. А Ионе ж обидно! Старался же... а теперь? Говорит: так я и знал: Бог-то добрый, а я опять дурак круглый...

Иона. Танцует блудничка под скрежет и гром,  
 Под грозные колокола,  
 И часто дрожит шелковистым бедром,  
 Как вбитая в сердце стрела.  
 Но, глядь,— извернется,— и прынет наверх,  
 Обратно, в распрямленный лук...  
 ...И примешь подарок, последний навек,  
 Из этих отравленных рук!

*(Сутуло садится на табуретку.)*

*Выходит Янкель и останавливается около Дворкеса.*

Дворкес. И что? И так и ломаться перед этими ниневийскими... хулиганами... до самой?.. А? Господи, ждем-то чего?

Янкель. А что? Хотите, чтоб поскорей всё... в тартарары... — и стар, и млад, и женщины, и дети?

Дворкес. Меня в данном случае интересует только один стар, и только один млад, и только одна женщина, и только один ребенок... который вот-вот воротится... если еще жив он на этом свете. Ты что-нибудь имеешь мне насчет этого... высказать? Ну?

*Янкель пожимает плечами и отходит в тень.*

Двойра. А Бог ему: неужели это огорчило тебя так сильно?.. А Иона себе решил: хоть здесь все сорок дней проторчу, а догляжу — неужто не разразит Он этот город мерзющий?.. Сидит — смотрит.

*Дворкес отирает ладонью вспотевший лоб.*

Это жарко ему очень. Там тогда у них жарко было... очень...

*Выходит Янкель, таща кадку с фикусом. Ставит фикус на стол около Дворкеса. Уходит.*

Дворкес. Изломлено небо по молнии вкось,  
А в душных колоннах дождя  
Следы замечает небесная кость,  
С кровавых ступенек сходя.  
И красное солнце втекает наверх,  
На свой ворочается круг...  
...И примешь подарок, последний навек,  
Из этих отравленных рук.

*Возвращается Янкель.*

Двойра. А Бог видит, что жарко, и вырастил дерево, ну... над  
Ионой, для тенежка... ну, чтоб прохладно... Иона-то рад...  
А Бог взял дерево да засушил.

*Янкель уносит кадку.*

А он в рёв...— жарко, мол.

*Янкель возвращается.*

Янкель. Ну?

Двойра. А Бог его спрашивает: ты что, из-за дерева расстроился,  
да? Из-за дерева так сильно расстроился?

Дворкес. Что «ну»?

Двойра. А он говорит, что из-за дерева... Ужасно, говорит, рас-  
строился, аж до смерти, во как!

Янкель. А вот и «ну»! Слушайте, давайте так — сейчас закончим  
и все в окошко и...

Дворкес. Одновременно? А корпуленция моей... пророчицы, а?  
Да и...

Янкель. Ну тогда... знаете что? — к ним пойдем... ну... как бы  
клянуться — так же положено? Ведь так? Вы человек силь-  
ный, пузатый... вы телеграфиста придавите... я как-нибудь  
с этим придурком... у дверей... а она...— попика. (*В той же  
интонации.*) Слышите, хозяйка? — Ну и давай Бог ноги!..

Дворкес. Да? А он воротится, а нас тут нет?!

Янкель. Чудак вы! Да кто ж его сюда пустит? В Полянках-то уже  
известно!.. Все, наверняка! Это мы... в углу преем, ничего  
заранее не знаем... Ну что, решено?..

*Дворкес разводит руками.*

Двойра. А Бог ему: неужели так сильно ты огорчился за это  
дурацкое растение? А Иона ему: очень огорчился, даже до  
смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над  
которым не трудился, и которого не растил, которое в одну  
ночь выросло, и в одну же ночь и пропало. Мне ли не  
пожалеть Ниневию, города великого, в котором больше ста

двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? <sup>4</sup>

*Дворкес встает и они с Янкелем, кланяясь, начинают приближаться к левому углу сцены. Двойра, не кланяясь, — вслед.*

Отец Константин (*вскакивая и забегая за спину Пасулько*).  
Стойте! Стойте!.. Господин Пасулько, они хотят на нас напасть. Я слышал!

*Зажигается свет у двери. Пасулько встает, доставая из кармана шинели пистолет. Мирон вынимает из-под полы небольшой ломик, причем из рук его падает на пол рюмка.*

(*Чуть более успокоенно.*) Я слышал. У меня, знаете, по еврейскому ниже одиннадцати баллов и отродясь не бывывало. (*Радостно.*) Вот и пригодилось.

Пасулько (*наставляя на Дворкеса и Янкеля свой пистолет*).  
Чего?! Напасть?! (*Машет пистолетом.*)

*Дворкес и Янкель заворуженно следят за пистолетным дулом.*

Они?!

Двойра (*тесно подходя к Дворкесу и Янкелю со спины*). А-а, герои... Цари Соломоны... обмишурились... А все ты, Янкель! Схватим сейчас все по штучке такой... симпатиченькой... пулька называется. Ты как, этого хотел получить? Так? Да, Янкеле?

Янкель (*не оборачиваясь и не отрывая взора от пистолета*).  
Скажите, мадам Дворкес, а вот вы — чего хотели получить, а? Может, букетик роз, или брильянт величиной с бородавку, вон, как у этого (*кивает на Пасулько*)... или...

Пасулько. Молчать!!! Батюшка, ну же! Чего это они?

Двойра. Дурень! К Шмулику надо было бежать, в Полянки! А теперь...

Отец Константин (*высовываясь из-за Пасулькиной спины*).  
Знаете, Викентий Леонтьевич, чего-то... Это они как-то не так... Мы не изучали этак... Я хоть ниже одиннадцати... но честно говорю... (*Пожимает плечами.*)

Мирон. Ваше высокородие... разрешите?.. Я малость... ну... маракую тары-бары-то... ихие... По соседству, значит.

Пасулько. Ну, и чего ж они, н-н?

Мирон. Беспokoются, извиняюсь, за жиденком ихим... Звать Шмулик... В Полянки он сбег... а у этих мамыши там есть, и...

Пасулько. В Полянки?! (*Смеется.*) В Полянки... Эй, кто там, ну-ка, в окошко-то гляньте... в Полянки.

*Янкель забирается на табуретку и, перегнувшись через стол, пытается раздёрнуть шторы и посмотреть в окно.*

Ну как? Чего видишь? А? Видишь Полянки?

Янкель. Господи... Горит... Там горит...

Пасулько (*сентенициозно*). На этот раз, мудрецы вы наши сионские, хитрецы вы наши иерихонские, умники вы наши иерусалимские... — на нашей улице праздник! Все предусмотрено! Ясно? О! То-то же!.. Ну-с, вернемся, стало быть, к нашим мутонам...<sup>5</sup>

*Стук за дверь. Секундное замешательство. Отец Константин стыдливо запускает руку под ряску и вытаскивает луковицу. Щелкает крышкой, смотрит.*

Отец Константин. Не-е... для наших — рано еще. Викентий Леонтьевич, ведь рано, правда? Для виленского?..

Пасулько (*не успевши съехать с сентенициозного тона*). Поезд, дорогой батюшка... — поезд, он шумит! (*Смотрит на настенные часы.*) Рано, рано...

*Стук повторяется.*

Мирон! А ну — атво-о-ряй!

Двойра (*вырываясь из-за спины Дворкеса, кричит*). Шмулик! Шмулик! Уходи!

*Мирон делает движение навстречу ей, загоразивая дорогу ломом, как шлагбаумом. Но раньше него Двойру перехватывает и отбрасывает Пасулько. Двойра устаивает на ногах и снова рвется к двери.*

Шмулик!!!

*Пасулько бьет ее ручкой пистолета по голове. Она падает. Пасулько на нее заинтересованно смотрит. В это мгновение Янкель со звоном и треском проламывает окошко и выкидывается наружу. Пасулько стреляет на звук. Вспрыгивает на стол и несколько раз стреляет вслед Янкелю. Оборачивается, стоя на столе.*

*Дворкес подходит к неподвижно лежащей Двойре и становится на колени.*

Дворкес (*медленно раскачиваясь, медленно говорит*). Шма... Исроэл...<sup>6</sup> (*Визжит.*) Шмулик! Убегай!!!

Пасулько. Ах так! (*Целится.*) Ну, гад... Мирон, этого лови, чего стоишь?

*Мирон выбегает, держа ломик, как дротик.*

Дворкес. Шмулик!!!

Голос Янкеля (*за дверь*). Стойте, стойте!

*Входят Мирон, а за ним, обгоняя его, Янкель, несколько не хромя, а в джинсах и кожаном пиджаке.*

Янкель. Стоп, я говорю! Достаточно! Ну, я скажу... абсолютно никуда... Всѐ! О!

*Двойра и Дворкес поднимаются с пола. Пасулько слезает со стола. Все, включая Мирона с ломиком на коленях и отца Константина, садятся на табуретки. Янкель перед ними расхаживает.*

И что? Вам, очевидно, чудится, что вы сильно сходите за погромщиков? Да? Вы чего отворачиваетесь, это и вас касается... даже в первую очередь.

Отец Константин. Да я и не отворачиваюсь.

Янкель. Да? А мне казалось — отворачиваетесь. Так кстати, как вам, Исаак Лазаревич, кажется, а? Вы же священник! Понимаете, священник?! Чего же вы, как старая проститутка... бедрами крутите... бывшими... а? *(Показывает, как отец Константин крутит бедрами.)* Ха... Это-то еще что, но — Исаак Лазаревич! — под рясую!.. Ну как же, Исаак Лазаревич, под рясую вы залазите? Будто у вас рубчик за чулок заткнут! *(Остальным.)* А вам смешно, да? смешно? Напрасно! Очень даже напрасно! Вот вы, Эсфирь Самойловна, вы, да... вы. — Вы как падаете? Разве ж так падают? Вас же убивают! Вы ж должны падать! **Па-дать!** *(Несколько раз падает и вскакивает, как мячик, приговаривая.)* Во как, во как, во как. *(Снова отцу Константину.)* Да... Так что? Остальное — ничего еще — ладно. *(Снова загорается.)* Вы — священнослужитель и извольте держаться соответственно! Ясно вам, Исаак Лазаревич, н-н?

Отец Константин. Так да, ясно... Но...

Янкель. Никаких «но»! *(Пасулько.)* Теперь, значит, ты, Зяма. Ты, Зяма, что, с ума прыгну́л? Ты чего это орать начал?! Ты же интеллигентный человек, те-ле-гра-фист! Ты же идейный черносотенец, ты должен быть убийственно корректный. А ты орешь... Не-е... Работа это, да?.. Нет, все ж самостоятельность, она и есть... *(Вздыхает.)* А ты, Зильберштейн, а? Зильберштейн, зачем же ты изъясняешься, как лакей, а не как темный, забитый стрелочник? Ну зачем? Ведь...

*Дворкес щелкает зажигалкой и закуривает.*

А эт-то что такое? Осип Яковлевич! Уж от вас-то... — не ожидал. Сцена — это храм! А еврейская сцена — это еврейский храм, то есть синагога! Осип Яковлевич, вот вы стали бы курить в синагоге? А?

Дворкес *(добродушно соглашается)*. Не-е... Не стал бы... *(Но курить не прекращает; впрочем, Янкель его ответом совершенно удовлетворяется.)*

Янкель. Вот видите! *(Обращается ко всем, для чего крутит*

головой.) Ну, значит так, товарищи... Учтите, пожалуйста, мои замечания и, главное, не забудьте самого главного — у нас погром! Погром! Не закрепощайтесь, ведите себя соответственно!.. Ясно? Согласны со мной, ну и хорошо. Итак, со второго стука в дверь. *(Кричит в сторону.)* Пожалуйста, стук за дверью. *(Забирается на стол и пригибается к окошку.)*

*Прочие занимают положенные позиции.  
Стук за дверью.*

Двойра. Шмулик!

*Пасулько бьет ее ручкой пистолета по голове. Она падает. Пасулько на нее внимательно смотрит. В это мгновение Янкель вываливается в окно с криком: «Эй, кто там, звук!» Звук проламываемого окна. Пасулько оборачивается и стреляет. Подбегает, вспрыгивает на стол и несколько раз стреляет наружу. Оборачивается, стоя на столе. Дворкес подходит к неподвижно лежащей Двойре и становится на колени.*

Дворкес *(медленно раскачиваясь, медленно говорит)*. Шма... Исроэл... *(Визжит.)* Шмулик, убегай!

Пасулько. Ах так? *(Целится.)* Ну, гад... Мирон, этого лови, чего стоишь!

*Мирон, держа ломик, как дротик, выбегает.*

Дворкес. Шмулик!!!

Пасулько *(дергает пистолет обеими руками)*. Сейчас, сейчас... Виноват, господин Дворкес, секундочку... Заклинило сразу... *(Виновато.)* Не очень я... что-то... честно сказать.

Дворкес *(очень вежливо)*. Пожалуйста... ничего-ничего... я обожду.

*Вваливается Мирон, таща за шиворот вяло упирающегося Янкеля в его обычной одежде.*

Мирон. Где ж ей, кривулине пархатой... Недалёко ушел, христопродавец. *(Толкает Янкеля и тот пришивыривается к уже сгруппировавшимся на полу Двойре и Дворкесу.)*

Пасулько *(расхаживая по столу)*. Батюшка, ну как? Как скажете? Ждать станем или?.. Вообще-то говоря... *(Дергает пистолет за ручку.)* ...не ах я чего-то... Чего-то я забыл, как показывали они, ну... тогда, помните?

Отец Константин *(щелкая крышкой часов)*. Да, кажется, скоро... *(Смотрит.)* Да-да, сию секундочку... Ну, задержатся чуть... *(Решительно.)* Подождем, а то обидятся.



Пасулько (*бросив взгляд на ходики, садится на стол, свесив ноги в кирзовых сапогах, нейдущих к его форме*). Задержаться не должны! Там машинист хороший, сознательный... Миροша, а кстати, стучался-то кто? Не видел, не пащенок их?

*Дворкес приподнимает голову.*

Мирон. Да не-е, ваше высококородье, не было никого, окромя того черта хромого... Сбег, должно...

Пасулько. Ай-яй-яй, куда ж он, молоденький такой, в ночь — и ни тебе мамочки, и ни тебе папочки, и ни тебе... этой...

Мирон (*услужливо*). Мадам Полянкер, ваше высококородье.

Пасулько. Вот-вот, благодарю, дружище, — и ни тебе этой мадам. И что же с ним станется?..

Янкель (*с полу*). Он станет революционером и всех вас кокнет, хазеры! <sup>7</sup>

Дворкес (*вздыхая и опуская голову*). В этом случае из него уже таки наверняка не выйдет раввина...

Пасулько (*игриво*). Отец Константин, вот вы, как законоучитель, как считаете, а? — какое заблуждение наипаче?

Отец Константин (*задумчиво чешет в седых кудерьках*). Да... как вам сказать, господин Пасулько?.. В народе нашем ведь как же говорится, н-н? — а вот как: хрен, говорится, редьки-то он не слаще.

Янкель (*с полу*). Нет слаще.

Мирон (*толкает его сапогом в бок*). Цыц, паразит, не спорь с батюшкой.

Янкель. Слаще, слаще, слаще!

*Мирон наклоняется и хватает его за грудки.*

Пасулько (*благодарушно*). Да оставь ты его... пусть... Время есть еще... пусть потявкает. Забавно даже...

*Мирон отпускает Янкеля.*

*Звук быстро наезжающего поезда. Сильный скрежет тормозов.*

*Тишина. Стук за дверью.*

Мечтаешь-то о чем?! — открывай!!! Эй, Мирон! (*Отцу Константину.*) Слава Богу, дождались. Наши. Я ж говорил — не должны задержаться.

*Мирон идет к двери. Резко поворачивается.*

Мирон. Стоп! (*Снова поворачивается к дверям, кричит.*) Эй, погромщички! Перерыв! (*После паузы зажигается электрический свет.*) Полчаса! (*Поворачивается.*) Ну, а мы... (*Снова идет к дверям.*) Нет-нет, я передумал... Совсем свободны! До завтра! Слышите?! (*Смотрит на наручные часы, поворачива-*

*ется к присутствующим на сцене.) Ну что, товарищи? Не да... Не очень... хорошо! (Выбирает табуретку, садится.) И прежде всего — только что пройденный кусок! (Упирает кулаки, в одном из которых смятый трюх, а в другом — ломик, в свои протертые и пузырящиеся колени. Еще раз смотрит на часы. На ходиках — семь сорок.) Ага. (К находящимся на полу.) А вы чего? Верочка? Денис Антонович, Константин Иванович, вставайте...— всё, остальное завтра. Ох, как скучно все это...*

*Янкель и Дворкес встают, отряхиваясь, в то время как Двойра остается лежать.*

Янкель. Чего, Пал Андренч?

Мирон (*негромко смеется*). Да ладно...— завтра, завтра... Только знаете что? Не переодевайтесь вы на лету... в эти...— ну, когда за режиссера... штаны эти... Как же назывались?... ладно, не важно... Ну — так не нужно, все же неестественно... Вот я — так сказать, за режиссера — и не переодеваюсь...

*Янкель хочет что-то сказать.*

Все, голубчик, все! Все завтра! (*Встает, подходит к Двойре, поднимает ее, целует руку, за которую поднял.*) Вера Георгиевна, спасибо. (*Всем остальным.*) Завтра утренняя... не опаздывайте...

Все (*негромко, впереводку*). До свиданья, до свиданья...

*Начинают медленно расходиться.*

Мирон (*вслед*). И не опаздывайте, слышите? Ссылку на электричку — не принимаю!.. (*Смотрит, как они расходятся.*) Денис! Денис! Секундочку.

*Янкель возвращается, все остальные уже тихо вышли.*

Знаешь что? Думал я, думал, думал-думал...— нос измени, а? И височки... постриги, хорошо?.. Я, знаешь, читал даже где-то... они вроде курносые были, что ли... или это греки? Ну иди-иди. Завтра.

*Янкель кивает и выходит.*

Мирон *встает и несколько времени стоит посреди комнаты, крутя в руках ломик. Потом кидает его на пол, гасит обе лампы и выходит за Янкелем. Сцена остается пустой насколько возможно долго. Потом гаснет электрический свет.*

*Совершенная тьма. Через несколько мгновений из левого угла — тихое поскребывание, топтание, какой-то лязг, потом медленно визжит дверь, кто-то входит. Чирк спички, зажигается керосиновая лампа у дверей. На пороге — Мальчик лет тринадцати, в полушубке, ушастой шапке и сапогах с калошами. Он останавливается у порога и начинает неловко*

*растегивать полушубок, все время при этом оглядываясь. Достает из-под тулупа ножницы, протягивает их.*

Мальчик. От из ди ферл<sup>8</sup>. От из ди ферл! Маме! Папе!<sup>9</sup> От из ди ферл! (*Снимает с буфета лампу и, светя себе, начинает медленно ходить по комнате, заглядывая под стол и табуретки.*)

*Лампа качается, огонь ее дрожит. Мальчик бормочет.*

От из... ди ферл...

*Лампа постепенно начинает гаснуть, и наконец комната погружается в полную тьму, где слышно только тихое:*

От... из... ди ферл... маме... папе... от из ди... ферл...

*Мальчик останавливается, и слышно, как он ставит ненужную уже лампу на пол. Мгновение полной тишины.*

(*Медленно.*) Шма... Исроэл... от из ди ферл... От из... ди ферл...

*Голос его сначала смешивается с дальним звуком наезжающего поезда. Поезд приближается, звук нарастает и естественно заглушает голос Мальчика. Звук все нарастает, перемежается гудками. Скрежет тормозов. Тишина.*

К о н е ц

## ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

1. С точки зрения жанра «маленькая еврейская трагедия» есть то же, что «маленькая трагедия», но еврейская.
2. Традиционный иудаизм был несочетаем с какой-либо театрализацией. Только лишь с XIV—XV вв. появилось обыкновение, очевидно, под влиянием христиан, разыгрывать домашние представления по сюжету библейской книги Есфирь, с которой связан праздник Пурим. Любопытно, что по этому же сюжету составлена и первая пьеса русского театра — «Артаксерксово действо».
3. Будь здоров (идиш).
4. Точная цитата, Иона, 4, ст. ст. 9—11; в ст. 9 со слов: «...очень огорчился, даже до смерти». (Синодальный перевод, Пг., 1918.)
5. «Мутон» означает «баран» — из французского наречия.
6. «Шма Исроэл» — молитва, читаемая верующими евреями в предположении скорого наступления смерти или же

какого-либо другого крупного несчастья. Вообще-то читается не реже четырех раз в день.

7. «Хазер» — свинья (идиш).
8. Вот ножнички (идиш).
9. Мама! Папа! (идиш).

1984

---

## КОМИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ ДЛЯ ТЕАТРА ТЕНЕЙ

### Комедия Алькова

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Елена Георгиевна Бёлецкая, 36-ти лет.

Павел Поэльевич Альков, 48-ми лет.

Сергей Никитич Тальков, 33-х лет.

Ленинград, зима 1938 года.  
Комната Елены Гсоргиевны.  
Ночь.

*Раскрывается занавес.*

*Комната большая, полустая, полутемная. Посреди — овальный стол, заставленный нарядным фарфоровым сервизом. Икра, рыба, пышные узорчатые салаты. Бутылка водки. Квадратные рюмки русского стекла — толстостенные, глубоко-зеленого цвета. Над столом — затейливая люстра, в коей зажжена одна лишь лампочка.*

*В левом ближнем углу — огромная кровать с ковровым балдахином, сейчас раздернутым, так что видать постельное белье — скомканное одеяло, три помятые подушки. К стене приспособлен горящий ночник — то, что сейчас именуется «бра».*

*Остальная мебель не важна, главное, чтоб ее не было много и она была по-купчески добротна, хорошего дореволюционного качества.*

*На краю кровати сидит высокий худой человек. Он блондин с рыжеватыми кудрявыми усиками. Это Т а л ь к о в. На нем френч без знаков различия, полностью расстегнутый. Под френчем рубашка от теплого нижнего белья. Брюки хаки, как бы форменные. Тальков обувает левую ногу в предлинный блестящий сапог. Правая нога уже обута и нетерпеливо поводит ступню, ожидая свою компаньонку.*

*Елена Георгиевна — женщина, хорошая собой, в расшитом золотом халате и стоптанных, даже дырчатых шлепанцах без задника. Она ходит по комнате, что-то ритмически бормоча.*

Тальков (*встает и притоптывает сапогами, словно намереваясь сплясать русского*). Ффффу, все. (*Достает из нагрудного кармана часы, щелкает крышкой*.) Скоро уже и пора... Леночка, слышишь? Перекусим, и мне уже нужно...

Елена Георгиевна (*неожиданно для такой добротной женщины смелым, юным голосом*). Слышу, слышу...

Тальков. Ну, Леночка, я же не виноват... Я же... Служба!

Елена Георгиевна (*соглашается*). Служба.

Тальков (*застегивается, берет со стула в дальнем, темном углу ремень с кобурой, подпоясывается. Получается совсем молодец*). Лена! Что ты завела себе за моду меня пилить?! И так целый день... Вот, на полтора часа отпустили всего, не ожидал даже... (*Передразнивает*.) Слу-у-жба! Начальство пилит, в отдел пришли какие-то сволочи... Тоже жужжат... Мамаша, Аграфена Николавна, и те письма пишут... (*Вытаскивает из кармана сложенный четверо лист, разворачивает*.) Вот... (*Нарочито акцентируя грамматические ошибки*.) «Дарагой Сиргунюшка! Сницца мни давечи — ты аки аспид вьесси в алом дыму. Побойся Христа и святова Сиргея...»

Елена Георгиевна. Стыдно, Сергей!

Тальков (*засовывает бумагу в карман, понуро*). Ну, стыдно, стыдно. А чего она? Да ну! (*С размаху тыкает носком сапога в стоящий у кровати гигантский шлепанец. Тот улетает под кровать. Тальков после секундного замешательства становится на колени, собираясь лезть под кровать за шлепанцем*.)

Елена Георгиевна (*быстро подходит к нему, берет за плечо*). Не надо, не надо. Я сама, потом...

Тальков (*встает*). Ну, как хочешь... (*Целует ей руку, пристально смотрит в лицо, пожимает плечами. Подходит к столу, садится*.) Ну так вот. А еще ты... пилишь...

Елена Георгиевна (*кладет ему салат на тарелку, мажет икрой хлеб*). Я тебя не пилю. А как у тебя дела?

Тальков (*останавливая в воздухе руку с бутылкой, нацеленной уже на собственную рюмку после еленыгеоргиевниной*). В каком... э-э-э... смысле?

Елена Георгиевна. Ну, на работе. (*Отходит к другому концу стола, берет в руку рюмку, вертит*.)

Тальков. А-а, на работе? (*Приподнимается, дотягивается через весь стол — такой он долгий, не стол, а Тальков, — и подливает Елене Георгиевне водки*.) Хорошо. (*Выпивает, заедает икрой из вазочки. Тщательно облизывает ложку, потом принимается за бутерброд. Между жевками*.) Хорошо... (*Вдруг оживленно*.) Да, Леночка, представь, какой случай вышел... смешной... Мы давеча ехали брать японского шпиона одного; ну, значит, — плечом в дверь, с пистолями

в комнату... А там... так смешно... — на столе покойник лежит, свечи, мужик какой-то речь по бумажке читает...

Елена Георгиевна (*заинтересованно*). Он что ж, умер? Или притворялся?

Тальков (*со смехом, еле прорывающимся сквозь последний доживаемый кусок*). Да не-е, не-е... Мы квартиру перепутали! А там, значит, панихида... На нас — ноль внимания — гонор такой... Мужик речь читает (*подражая панихидному бубнежу*): «Острое перо нашего дорогого покойного всегда метко разлило зло. И при проклятом царизме, и при других строях, и в наше счастливое время он смело вонзал его прямо в брюхо явной и тайной буржуазии, которая боялась его пуще ГеПеУ...» Ну и так далее (*захлебывается от тихого смеха*).

Елена Георгиевна. Это что ж, писатель какой умер? Сатирик? Тальков (*машет руками*). Сатирик! Скажешь тоже — сатирик, Зоценко! (*Смеется-заливается*.) Это мokuрушник был, Петька Лось. А который речь читал — Китаеза, аферист с Лиговки. Я сразу узнал. Я ж до органов в угро служил, как раз у меня по делу проходили... (*Убежденно*.) Смех! (*Справочным тоном*.) А этого Китаезу до сих пор угро ищет — вот работнички...

Елена Георгиевна. Так вы их арестовали?

Тальков (*недоуменно смотрит*). Так мы же не угро, мы за шпионом — через площадку жил. Мы извинились — честь по чести, интеллигентно... Меня так и Павлик учил, когда я еще только пришел в тридцать третьем. Мы, Серега, дескать, огненный меч, и в жарком пламени нашего классового гнева никакая некультурность не выдерживает — спадает, как ржа! Павлик вообще!.. (*Осекается, наткнувшись на внимательный взгляд Елены Георгиевны*.) Ну теперь-то ясно, враг он был, я ж и не знал, у нас в отделе никто не знал, кроме Гуреева, Шимскера и Трубныха. А-а, еще, оказывается, Литовченко знал, позавчера собрание было... Я тебе не говорил?

Елена Георгиевна качает головой.

Ну да, позавчера... Леночка, а огурчик соленький есть, что-то не вижу... (*Действительно, щурясь, внимательно оглядывает стол*.) Ой! (*Хлопает себя по лбу*.) Сегодня какое? Третье? У него день рождения, у Павлика, сорок восемь... бы...

Елена Георгиевна. Сейчас принесу. (*Выходит*.)

Тальков встает, нерешительно подходит к кровати, поправляет одеяло. Стоит около кровати, покачиваясь на носках. Делает круг по комнате, возвращается. Наклоняет голову, будто хочет рассмотреть

*что-то на постели. Шаги в коридоре. Быстро возвращается к столу. Входит Елена Георгиевна с тарелкой огурцов.*

*(Ставя тарелку на стол, недовольно говорит.)* Что у вас за манера такая, вечно ночами... Вечно я соседей бужу... Так сейчас на кухне нагрелась... Анна Густавовна вышла, говорит: «Я, Леночка, думала, вам дурно, лекарство ищите. Принести?»

Тальков *(насаживает на вилку огурец и откусывает)*. Она что, недовольна? Знает же...

Елена Георгиевна. Я разве говорю, что недовольна? Я говорю — неудобно.

Тальков *(серьезно)*. Не обращай внимания. Дай ей что-нибудь из жратвы... Есть же... *(Показывает на стол.)* Что вам ссориться — ты графиня, она графиня...

*Стук в дверь. Женский голос — старческий, мягкий: «Сергею Никитичу телефонируют».*

Елена Георгиевна. Спасибо, Анна Густавовна. Извините.

Тальков. Ах, черт! Неужто опоздал?! *(Снова вытаскивает часы, смотрит. Быстро выходит.)*

*Елена Георгиевна подходит к кровати, как бы зависает на полушаге, переворачивается, возвращается к столу. Берет с тарелки огурец, там же у стола, садится на корточки и неловко, по-женски, но с силой швыряет огурец под кровать. Встает, берет еще один огурец и начинает его мрачно кусать. Возвращается Тальков.*

Все, Леночка, бегу. Машина выехала. *(Распрямляется, обдергивает френч, поправляет ремень. Подходит к Елене Георгиевне, целует ее в лоб и энергично выходит из комнаты.)*

*Дверь за Сергеем Никитичем звонко захлопнулась. Ей отозвалась посуда и, мгновение спустя, еще одна дверь, входная. Елена Георгиевна возвращается к столу, берет рюмку и выпивает. С пустой рюмкой в руке бродит по комнате, напевая: «Он говорил мне...»*

*Шуршание, ворчание, кряхтение, треск, скрип. Из-под кровати, сопя, вылезает Альков — пузастый мужичка в пыльных пижамных шальварах матрасной полоски и сатиновой майке, чьи ляпочки до невидимости затеряны в вулканическом полуседеом пухе его плечей. Он сосредоточенно жует.*

*Не глядя на Елену Георгиевну, подходит к столу и начинает методически отъедать ото всякого блюда, на столе обретающегося. Потом наполняет рюмку и садится, чтобы ее выпить (вот такой человек — ест стоя, а пьет сидя). Откидывается на спинку стула, подносит ко рту рюмку... и вдруг осторожно и твердо ставит ее на край стола. Выпрямляется по мере сил и по той же мере запускает руку за спину, как бы пытаясь там нечто нащупать. Взгляд его напряжен и словно*

направлен вспять, сквозь себя. Шарит, шарит, наконец выпрастывает руку. Машет ею в воздухе, вдруг мгновенно выпивает рюмку и вскакивает со стула. Снимает со спинки ремень с кобурой и торжественно протягивает его в сторону Елены Георгиевны.

Альков. И что, это все время здесь и висело? Как я оставил, так и висело?

Елена Георгиевна пожимает плечами — дескать, к чему риторика, видишь же, что висело. Альков застегивает пряжку ремня у себя под пузом. Ремень немедленно сползает еще ниже, но Алькова это не смущает. Он наливает еще рюмку, садится и внимательно рассматривает со всех сторон это удивительное приспособление для приема жидкостей внутрь небольшими дозами.

Елена Георгиевна. А что, это ужасно?

Альков. Да, это ужасно.

Елена Георгиевна. Попó, миленький, а чтобы нам этот твой... э-э-э... шпалер выкинуть совсем? Давай я его с Богом, пока ночь, в Мойку кину. (Делает к нему движение.) Ну на что он тебе, рассуди-ка?

Альков (хватаясь за кобуру). Не подходить! Лицом к стене! Руки за голову!

Она отшатывается. Он, необыкновенно убедительно.

Леночка, что ты? Ну что я есть без нагана? Ничто! Абсолютный нуль! Голый баран!

Елена Георгиевна (ласково). А с наганом, Попочка?

Альков пожимает плечами.

Елена Георгиевна снова начинает кружить по комнате наподобие нервной чеховской героини.

(Строго.) Павел Поэльевич. Отдайте мне эту гадость! И немедля! Она мне уже снится — будто катится за мною на своем барабане, щелкая и скрипя. А дуло — извивается, извивается. (Неожиданно томно.) Мне кажется, Павел Поэльевич, нет, я убеждена, что из этого вот револьвера вы застрелили моего двоюродного дедушку графа Пшецкого. В 1920 году, в местечке Брацлав, во время вашего знаменитого марша на Варшаву.

Альков (оживляясь и вытягивая из шальвар записную книжку черной кожи). Секундочку, секундочку... (Листает.) Увы-с. (Захлопывает.) Во-первых, я вообще никого не застреливал младше восемнадцати и старше сорока восьми, такой у меня принцип. Вообще. А во-вторых, при взятии нашим эскадронном местечка Брацлав, я, с вашего разрешения, был подло ранен из-за угла коварной пулей панского подголоска, известного белополяка Левки Гимельфарба, позже разоблаченно-



го в качестве такового, так что, извиняюсь, ваших дедушков мы не кокали, не до того было-с.

Елена Георгиевна (*проходя мимо него, касается ладонью его лысоватого затылка*). Ну, не ты, так все равно вы, красные, кокнули...

Альков (*возмущенно*). Мы, красные! А вы были какие, позвольте спросить ясновельможну пани, когда я изымал вас из-под героической тачанки, а ваша элегантная форменная юбка деникинской медсестры была узлом завязана над вашим же белоснежным кокошником с милосердным крестом?! Для чего мне пришлось выпулять в воздух маузерную обойму. А ведь был приказ товарища Троцкого: патронов — жалеть! А я пожалел вас, дорогая Елена Георгиевна, за ваши исключительной прелести пятки, мелькавшие из-под тачанки. А когда юбочка возвратилась, так сказать, на присущее ей место, то и сами вы, собственной расцарапанной персоной, оказались прелести не меньшей. Но очень, очень красные!.. (*Сникает от ее внимательного, жесткого взгляда.*)

Елена Георгиевна. Дурак ты, Альков, нашел что вспоминать. Я валялась под тачанкой, а ты...

*Молчание. Подходит к Алькову со спины. Обнимает.*

Альков (*снимает ее руки. Спокойно*). А я под кроватью.

*Молчание. Встает со стула, уходит к другому концу стола, садится.*

Что-то Сережа из Испании странный вернулся... Говорит как-то странно, как пришибленный... Что ты мне не отвечаешь?

Елена Георгиевна *пожимает плечами. Бродит по комнате, напевая все одну и ту же фразу: «Он говорил мне: будь ты моею...»*

Он-то и всегда был глуп. А теперь стал глуп, как испанец!

*Елена Георгиевна пожимает плечами.*

Что ты молчишь?

Елена Георгиевна. Я вчера на Шпалерную ходила.

Альков. И что же?

Елена Георгиевна. Ничего, очередь.

Альков. И тебе стало стыдно, да, милая, стыдно, что у всех мужья как мужья — по пересылкам гниют, а у тебя — под кроватью лежит и читает при помощи фонаря «летучая мышь» всякого Анри Бергсона и Мартина Бубера? Да? Стыдно? Ай-я-яй, какой негодяй, не говоря уже о том, что троцкист и агент четырех разведок.

*Елена Георгиевна пожимает плечами.*

Ну и что тебе сказали? На Шпалерной-то. Как обычно? «Ничего не знаем, в списках не значится, сбежал к какой-нибудь мамзели, ищите, гражданочка, нарсудом...»

Елена Георгиевна. Нет, ты нашелся.

*Альков аж привстает.*

Говорят, можно передачу — носочки там, консервы... Говорят, ты на следствии...

Альков (*орет*). Под! **Под следствием!** Дура!!!

Елена Георгиевна (*спокойно*). Извини, пожалуйста, под следствием. (*Подходит к нему, обнимает.*) Павлик, как это?

Альков (*кривя рот*). А так. Поймали меня, грешного. Я, конечно, отстреливался до последнего патрона. А последний оказался бракованным, без пули. Вот теперь я сижу в казанской пересыльной тюрьме, где мне выдали эти чудные (*показывает*) кальсоны в нежно-голубую продольную полосочку.

Елена Георгиевна. Павлик, они же просто на улице кого-то взяли, для счета. Да?

Альков (*резко встает, она падает*). Все, я пошел сдаваться! Не могу быть причиной гибели бедного прохожего! (*Идет к двери.*)

Елена Георгиевна. Павлик, они же его все равно не выпустят!..

Альков (*иронически*). Да ну? Все равно иду!

*Действительно, идет к двери. Елена Георгиевна бросается за ним. В это время за сценой хлопает входная дверь. Они застывают. Альков растягивает кобуру.*

*Открывается дверь и в комнату входит Тальков. В протянутой руке он держит наган. Альков и Елена Георгиевна пятятся за стол.*

Тальков. Леночка, я уже в машине спохватился — это не мой наган. Это Павликов наган. Видишь, тут и гравировка: «Павлу Алькову за беззаветную храбрость ВЦИК РСФСР». Что же ты его не сдала — крупные могут неприятности... Даже я не смогу... А мой-то, мой-то где?

*Альков вынимает из кобуры наган и пускает его по столу (посуда со звоном шарахается) в направлении Талькова. Тот ловит; оставляет наган на столе. В руках у него по-прежнему наган Алькова. Проворачивает барабан.*

Леночка, тут всего один патрон почему-то... (*Вынимает из кармана коробочку с патронами, дозаряжает — раз поворот барабана, два, три, четыре, пять, шесть... — дозаряжает и пускает по столу к Алькову.*) Спрячь. А лучше выкини. Ей-богу, нехорошо может...

*Альков ловит наган, берет его в руки и вынимает из него патроны. Патроны, глухо звякая, падают из барабана на стол — раз, два, три, четыре, пять, шесть...*

Ну, все, я побежал, ребята ждут... И так операцию задержали. *(Берет со стола свой наган, поворачивается и идет к двери. Резко оборачивается.)*

*Занавес закрывается.*

Выстрел.

---

## История Привидений

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

София Георгиевна Бэлецкая, 28-ми лет.

реб Борух Белецкер, 36-ти лет.

Сергея } лет по 26—27-ми.  
Вася }

Экскурсия с экскурсоводом.

Местечко Белец Западного края.

Старинный замок местных владетелей.

Ночь.

*Раскрывается занавес.*

*Сводчатая замковая комната. Слева — высокое, заостренное окно, за коим — ночь, путаница уже слегка прищеватых ветвей, маленькая оплывшая луна.*

*Справа — тяжелая, с брезгливым львиным лицом, дверь.*

*С потолка свисают бахромчатые штандарты с абстракционистской геральдикой. На стенах — тяжеловесное оружие, давным-давно холодное, какие-то тусклые узкие флаги, овальные полотна (сквозь черноту их просвечивают продолговатые плешивые господа и светловолосые, как бы иронически прищуренные дамы).*

*Мебель — ромбовидный резной стол. По острым углам его в соответствующих креслах сидят реб Борух и София Георгиевна с маленькими щекастыми чашечками в руках. Посреди стола керосиновая лампа, переделанная из бронзового подсвечника с изогнувшимися ручкообразно амурчиками. На коленях Софии Георгиевны — на темно-малиновом шелке — кошка необыкновенной ушастости, — просто не кошка, а какая-то летучая мышь.*

*р. Борух — сравнительно молодой человек в сюртучной паре и козловых полусапожках; на темени его плоская бархатная шапочка. Лицо сухова-*

тое, со вздернутой полуседой бородкой — одним словом, если не обратить внимания на ермолку, вылитый король Генрих IV (разумеется, Наваррский).

София Георгиевна — женщина чудной, чуть-чуть в прошедшем времени, красоты. Милостивое дерзкое лицо.

Платье, как уже упоминалось, темно-малиновое, из того превосходнейшего шелка, что, кажется, по собственной воле то необыкновенно твердо — как бархат! — стоит вокруг облекаемого тела, то вдруг, почти что сливаясь с кожей, превращает женщину как бы ненароком в фактически голым-голое существо. Сейчас такого не делают.

После некоторой молчаливой паузы, выдержанной от раскрытия занавеса, София Георгиевна вдруг решительно, но беззвучно ставит чашку на стол, гневно встает с места (кошка с гнусавым криком падает, как водится, на четыре лапы и сигает куда-то в сторону) и подходит к одной из настенных картин (ближайшей к окну, нежели к двери), хватая ее боковую раму и отводит, как дверцу. За портретом, в небольшом углублении, привинчен к стене телефонный аппарат. София Георгиевна ожесточенно крутит ручку и неожиданно визгливо кричит в раструб деревянной трубки: «Барышня! Барышня! Барышня!» С мгновение слушает, вешает трубку, закрывает нишу картиной и оборачивается к улыбающемуся р. Боруху.

София Георгиевна. Если Ганка добралась и если войска уже высланы, то к рассвету они приедут, кажется... А если нет... я просто не знаю, что будет!

р. Борух. Таки будет плохо.

София Георгиевна (*внимательно на него смотрит, слегка прищурясь*). Послушайте, что вы сидите, словно вас это все не касается?! Я уже осипла! (*Убедительно прокашливается.*) Телефонуйте теперь вы!

р. Борух (*вытягивается всем телом в своем кресле по направлению к окну, смотрит туда, выворачивая голову, как бы надеясь усмотреть нечто сбоку и наверху. Потом вынимает круглые плоские часы, щелкает крышкой и после внимательного изучения циферблата, деловито кивает головой*). Извиняюсь, ваше сиятельство, настала суббота — возблагодарим же Господа за этот ее приход!

София Георгиевна. А я больше телефонировать не стану! А я устала! А я женщина! А вы не желаете пальцем шевельнуть!..

р. Борух. Я же желаю, ваше сиятельство, а я же не могу! Как раз пальцем шевельнуть и не могу — суббота же...

София Георгиевна (*гневно*). Вы фарисей! Не человек для субботы, а суббота для человека! (*Идет и садится на свое место.*)

р. Борух (*очень ласково*). Суббота не для человека, ваше сиятельство, а для Бога; и человек не для субботы, а для Бога... Я так думаю.

- София Георгиевна. Зовите меня по имени-отчеству. У меня от вашего «сиятельства» уже в глазах темно.
- р. Борух. Извиняюсь, это у меня от вашего сиятельства в глазах темно. *(Жмурится и улыбается.)*
- София Георгиевна. Э-э, да вы, оказывается, дамский угодник... Может статься, если вы сделались этакий кургузный, все ж таки потелефонируете, вдруг...
- р. Борух. Дорогая София Георгиевна! Между нами говоря, только лишь находясь с вами в одной комнате и даже просто глядя на ваше женское лицо, я веду себя как совершенно не положено примерным хасидам, а тем более их цадику... Жгите меня огнем, дорогая София Георгиевна, субботу не нарушу, отступником не стану, да-с! Нет-с!
- София Георгиевна. Я-то вас жечь, честно говоря, не собираюсь, а вот когда мужики покончат с Лейбиным шинком — так, кажется, ресторация эта именуется? *(р. Борух кивает)* — и сообразят, как проломать замковые ворота, — вот тогда, пожалуйста, огня будет сколько хотите. Пустят, что называется, красного...
- р. Борух. Т-с-с-с... *(Прижимает палец к губам и поворачивается к окну.)*
- София Георгиевна. Что еще?!
- р. Борух. Ни-ни, почудилось... Ну, так и что?
- София Георгиевна. Вы трусливый ханжа, господин цадик! Просто не понимаю, почему я вас вместе с вашим кагалом пустила в дом?!
- р. Борух. *(спокойно)*. Может быть, вы человеколюбивая. А может быть потому, что сейчас как раз тот интересный случай, когда нас бьют из-за вашей милости, а не из-за вашей немилости или по приказу вашей милости, или просто так... Революция, извините-знаете.
- София Георгиевна *(передразнивает)*. Просто так! У меня в детстве, знаете, гувернантка была, Эмма Францевна, так она говаривала мне, малютке: «Просто так, детошка, только кошечки рождаются!»
- р. Борух. Таки неглупая была женщина.
- София Георгиевна *(нагибается — и как раз сейчас шелк играет с ней в «голое тело» — и водит головой под столом)*. Кс-с... Кс-с... Мура, Мурочка, где ты? Кс-с-с... *(Выпрямляется в кресле.)* Вот дрянь ушастая, дезертировала! Кстати, пан еврейский вождь, это ваш какой-то подданный дезертировал в Цусимском сражении? — мне губернатор что-то рассказывал, я не дослушала...
- р. Борух *(охотно)*. Он не дезертировал — это Пинхас был, Либман, — а **выплыл**. Его японцы уловили, а он им говорит:

«Обменяйте меня не глядя на какого-нибудь вашего. Меня, извиняюсь, жена ждет, Рива, ругаться будет, что опоздал...» А они говорят: «Ни боже мой, Либман, мы тебя не отпустим. Меньше чем на генерала тебя менять расчёту нет...» — а японцы хорошему еврею цену знают! — «...а наших генералов пока что к вам не **выплыло**. Так что жди». Вот реб Пинхас и живет у японцев, учит их готовить клецки из мацовой муки. Они его за это сильно ценят и, видимо, уже никогда не отпускают. Клецки из мацовой муки у них теперь национальное блюдо...

София Георгиевна (*с мгновение заморозенно смотрит на р. Боруха*). Господи, вы что, издеваетесь надо мной? Что вы за ересь несете?! (*Пауза.*) Когда же это кончится?! (*Встает, быстро бродит по комнате, неожиданно почти подбегает к телефонному портрету и повторяет свои манипуляции с аппаратом.*) Барышня! Барышня! Барышня! (*Бросает трубку на крюк аппарата, с силой захлопывает картину.*) Не понимаю, что же я им дурного сделала? Школу открыла, долги прощаю, младенцев у них крещу!.. Что им еще нужно, Господи?!

р. Борух (*поворачивается к ней*). А вот когда они явятся, мы их и поспрашаем...

София Георгиевна (*не слушая его, подходит к окну, всматривается*). Смотрите, смотрите, Борис Абрамович, горит!

р. Борух (*не шевельнувшись*). Это Лейбин уже шинок горит, я так думаю.

София Георгиевна (*дергает за шнурок, окно плотно зашторивается*). Господи! (*Медленно идет; уже пройдя мимо, останавливается у кресла р. Боруха.*) Почему вы сидите, как столб, как Чингачгук, вы, местечковый Сэнека! Вы меня просто бесите!!!

р. Борух (*коротко улыбается*). Знаете, дорогая София Георгиевна, есть такая хорошая еврейская пословица: «Как покойник питается, так он и выглядывает». Перевод мой.

София Георгиевна (*овсем уж возмущенно*). Что вы всё изображаете, Борис Абрамович?! Я же знаю, вы интеллигентный человек, вы учились в Париже...

р. Борух (*кратко*). В Льеже.

София Георгиевна. Извините меня, пожалуйста, в Льеже! А изображаете — безграмотного еврейского клерикала! (*Воинственно.*) Зачем вы сюда заявили из вашего Льежа и сделали этим — удивительно глупое слово — цадиком?!

р. Борух. Дорогая София Георгиевна, вы же и сами знаете — папа мой, реб Аврам, умер, унс цу лайн ги-йорн, а я пока его сын — кому же, дорогая София Георгиевна...

София Георгиевна (*возмущенно*). Какая я вам дорогая?!

р. Борух (*серьезно*). А какая?

София Георгиевна. Просто София Георгиевна. Прос-то!

р. Борух (*пожимает плечами*). Ай-я-яй, нагрубил... Извиняюсь! (*Продолжает чуть нараспев*.) Так вот, просто София Георгиевна! Когда мой отец, рабби Аврам из Бельца, молился Богу, то вся природа отвлекалась от своих дел и смотрела на него и слушала его молитву. А когда я, рабби Борух из Бельца, молюсь Богу, только половина природы смотрит на меня и слушает мою молитву, а вторая половина рассматривает мой диплом из Льежского политехникума и пожимает плечами. Так говорят хасиды.

София Георгиевна. А у вас жена есть?

р. Борух (*ставит чашку на стол и сцепляет руки на животе*). У меня, слава Богу, есть сын — он спит у вас в людской, и вокруг него плачут евреи. А у вас есть детки, София Георгиевна?

София Георгиевна (*после долгой паузы, нахмурясь*). Что вы меня допрашиваете, несносный вы человек?

*Молчание.*

*София Георгиевна встает и начинает кружить по комнате.*

*р. Борух следит за ней, изворачивая свою небольшую, бледно-желтую в керосиновом свете, голову.*

София Георгиевна (*ломая руки*). Когда же, когда же они приедут? Борис Абрамович, который час?

р. Борух (*смотрит на часы*). Без двадцати.

София Георгиевна (*еще немного покругивши*). Вот вы сидите здесь... как божок! Пришли спасаться в мой дом, а сами мсня не любите!

р. Борух. Мы вас любим, ваше сиятельство. Школ вы нам не строите, долгов не прощаете, младенцев почти не крестите — за что ж нам вас не любить?!

*Неожиданно встает, резко подходит к ней, она выгибается всем телом назад, но с места своего не двигается. Он стоит перед ней недолго, после чего так же резко возвращается к своему креслу и садится.*

Мы вас очень-очень любим и с нетерпением ждем карательной команды.

София Георгиевна (*быстро подходит к нему и кладет руку ему на плечо. Умоляюще*). Борис Абрамович, ну скажите мне — только искренне и честно! — вы хотите есть? Я могу сделать яичницу — я умею.

р. Борух (*встает, снимает ее руку со своего плеча и, держа ее в своей узкой, сухой руке, глядит ей в глаза*). Сердечно

признателен, ваше сиятельство, я покушаю — может быть — утром. (*Выпускает ее руку из своей и, склонив набок голову, следит за тем, как рука Софии Георгиевны бессильно, но чуть замедленно сваливается вниз и повисает вдоль бедра.*) До чего уже таки дошло просвещение! Ваш папа покойный не предлагал моему отцу, рабби Авраму из Бельца, покушать; ваш дедушка не предлагал моему деду, рабби Нафтоле из Бельца, покушать; а тем более старый граф Пшецкий, который владел тут (*обмахивается обеими руками*) всем до польского восстания, он уж моему прадеду, рабби Хаиму из Пшецка, уж совсем не предлагал покушать, не говоря уже собственноручно. А ваше сиятельство...

София Георгиевна (*злбно топает ногой*). Борис, прекрати! Ну! (*Подходит к нему совсем близко и касается указательным пальцем без колец отворота его сюртука.*) И еще...

*Вдруг за сценой раздается глухой звук — бух!!!*

Ой, что это?

р. Борух (*рассудительно*). Или это пушка, или это мужики колотят бревном в ворота... я так думаю.

*Звук повторяется, сильнее и ближе. София Георгиевна прижимается к р. Боруху. Топот за дверью — бух!!! в дверь нашей сценической комнаты. София Георгиевна и р. Борух отшатываются и толкают стол. Падают и гаснет лампа. Сразу же вслед за еще одним бухом дверь сильно распахивается внутрь комнаты. На сцену врываются какие-то белые тени. Гудя и ухая, они мечутся по комнате, окруженные судорожными молниями. Вдруг с отчаянным жужжанием, в два толчка, они взлетают и принимаются снова в воздухе. Однако уже ясно, что их, теней, две. София Георгиевна пронзительно кричит: «А-а-а-а!» Тут одна из теней, сопровождаемая падением светового снопа, с глухим звуком падает на пол. Мгновение молчания, потом проявляется источник равномерного освещения — он идет снизу: это у тени, свалившейся на пол, в руке мощный фонарь.*

*Итак, сцена вновь освещается, теперь уже не керосиново, а электрически. Диспозиция такова: в левом углу стоят, прижавшись друг к другу, София Георгиевна и реб Борух. На полу, справа от стола, сидит, вытянув ноги, молодой человек, завернутый в простыню, и держит перед собой двумя руками большой, чуть стрекочущий фонарь. Под потолком висит, уцепясь одной рукой, как обезьянка, за канатик от штандарта, еще один молодой человек в простыне. Он слегка покачивается на своем канатике и почти что смущенно улыбается.*

Молодой человек с пола. Извиняйте, товарищи, обознались, елки. Мы с того крыла (*бережно показывает фонарем куда-то за спину*). Вась, ты чо, слазь, чудила. Мы не сюда попали, Вася, понял? (*Вася кивает и, грохоча подковами, спрыгивает сначала на стол, а затем и на пол.*) Больно бояться



девчата привидений, надо их воспитывать, на то и школа актива, точно? А вы из губоно будете, командировочные? София Георгиевна (*медленно*). Так значит, **вы** не привидения? Молодой человек (*поднимается с полу, снимает с себя простыню, оказывается в гимнастерке, солдатских штанах с обмотками*). Во, интеллигенция,— какие ж привидения на шестнадцатом году революции, товарищ? Этот вопрос я списываю на ваше нервное расстройство, в связи, что мы обознавшись!

*Вася, оставаясь пока в простыне, водит головою из стороны в сторону.*  
р. Борух. А-а, понятно... понятненько...

*Берет Софию Георгиевну за руку и они начинают, заслоняясь свободными руками от направленного на них фонарного света, отступить в угол, в шевелящийся сумрак. И вдруг... сами начинают меркнуть, расплываться, рассеиваться — мгновение, и на месте, где они вот только что были, просто-таки ничего нет, только бледный дымок вздрагивает и тает. Молодые люди, в свою очередь, пятаются к двери. Вася (который с потолка слез и еще простыню снять не успел) мелко и часто крестится, шевеля губами. Его товарищ берет себя в руки, останавливается и решительно шмякает свою скомканную простыню об пол, после чего оборачивается к Васе и грозно на него смотрит.*

Вася. А-апчи!.. Серега, а? А, Серега?

Серега (*с достоинством*). Бэ.

Вася. Как бэ?

Серега (*с еще большим достоинством*). Так, бэ и бэ!

Вася (*тычет пальцем в левый угол*). А эти?

Серега. А чихал я на них.

Вася. Это я чихал, а ты не чихал, ты говоришь — бэ.

Серега. Ты чихал по форме, а я чихал по содержанию, потому и говорю бэ. (*Необыкновенно ласково и убедительно.*) А ты в таком разрезе, товарищ Вася, еще не изжил дедовско-бабовское суеверие, а прокрался в комсомолию, и даже в школу актива. Стыдись, товарищ, привидений не существует никогда!

Вася. А что же это такое существовало, товарищ Серега, скажи. Серега (*оглядываясь, разводит руками*). Где существовало?

Вася (*робко*). А тута существовало... самое (*самое — это у него слово-сапрофит, расширяя меткое выражение классика*).

Серега. А чо (*передразнивает*) тута? (*Показывает руками.*) Ничего тута не существовало. Бывшая типичная дворянская жилплощадь с ихним старорежимным жилищным оборудованием. Как памятник изощренного с лица истории класса. А ныне — красный музей-уголок досуга... Как же это мы с тобой про-

махнулись?.. К девчатам, надо быть, по второй лестнице налево, а мы... То-то пришлось двери ломать.

Вася (*неожиданно раздраженно*). Все ты... Все ты... Я же говорил, я же не хотел... В первый же день ЧП! К девчатам ему! (*Почти кричит.*) Петух индейский! (*С рычанием сдирает с себя простыню.*)

Сергея (*помогая ему в этом*). Тсс... С умишка съехал, а? Ежели нас здесь заловят — нарядов не оберешься. Гальюнов давно не драил, чумазый?

Вася (*так же неожиданно, как взъерепенился, успокаивается и, аккуратно складывая сперва свою простыню, а потом поднятую с полу Серегину*). Это если дежурный товарищ Крышин, а если товарищ Либман, только понудит часок... он добрый...

Сергея (*передразнивает*). Товарищ Либман до-обрый! Тьфу, нашел товарища! (*Пауза.*)

Вася (*равнодушно машет рукой*). Э-э-э... Так что ж было-то, а? Сергеа (*твердо*). А ничего и не было. И Вася!

Вася (*взволнованно*). А я при чем, чего ты мне шьешь, ты?

Сергеа. Это же выражение такое — «и Вася», а ты при том, что играешь на руку мировой контре своими нетрезвыми видениями!

Вася. Видениями? А с кем же мы, самое, гутарили?

Сергеа (*ласково*). Вася, товарищ дорогой, не пей, если не умеешь! О!

Вася (*обидчиво*). А сам что, умеешь?

Сергеа (*примирительно*). Дело навыка.

Вася (*настывает*). А как, самое, в комсомолки, насчет навыку (*щелкает себя пальцем по холмистому горлу*). Это как, не дедовство-бабовство? За это и из школы могут...

Сергеа. Хочешь дыхну?

Вася. Ну дыхни.

*Сергеа дышит. Вася отшатывается и занюхивает рукавом.*

Сергеа (*самодовольно*). Видал?

Вася (*возмущенно*). Чего видал? Чего видал? Сивухой бьет, как из ведра!

Сергеа. Это у тебя в твоём ноздревом аппарате запах такой укрепился — от времен борьбы с самогоноварением. Тебе же чего ни нюхай — сивухой покажется... Гы, ловко... — тебе чего ни нюхай, покажется сивухой! — Я про тебя стишки в стенную печать напишу!

Вася (*коротко*). Ну ты сволочь!

Сергеа (*ласково*). Я-то сволочь, а ты-то из школы полетишь, как цуцик, недобиток поповско-раввинский.

Вася. Это я раввинский? Я раввинский? Ты чего несешь, падло?  
 Серега. Кто в Минске на вокзале травил — дескать, в вашей  
 Полупокиновке мертвый пономарь в колокол лупит по быв-  
 шим престольным?

Вася. Так ведь лупит же! Я же слыхал! Самое... собственно...  
 ушно! Во! Что я могу сделать, коли слыхал?!

Серега. Что-что! Колокол снять... к фене... вот что! Серый ты,  
 Вася!

Вася (*восхищенно*). Ну, Серый, ты даешь! Ты, Серый...

Серега (*холодно*). Это ты серый, а я нормальный.

Вася. Ну, Серый, ты даешь! Я так им, самое, в ячейку и напишу:  
 пушай снимают — и к Фене — она в ем будет капусту квасить!  
 А пономарь явится, хватъ... а колокола нетути! (*Заливается  
 детским смехом.*) Ну, здбровски...

Серега (*пораженный внезапным озарением, останавливает Васин  
 смех сильным ударом по плечу*). Слухай, Вась, а как это  
 шпионы и диверсанты были?

Вася. Какие?

Серега. Ну эти... На нем эдакая шапка зарубежная, а на ней —  
 платье-хламида...

Вася (*торжествующе*). Товарищ Серега, ты, самое, обратный ход  
 тянешь! Говорил, привидение не существует никогда...

Серега. Привидение не существует, а шпионы существуют! И ди-  
 версанты! Ну, елки...

Вася. А куда, самое, делись... ежели они шпионы? А?

Серега (*вплотную подходит к Васе и шепотом кричит ему  
 в самое ухо*). Это, Вась, заграничный гипноз! Они нам глаза  
 заволокли, а сами здесь где-нибудь, и нас на пушку на мушку  
 взяли...

*Оба, испуганные, начинают вертеться во все стороны, звонко топчась  
 и хлестко отмахиваясь руками.*

Вася (*истерически*). Ла-ажись!!!

*Бросаются на пол. Серега, в падении искривившийся, чтобы поставить  
 на стол свой фонарь, задевает головой нижнюю раму картины (стол,  
 если помните, в предыдущем, да будет так позволено выразиться,  
 явлении толкнули и сдвинули, поэтому происходящего сейчас он не  
 заслоняет), дверца открывается и телефонная трубка, очевидно, плохо  
 повешенная Софией Георгиевной, срывается с крюка и хлопает Серегу по  
 голове.*

*Серега падает ниц и прикрывает голову руками. Вася пристроился ближе  
 к двери.*

Серега (*после некоторой паузы*). Вася, я убит?

Вася. Черт тебя знает, товарищ... А ты чего чувствуешь?

Сергеа (*пытается приподняться, но хлопается головой о болтающуюся на проводе трубку и снова прижимается к полу*). Меня в голову два раза застрелили, товарищ Вася. (*Скорбно*.) Я, пожалуй, убит.

Вася (*решиительно встает и поднимает вверх обе руки*). Сдаюсь! (*Пауза*.) Эй, шпионы, сдаюсь я! (*Поворачивается вокруг себя с поднятыми руками и видит Сергеу с нависшей над ним дамкловой трубкой*.) Серый, это чего еще такое?

Сергеа (*приподнимается, снова хлопается о трубку, взывает и снова падает*). Я тоже, я тоже!

Вася (*подходит к нему, берет трубку, заглядывает в нишу*). Серый, ну глянь-ка, глянь!

Сергеа (*с полу*). Фига!

Вася. Да глянь, не бойсь, все нормально! (*Очень убедительно*.) Честное комсомольское — ты живой!

Сергеа (*приподнимается на локте и спрашивает недоверчиво*). А это еще чего, товарищ Вася? Это ихняя шпионская радиоштука?

Вася. Не-е... Это, кажись, телефонный аппарат дореволюционной конструкции. (*Показывает Сергее трубку*.) Во! Интересно, работает?

Сергеа (*после паузы*). М-м-м... (*Очень медленно и ласково*.) Вася, Вася, покрути-ка ручечку.

Вася *крутит*.

Та-ак, та-ак... (*По-пластунски ползет к Васе, подползает, рывком вырывает у него трубку и кричит в нее*.) Город! Город! Срочно ГеПеУ мне!

Вася (*от восхищения аж всплескивает руками*). Ну, Сергеа, ну, голова-а-а!

Сергеа (*в трубку*). Алле, алле, это из Бельца, из школы актива! Алле, алле! Раскрыта банда диверсантов — мужик и баба! Да, баба! И еще им сдался, не вынеся ихних угроз, курсант Варюшкин Василий! Василий!!! А-а, жду! (*Встает с пола, аккуратно вешает трубку и начинает тщательно тряхать штаны*.)

Вася (*опомнясь, бросается на него и пытается ухватить за горло*). Ты чо... ты чо... Шкура!

Сергеа *с силой отпихивает Васю и продолжает тряхать*. Вася снова бросается на него.

Сергеа. Тш-ш... Слыхал?

Вася (*замирает*). Чего?

Сергеа (*таинственно*). Мотор.

*Подходит к окну, тянет за веревочку — штора поднимается. За окном несколько светлее, чем прежде.*

Светает, товарищ Вася.

Вася. Это уже едут? А, Серега? А?

Серега. Не должны, рановато. А может... Нет, вроде не должны... Обожди чуток... Манёхо осталось...

*Из-за сцены, как бы издалека и снизу, звучит нестройный, но с неким внутренним ритмом, топот человеческих шагов, сопровождаемый обертонами шарканья. Топот усиливается, то есть приближается и поднимается. Серега и Вася глядят на дверь и напряженно прислушиваются. Где-то совсем неподалеку топот сей начинает успокаиваться и вот, наконец, стихает. Слышно только, как кто-то переступает с ноги на ногу с полочичным скрипом.*

*Низкий женский голос, не молодой, но скорый, начинает с чуть твердоватым, по-белорусски чокающим, выговором.*

Голос. Дорогие друзья! *(Кто-то напряженно сморкается.)* Вот и подошла к концу наша экспериментальная экскурсия «Лунная ночь в Белецком замке». Администрация планирует, что вы получили удовлетворение и от ночного катания по таинственному лунному пруду, и от традиционных плясок вокруг костра, и от вида с крепостной стены на рощи и кущи совхоза «Рассвет». Как я уже неоднократно вам рассказывала, Пшецко-Белецкий замок — выдающееся произведение крепостной архитектуры, созданное, стало быть, руками крепостных в шестнадцатом веке, — принадлежало польским графам Пшецким, а после восстания, когда Пшецкие были репрессированы за участие в котором, перешло по личному указанию Николая I к их дальним русским родственникам и... Эй, мальчик, ты куда? Алле, мамаша, держите его!.. *(Шаги, возня.)*

Вася *(вполголоса)*. Серега, кажись, это еще не ГеПеУ.

*Серега машет на него руками и пригибается. Вася кивает и понимающе выставляет перед грудью раскрытую ладонь. Тут они оба принимаются таять, таять, исчезать... Исчезают.*

*Фонарь их, стоящий, как помните, на столе, постепенно гаснет. В комнате устанавливается плотный сумрак.*

Голос *(продолжает)*. В начале нашего века замок и его окрестности стали активной ареной крестьянской борьбы с помещиками и их подручными, но были присланы карательные части, зверски расправившиеся с зачинщиками. Они все были выпороты. То, что не удалось в пятом, в семнадцатом удалось — после революции в замке поместилась народная библиотека, а когда она вся была выдана, с тысяча девятьсот двадцать девятого и по самый сорок первый — летняя школа комсомольского актива области. После войны замок был рекон-

струирован в прежнем виде и сейчас является республиканским музеем-заповедником международного значения. Мы с вами перед дверью одного из художественно-исторических хранилищ, где собраны разные реликвии и регалии рода Пшецких, так сказать, уголок боевой славы (*хихикает*). После осмотра вас ожидает завтрак в нашем новом безалкогольном кафетерии «Шинок» — вы уже там ужинали перед экскурсией. Талоны за ужин и за завтрак просьба сдать мне, иначе завтрака не будет. Итак, прошу...

Чей-то женский взволнованный голос. Ганна Петровна, Ганна Петровна, а где здесь... ну... извините... ребенку пи-пи? Голос экскурсовода (*строго*). Потерпите, товарищ. Недолго уже... Итак... Ты что, ты что, нельзя! (*Шум.*)

*Шум, беготня, звонкие шлепки. В комнате начинает светлеть. Сначала просто светлеет, а потом в окне появляется краешек солнца и первые его пыльные лучи проникают вовнутрь.*

Входите же, входите, товарищи!

*Крик петуха за окном.*

*Солнце лупит вовсю.*

*За дверью — вал топота. Дверь отчаянно распахивается и... начинает медленно, со скрипом запахиваться. Останавливается на полпути. Наконец в комнату неторопливо входит ушастая кошка. В зубах она держит маленького котенка с негнуцимся обсосанным хвостиком.*

*Кошка медленно проходит по комнате, подходит к правому от стола креслу, выпускает из зубов котенка (тот сразу же лезет к ней под живот).*

*Резкий, подпрыгивающий, перекатывающийся, как в горошине, телефонный звонок — звонит и звонит без перерывов.*

*Кошка начинает медленно, вдумчиво чесаться о ножку кресла.*

*Чешется, чешется, чешется, мяучит.*

*Занавес закрывается.*

Кто-то снимает трубку. Потрескивающая тишина.

---

## Феерия Бомбежки

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Симон Янкелевич Горфункель, 58-ми лет.  
Вера Георгиевна Бёлецкая, 56-ти лет.  
Агриппина Федоровна, 67-ми лет.  
Катя, 26-ти лет.

Городок В., глубокий тыл. Январь 1944 года.  
Поздний вечер.  
Комната Симона Янкелевича.

*Занавес медленно раскрывается.*

*Беленые стены, некрашенный мытый пол. В левом углу низкая дверь и маленькое квадратное окно, затянутое волнистой наледью. Правый угол комнаты отделен белой занавеской, сшитой из нескольких медицинских халатов. К стене придвинута кровать, застеленная серым лысоватым одеялом. Ближе к авансцене, с правой стороны, круглый стол под топорщащейся на следах от сгибов скатертью с кружавчиками и несколько белых облупленных табуреток. С потолка на длинном проводе свешивается электрическая лампочка без абажура.*

*Симон Янкелевич стоит посреди комнаты и сосредоточенно натягивает на руки желтые резиновые перчатки. Это пожилой, несколько обрюзгий человек с неуверенными движениями, прямым, собранным сильными морщинами лицом, круглым носом и седой шевелящейся бородой. Он в ватнике и ватных же брюках, заправленных в огромные валенки, снизу обтянутые тонкой ярко-желтой резиной.*

*Из-за занавески выходит Катя — замечательно миловидная и румяная особа в грубошерстной кофте до середины бедер и суконной юбке. На ногах у нее носки без тапок — той же вязки, что и кофта.*

Катя (несколько напевным, низким голосом). Сёмушка, Сёмушка, поскорее же... У меня уж и ужин сделался...

Симон Янкелевич (неожиданно тенором, но тенором звучным, хорошо поставленным на элегантно понижающиеся окончания фраз). Сколько я тебя, Катечка, раз просил: не называй ты меня этой безусловно ценной, но неприятной мне по личной причине рыбой. Я, видишь ли, душенька, сразу же вспоминаю банкет в «Астории» по случаю присвоения мне гордого звания красного профессора. Только, понимаешь, нацелился я на эту вот, как ты выражаешься, **сёмужку**, тут они и пришли, в хрустящих френчах... Ненавижу я эту породу лососевых! Слава Богу, что одиннадцать лет как в глаза ее не видел!

Катя. А как же называть-то, миленький?

Симон Янкелевич (серьезно). Ну... называй, скажем, Монеи — меня так называла покойная мамочка.

Катя (*рассудительно*). Моне́й так Моне́й. (*Пробует.*) Мо-нюш-ка...

Симон Янкелевич (*твердо*). Моню́шко — это композитор. А я аптекарь с классическим образованием. Зови меня Моне́й и все! Все-все-все! Слушать ничего не хочу — **дикси!** Я немедленно ухожу! **Сортирути те салютант,** Катя! (*Поспешно выходит из комнаты.*)

*Слышно, как он грохочет в сенях, отпирает скрежещущим ключом входную дверь, захлопывает ее.*

Катя (*полувосхищенно-полунасмешливо*). Како-ой... (*Качает гладко зачесанной каштановой головой.*) И говорит, и говорит... А чего говорит?.. (*Подходит к кровати, берет нечто плоское и квадратное, хватается ртом за угол этого плоского и квадратного и, невероятно раздувая щеки, начинает шумно дуть. Получается подушка. Катя натягивает наволочку и аккуратно пристраивает подушку в изголовье. Потом, улыбаясь и кивая, начинает подметать пол, одной рукой загребая веником, а другую придерживая прыгающие в кофе груди. Подметает.*)

*Хлопает дверь в сенях.*

Семушка, ты? Семушка?!

*Дверь в комнату с силой распахивается. Топоча сапогами, в громадном тулупе с поднятым волосатым воротом, окутанная паром, врывается Агриппина Федоровна. За ней бочком-бочком Вера Георгиевна в узком пальто, маленьких черных валенках с круглыми заплатками на мысках и черном же, перевязанном под подбородком платке.*

Гражданочки, вам кого?

Агриппина Федоровна (*руки в боки. После изучающей паузы Вере Георгиевне, которая пока что прислонилась к притолоке*). От лярва кирпиччатая, а, Вер?

*Вера Георгиевна стеснительно откашливается.*

Тебя мне (*поворачивается к Кате*), курьву! (*Решиительно двигается в Катину сторону.*) Ну... спущай воздух, ты!

Катя. Гражданочка, вы что, что?.. (*Пятится, держа перед собою оборонительно кривой веник.*) Сейчас хозяин воротится!.. При нем... наган есть!

Агриппина Федоровна (*медленно наступает на Катю, выставив перед собой руки с шевелящимися красными пальцами. Мрачно*). Хозяину твоему переее всего всунется... Мне его наганы-каганы без разницы... У-у...



Катя (*совсем уже прижатая к стене. Отчаянно*). Тетенька! У нас ничего нет! Вы ошиблись — мы бедные! (*Роняет веник.*)

Вера Георгиевна (*слабо*). Агриппина Федоровна, что же вы делаете? Вы же сказали — к родственникам... Я... я... ухажу... (*С трудом отталкивается от притолоки. Агриппина Федоровна в два гигантских шага достает до нее и хватает за шиворот.*)

Агриппина Федоровна. Стой, кому говорят! Знаю, что делаю! (*Кате.*) Ну ты, вертигузка, скоро твой... хозяин обернется? Гад этот протокольный?

Катя. Как же вы так говорите, тетенька?! Вы же не знаете, а говорите! Он... он...

Агриппина Федоровна. Вера, иди садись (*ведет ее, придерживая за шиворот, и усаживает на табуретку у стола*). Я не знаю? Я не знаю? Когда он — зять мне! — бывший, чертова кукла... Как же, не знаю! всю жизнь моей Нюське переломал, жулик!

Катя (*осмелев*). Что ж вы выдумываете, тетенька? Она сама с ним развелась, и еще показания на него дала...

Агриппина Федоровна. Че-его? Это он, что ль, нассказал такое? Он?

Катя. Да-да, и еще говорит: я, дескать, взамуж за профессора выходила, а не арестанта-вредителя... Прощай, говорит, забудь как и звали...

Агриппина Федоровна (*некоторое время иронически смотрит на Катю. Стягивает толстый серый платок — на голове у нее черная редкая шерстка, едва отросшая после стрижки*).

*Такой же — только серебристый и погуще — бобрлик у Веры Георгиевны.*

Профессор! Уши развернула — ишь, репа деревенская! Как же, профессор... Воровать он профессор!

Вера Георгиевна (*собравшись с силами*). Агриппина Федоровна, ну я пошла...

Агриппина Федоровна (*с силой пихает ее сверху в плечо — Вера Георгиевна обрушивается обратно на табурет*). Сиди! Куда пойдешь в ночь? Дождемся гада, вместе уйдем, только я мечь ему сделаю — и враз уйдем. (*Кате.*) Эй, дурешка, куда пошел-то?

Катя. На двор пошел... Только вы зря говорите, что он ворует. У нас-то и своровать нечего, все в госпиталь идет... Что совсем ненужное... (*Вдруг, пораженная.*) Мечь? Вы что, какая мечь?

Агриппина Федоровна. Так он тебе и доложился, жди! Небось, золотцо свое пошел перекладывать, на дворе-то...

Катя. Что же вы такое врете... Он копейки чужой не возьмет, у зайца морковки не отымет, как же так говорите... *(Плачет.)*  
У раненых...

Агриппина Федоровна *(растегивая тулуп, утирает ладонью свое обвисшее неподвижное лицо)*. Ишь, запудрил девке голову! Мастера они на это дело... Растегайся, Верка, кто его знает, сколь он там на дворе будет заседать-то...

Вера Георгиевна. Ну пойдёмте, Агриппина Федоровна, нехорошо же...

Агриппина Федоровна. Нехорошо?! Ах ты, камбала интеллигентная! Я тебя подобрала, я твою жизнь в руку взяла... без меня уж окачурилась бы на станции-то... а ты охуждаешь меня?! *(Передразнивает.)* Нехорошо!.. А жену оставлять на голодную смерть с дитем — хорошо? А среди ночи вещички в сидор и адью — хорошо? *(Твердо и четко.)* Нет, ежели бы он не смылся, его бы вместе с Нюской моей и с Левкой разбомбило. Я его судьбу восстановлю! Ничего!

*Шум в сенях. Топтанье, скрежет поворачиваемого в замке ключа. В комнату входит Симон Янкелевич и останавливается на пороге. Он жмурится и оглядывается, стаскивая зубами перчатки.*

Симон Янкелевич. Катенька, у нас гости?

Катя *(вдруг вскидывается)*. Моня! Убегай, убегай, тут такая...

Агриппина Федоровна *(бросается к двери, отивырнувши в дороге единым взмахом руки бедную Катю)*. Руки вверх!

*Симон Янкелевич послушно поднимает руки в полустянутых резиновых перчатках. Агриппина Федоровна хватает его за грудки и некоторое (чем дольше, тем лучше) время глядит ему в лицо. Вдруг начинает изо всей силы трясти Симона Янкелевича. По всему видно, что трясут его далеко не в первый раз в жизни и что он вполне себе представляет, как нужно правильно вести себя в такой ситуации, то есть расслабиться и несколько отвлечься от происходящего. Нижняя челюсть его прыгает, прищелкивая.*

Ты! Ты убил!!! Убил моего зятя и украл его паспорт! Шпион!!! Паспорт где, шпионская морда?!

Симон Янкелевич *(с трудом попадая рукой за пазуху, достаёт)*. Пожалуйста, гражданка... Только я не шпион...

Агриппина Федоровна *(пытаясь одной лапой раскрыть паспорт, а другой дотрясывая Симона Янкелевича)*. Видала шпионов, видала... видала!..

Симон Янкелевич. Не шпион, а вредитель, причем бывший — подчеркиваю, бывший. Искупил свою вину и являюсь персональной **грата**. Да и негде тут мне протаскивать свою — от кото-

рой я категорически отказался — вредительски усложненную систему латинских времен.

Агриппина Федоровна (*наконец раскрыла паспорт и попеременно взглядывает то туда, то в лицо Симона Янкелевича. Отпускает его грудки и закрывает лицо руками*). Ох...

Симон Янкелевич (*участливо*). Я так и думал, гражданочка, что недоразумение. Вам кто, собственно, нужен, а?

Агриппина Федоровна (*уткнувшись лицом в ладони, мямлит*). Гурфинкеля Семена Яковлевича надо... Аптекаря...

Симон Янкелевич. А я Горфункель, Симон Янкелевич, а Гурфинкеля тут нет. Я тут один аптекарь...

Агриппина Федоровна. Извиняюсь, гражданин... (*Медленно идет к Вере Георгиевне, которая встала с табуретки и стоит, неподвижно, замороженно глядя на Симона Янкелевича*.) Пойдем, Вера Георгиевна, ошибка вышла. Этот тетерев глухой в комендатуре... Я его прошу Гурфинкеля, а он — Фингуркеля сует... (*Тянет Веру Георгиевну за рукав*.) Пойдем, пойдем...

*Вера Георгиевна стоит неподвижно и смотрит на Симона Янкелевича. Тот делает несколько шагов к ней.*

Симон Янкелевич. Вера?

Вера Георгиевна (*тихо*). Симон, зачем ты сказал этой девочке, что я от тебя отказалась и показания дала?

Симон Янкелевич (*улыбается жестко*). А что, не дала?

Вера Георгиевна. Но ты же знаешь, тебя же все равно уже взяли, а у Лены тот муж был на такой работе...

Симон Янкелевич. Был?

Вера Георгиевна (*машет рукой*). Я же хотела приехать... ты же сам развод прислал, и где ты, что ты... Уже ведь одиннадцать лет...

Симон Янкелевич (*окончательно стягивая перчатки*). Вера, Вера, так же проще, так проще, о чем ты?

Агриппина Федоровна. Пойдем, пойдем скорее. Не то месть моя не туда разразится! Господи ты Боже!

Симон Янкелевич. Ты в Ленинграде была, да?

Вера Георгиевна. Ту зиму и начало этой... Что же ты сделал, Симон?.. Я же уже старая...

Катя (*решительно*). Симон Янкелевич, ну, я тут прибралась... на здоровьице... мне домой уж пора...

Вера Георгиевна. Нет, нет, это я ухожу, ухожу...

Катя. Гражданочка, гражданочка, вы не думайте... Я прибраться, стоговить, того-сего... Ко мне Симон Янкелевич ни-ни, что вы... Вы супруга, вы нашлись, а я деревенская...

Вера Георгиевна (*бросаясь к двери*). Все, все, все...

Агриппина Федоровна (*идя за Верой Георгиевной, Катей*). И-и, девка, что ж ты с таким старым связалась. А через десять лет? — ему ж семьдесят будет, а тебе тридцать пять... Он же тебя бросит — и молоденьку возьмет... (*Выходит.*)

Катя. Куда вы, куда? Берите его!

Вера Георгиевна (*из сеней*). Нет, вы берите, вы!

Симон Янкелевич (*грузно опускается на табурет, по-бабьи вкладывает смявшееся лицо в ладонь облокоченной на стол руки*). Ну-ну, поделили... Что же ты стоишь, Катя? Иди к маме, иди... (*Внезапно взрывается.*) Иди, кому говорят!

*Катя бежит к двери. У порога сталкивается с входящей в комнату Верой Георгиевной. Обе падают на пол.*

Вера Георгиевна (*сидит на полу, подогнувши под себя ноги*).  
Симон, открой дверь.

*Симон Янкелевич смотрит в сторону и молчит.*

Симон, эта девушка тебя любит, а я тебя предала!..

Симон Янкелевич. Предала-шмедала... кому это все сейчас интересно?

Вера Георгиевна (*с ужасом*). Что с тобой, Симон, что с тобой сделалось?

Симон Янкелевич (*встает и поднимает обеих дам*). Раздевайся, раздевайся, Вера, куда ты здесь денешься? И вы... э-э-э... (*высунувшейся из сеней Агриппине Федоровне*) раздевайтесь...

Агриппина Федоровна (*возвращаясь в комнату*). Не могу.

Симон Янкелевич (*с интересом*). Вы что там... э-э-э... голая?

Агриппина Федоровна. Ты чего удумал, нехристь?! Я там в кофте! Но не останусь я, не то окончание вашим душам явится!

Симон Янкелевич (*тихо*). Вера, что с ней, она... больная?

Агриппина Федоровна. Сам ты больной! Ежели ты не мой зять и не шпион, так не нагличай, а дверь отмыкай! А ежели я у вас тут останусь, так... разбомбит вас!

Вера Георгиевна. Что вы, Агриппина Федоровна, здесь же тыл, глубокий...

Агриппина Федоровна. А и что, что тыл? За мной персональный ихний германский бомбарделировщик целится. Я в Ленинграде шесть домов сменяла за зиму — всех разбомбило! (*Тихо.*) А я живая... (*Снова тем же голосом.*) И как ехали сюда, всё на поезд налетали, проклятые... Тыл! Что ему тыл, ероплан же — летит куда желается. Вон наши, в начале войны еще, самый Берлин бомбили — радио говорило...

Симон Янкелевич. Сидите, сидите, Агриппина Федоровна. Глуposti это все. Не выпущу я вас — куда в ночь пойдете? Здесь

никто дверь не отворит в такой час... И мне приятно — в кои веки хоть кого под замком подержу... И ужинать сейчас будем... *(Укоризненно.)* Катя!

*Катя радостно вспыхивает.*

Агриппина Федоровна. Ах так?! *(Садится и обиженно отворачивается.)* Пушай, пушай, попомните еще! Интеллигенция!

Катя. Раздевайтесь, раздевайтесь, я сейчас на стол соберу. *(Подпрыгивая, убегает за занавеску.)*

Вера Георгиевна *(опускаясь на табурет и неуверенными движениями пальцев расстегивая пальто)*. Сима, как же ты в аптеке работаешь — ты же не знаешь фармакологии?

Симон Янкелевич. А зачем мне фармакология — мне изо всех лекарств только резиновые перчатки в аптеку поступают. Остальное, когда есть, прямо на госпиталь... но кроме того — когда-то же я знал латынь, забыла?!

Катя *(появляясь из-за занавески с дымящейся кастрюлей)*. Симон Янкелевич так по-латынски шпарит — заслушаешься. У нас тут Симона Янкелевича в городке все обожают. Когда он раненым рассказывает про эту... Автомаху...

Симон Янкелевич *(добродушно)*. Катечка, Андромаху.

Катя *(охотно соглашается)*. Ну да, ее... так все и рыдают, даже уполномоченный из госбезопасности, товарищ Хвесь!

Агриппина Федоровна. А все одно ворует! Как же, не воровамши, нынче-то жить?! Воруеть?

Симон Янкелевич *(смеется, берет со стола пару резиновых перчаток)*. Как ты думаешь, Верочка, кому такие могут быть особенно нужны?

Вера Георгиевна *(пожимает плечами)*. Да никому, конечно, кроме там врачей, сестер... несколько пар...

Симон Янкелевич. А если так? *(Берет со стола ножницы и аккуратно отрезает пальцы у одной перчатки, потом у другой.)*

Вера Георгиевна. Боже мой! Ты с ума сошел!

Симон Янкелевич *(встает и ссыпает отрезанные резиновые пальцы в большой картонный ящик в углу. Остатки — в стоящее рядом ведро)*. А от сифилиса выздоравливающих офицериков убережь, а? А иначе — Агриппина Федоровна права! — не выжить!.. Это Катенька придумала!!!

Катя *(входит с горкой тарелок и четыремя мензурками, надевшими на пальцы)*. Чего же вы не разоблоклись? Сейчас картошку будем кушать, спиртику есть миллиграммулечка...

Вера Георгиевна *(неуверенно)*. Нет-нет, спасибо, мы уходим уже... Агриппина Федоровна, уходим...

Симон Янкелевич. Куда, куда вы пойдете, Вера? Я завтра

в госпитале поговорю... Ты же врач — может, возьмут... А Агриппину Федоровну нянечкой... Площадь тогда дадут... Или у нас останетесь, мы с Катенькой потеснимся. (*Катя радостно кивает.*) Чего уж тут... (*Стаскивает с Веры Георгиевны, безвольно шевелящей руками, пальто и вешает на гвоздь у двери.*) Агриппина Федоровна, снимайте шубу, не стесняйтесь, давайте... Сейчас ужинать...

Агриппина Федоровна. А я и так посижу. Все равно скоро бомбить будут. Там уже — пока спохватишься, без шубы останешься. Ишь вы, мышки тыловые.

Катя (*раскладывает картошины в мундире по тарелкам*). Кушайте, кушайте, гости дорогие, не стесняйтесь...

Вера Георгиевна (*осторожно протягивает руку к тарелке, кончиками пальцев берет картошину и, подставив снизу ладонь ковшиком, долго-долго, бережно-бережно несет ко рту. Все завороженно смотрят, как она подносит наконец картошину к зубам и принимается мелко-мелко обкусывать ее. Спыхватывается, что стала предметом всеобщего внимания.*) Ой...

Симон Янкелевич. Ну, а как Леночка и... Ведь я же ничего не знаю, ни о ком...

Вера Георгиевна (*наклонив голову и между слов прижимаясь губами к шероховатой, сухой картошечьей коже*). Она там, в городе... Ей на работе мужа, ну ты знаешь, у них... предлагали еще в сорок первом эвакуироваться — ни в какую. Сказала, что из своей комнаты не уедет... Так там, наверно, и сидит, — одна, в темноте... ну, паек, правда, у нее от них...

Агриппина Федоровна (*сквозь картошку*). Во-во, а наш аспид... чуть немцы к городу — фьют и смылся! Говорит, пойду воевать! Где ж это видано, чтоб аптекаря воевали?! Да еще в пятьдесят семь годок! Сбег от семьи... Где-нибудь, как ты вроде, с молоденькой на печке кувёркается... Знаю я ихнюю аптекарскую породу!

Вера Георгиевна. А Алеша, ты помнишь, наш с Леночкой племянник, покойной Сони сын, в ополчении убит...

Агриппина Федоровна (*крестится*). Упокой Господи. Многонько их, убитых-то... А вот некоторые... Наш-то Семка, исхитрился даже на себя похоронку выслать, такой аферист! Дал кому надо!

Симон Янкелевич. А я, видишь, Верочка, аптекарь... Плюс квамперфектумом не прокормишься здесь... Спасибо резиновым пальчикам, если жив еще... Так и проще...

*Они едят, долго и тщательно.*

*Симон Янкелевич разливает из маленького флакончика на доньшко каждой мензурки.*

Ну что, за встречу? (*Поднимает «рюмку», вслед за ним и остальные.*)

Агриппина Федоровна (*удовлетворенно ставит рюмку на стол*). Слышите? — гудят!

Катя. Чего «гудят», тетенька?

Агриппина Федоровна (*совсем уж победно*). А это бомбардировщики гудят!

Симон Янкелевич (*прислушивается*). Это наши. Тут аэродром неподалеку, они часто летают.

Агриппина Федоровна (*презрительно*). Наши! Войны ты не нюхал, Симон! Это ешь по звуку германские средние двухмоторные пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-88» с максимальной бомбовой нагрузкой одна тысяча восемьсот килограмм. За мной летят-то! Да! (*Звук медленно и мерно усиливается.*) Теперь уж уходить поздно — приняохались. Я же говорила, да... (*Отворачивается от присутствующих на сцене и в зрительном зале.*)

Симон Янкелевич. Да что вы... что... у нас же никогда не бомбят, никогда...

Катя. Не слушай ее, Семушка, она же чокнутая! Это наши, наши самолетики!

*Где-то вдалеке раздается взрыв. Потом второй, уже ближе. Еще один.*

Агриппина Федоровна (*поплотнее запахивается и по-прежнему не оборачивается*). Как же, наши! Сейчас как жажнет!

*Сильный взрыв совсем уже где-то рядом. По комнате бродят отсветы голубых зенитных лучей. Мензурки скачут на столе. По полу, медленно подпрыгивая, едет мебель.*

Симон Янкелевич (*задыхаясь и хрипя*). Катя, капли... (*С легкой извиняющейся улыбкой.*) Простите, я боюсь...

*Катя бросается к нему с каплями, потом бежит за водой, ложкой, мечется по комнате, бормоча: «Ну где же, ну где... Ох, ты Боже мой...» Вдруг резко встает Вера Георгиевна и, роняя табуретки, прижимается к Симону Янкелевичу спиной, расставив руки в стороны. Подбегает Катя, несколько раз рысцой обегает вокруг сидящего Симона Янкелевича с полулежащей у него на коленях Верой Георгиевной и, поскольку ей не удалось пристроиться спереди, встает сзади, держа над головой Симона Янкелевича составленные ладони. Оглушительный взрыв, вой. Все трясется. Воеет за сценой, да так мерзко, будто вся вражеская эскадрилья летит прямо в нашу комнату. Симон Янкелевич запускает руки назад, хватая Катю за талию и натаскивает ее на себя, подпирая головой, как румяный, машущий белыми круглыми ногами тент.*

Агриппина Федоровна (*в секунду затишья*). Господи! (*Падает, по-прежнему спиной к зрительному залу, на колени и несколь-*

*ко раз сильно бьется головой об пол.) Господи, не виноватые они, за мной это... Знаю, знаю, где душу отдала!.. Меня сказни... Оставь их, туманных! (Оборачивается и видит вышеописанную группу.) Ой... (Хочет что-то сказать, но не выдерживает и тоненько хихикает. Тоненько, а потом все басовитее и басовитее.)*

*Они глядят на нее недоуменно и вдруг начинает смеяться Вера Георгиевна, прикрывая ладошкой рот. Но снова начинается адский вой и грохот, и то, как смеются они — совершенно не слышно. Но уже хохочет, маша ногами, Катя.*

*Симон Янкелевич смотрит очень обиженно, даже возмущенно, но и он, наконец, не выдерживает и начинает сначала сконфуженно, а потом все более простодушно хохотать. И так они все смеются.*

*Это смех не истерический, но искренний и здоровый, только совершенно, повторяю, неслышимый в грохоте и вое. Лица их светлы, и глаза ясны и прямы.*

*Медленно закрывается занавес.*

Взрыв, самый сильный и страшный из всех бывших. Тишина.

Конец

1987

## ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Пьесы Олега Юрьева вряд ли нуждаются в предварительных объяснениях. Чтения же они требуют в высшей степени внимательного, потому что при всей истинно драматической способности «произносить себя вслух», при всей заботливой детализовке авторских ремарок, иногда не менее пространных, чем речь персонажей, при всем красноречии действующих лиц, да при всей, скажем, изысканности материала и причудливости сюжетных коллизий, эти пьесы не равны сумме перечисленных (а их могло бы быть и больше) качеств.

Кажется, что и преимущества, и ограничения драматической словесности в равной мере пленяют и раздражают автора, и он создает художественную конструкцию, способную примирить эти противоречивые чувства. Это прежде всего выражается в той четко выверенной дистанции между временем действия и «настоящим моментом», которая, всякий раз по-разному преодолеваемая, все же остается неизменной. Ни магия тройных превращений в «Погроме...» или «Истории Привидений», ни фатально-анекдоти-



ческие любовные треугольники в «Комедии Алькова» или «Феерии Бомбежки», ни атрибуты гражданской войны в «Мириам» не позволяют нам определить драматургию О. Юрьева как «символическую» или «бытовую», «традиционную» или «авангардную», «историческую» или «современную». Даже и выбор основных персонажей (как правило, это «лица еврейской национальности») — условность не меньшая, но и не большая, чем греки, римляне или турки в трагедиях французских классицистов.

Предваряя пьесу «Мириам», автор предупреждает, что «в языке персонажей не следует искать реальных общественных, племенных либо каких иных соответствий». Вопиющая очевидность этих соответствий в самой пьесе позволяла бы счесть автора лукавым иронистом, бравирующим не вполне общепринятой трактовкой гражданской войны, но...

Поиски «подлинной исторической правды», замеры «общественной температуры», категорические персонификации добра и зла, кажется, не занимают О. Юрьева. Разрешению проблем, раскрытию секретов, разгадыванию ребусов он предпочитает проникновение в тайну жизни, которую проблемы, секреты и ребусы лишь маскируют. Тайна эта, поэтическая по своей природе, так преломляет художественное пространство, что превращение предметов в символы, случайностей в неизбежности, анекдотов в мифы происходит с истинно поэтической свободой и естественностью. Словесно-сценическая материя — стилистически изощренная, психологически достоверная, комедийно изобретательная — на глазах расстужается под напором загадочной стихии еще не высказанного бытия.

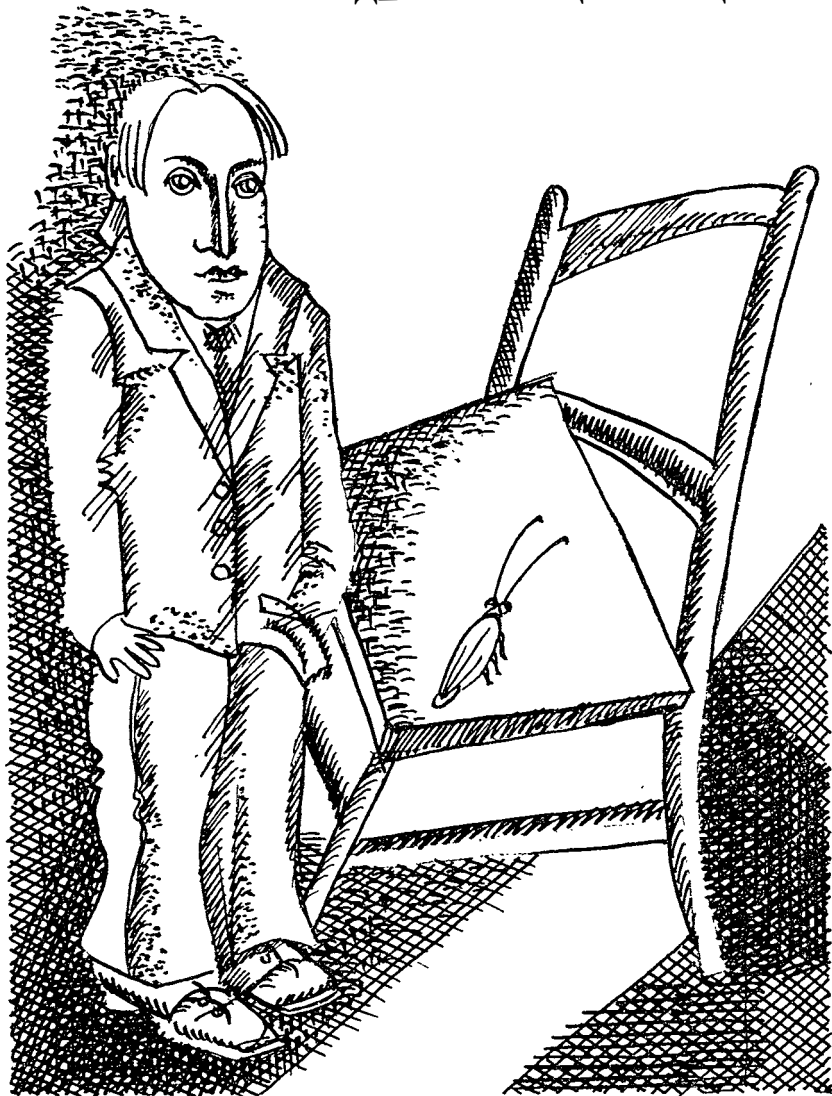
В этих волнах подступающего бытия, то мирно покачивающих корпус драматического корабля, то грозящих его раздавить, — главный смысл и новизна того, что делает Олег Юрьев.

Он строит свои пьесы по законам поэтическим, и этим, равно как и собственно стиховыми фрагментами в «Погроме...» и «Мириам», самостоятельно значимыми, но и неотъемлемо необходимыми здесь, безоговорочно доказывает, что знакомство с талантливым драматургом предшествует знакомству, надеюсь скорому, с талантливым поэтом.

**Михаил Шейнкер**

---

**Зуфар Гареев**  
**СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ**  
**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА**



## СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кодухов Евгений Борисович. Писатель-неудачник, около 50 лет.

Отделился от семьи, снимает комнату. Встречается с женой в так называемый семейный день.

Кодухова Евгения. Его жена.

Кодухов-мальчик. Мальчик лет 11—12; коротко, «казенно» стрижен, кашляет.

Человек с гробом. Сосредоточен на гробе.

Человек, просто.

Женщина, озябшая в потрепанном платье.

Кодухова (*на взводе*). Я всю жизнь была с детьми. Я вынесла их на себе. Ты всю жизнь писал и читал. Я работала на двух работах. Ты писал и читал. И шикарно заблуждался. Бросил два института, везде и всегда резал правду-матку в глаза, был гордый, независимый, презрительный. Естественно, не забывал каждый день заглядывать в сковородки... И всю жизнь говорил мне: вот скоро, потерпи, вот завтра, послезавтра... А в школе дети писали в анкетах: отец — сторож. Ты им вдалбливал, что бывают сторожа по призванию. Но они не поверили — знай!..

Плохо мы жили — и вспомнить нечего...

Хочешь, я скажу тебе правду? Просто ты был озлоблен, ты замечал в людях только дерьмо и до сих пор свято убежден, что мир состоит из подонков, воров, проституток, обжор... Ты как навозная муха, которая никогда не полетит на варенье, если рядом помойка... И это твое несчастье — неужели ты этого еще не понял, а?

Героически уйди! Не надо вертеться и зарабатывать деньги, — жрать вонючие котлетки из кулинарок... зато в душе — правда... правда помоек!

А теперь я хочу плконуть на эту твою правду! Я устала, мне надо лечить желудок, печень, я уже не могу работать на двух работах.

Ты ведь не дашь мне денег на путевку. Никто не даст.

Кодухов. У меня нет денег...

Кодухова. Это единственное, чего у тебя нет — зато всего остального навалом!

(*Швыряет рукописи.*) И кому все это нужно! Эти горы бумаги, в которых бред, бред, бред... (*Топчет.*) Вот тебе твоя правда! За девочку, у которой косоглазие — не было денег,

чтобы найти нужных людей, профессора какого-нибудь! За мальчика — за его вшивенький техникум, потому что не было денег и не было блата! А вот за сторожа! Вот тебе и за мои слезы, на которые ты никогда не обращал внимания! А это за мое подарочное золото — оно до последнего грамма пропало в ломбардах! А это за мои старенькие платья! А это за то, что мне иногда хотелось фруктов и вина, и в ресторан... Получи! За все!

Мальчик. Не пиши так, как советует тебе эта женщина. Будь вольным стрелком, не продавайся им...

Кодухова. Неудачник! Дохлая вымученность! Надо к жизни, дурак! Надо ближе к людям!

Мальчик (*подбирает один листочек*). Почерк несколько не изменился... (*Достает спички, поджигает, смотрит на огонь.*)

*Кодухов взял ручку, бумагу, ушел в ванную.*

Кодухова. Избегает. Это человек, который всегда хочет быть один. Да ведь так трехнуться можно, я читала где-то. (*Все это она говорит вроде бы мальчику.*)

Как мы с ним дико и неровно живем! И долго-долго! Он ни разу в жизни не подарил мне цветов, даже когда я родила... Пришел, нахмурился, сказал: пойдём... А я бледненько так улыбалась; он покосился на ребенка и все эмоции...

И что за гордость такая — не покорить... Загадка, хотя все мне говорят: брось его, брось эту обузу — середняк, одни претензии, не пробьется... (*Подумав.*) А куда пробиваться, зачем?

Мальчик. В рай...

Кодухова. Евгений, выходи! Нам надо поговорить! Я не могу молчать! Уже кончается жизнь...

Кодухов. Она и вчера кончалась, и завтра будет кончаться.

Кодухова. Нам надо поговорить. Может быть, в последний раз.

Кодухов. Тридцать лет мы говорим. И всегда в последний раз! (*Появляется.*) Да, Евгения! Я записал абзац.

Кодухова. Ну, хорошо, разве я спорю? Побудь со мной немного — не забывай про наш с тобою день. Я скоро уеду... О, какая долгая, какая подлая жизнь. (*Оглядывает стул, на который собирается сесть.*) Где ты взял этот стул?

Кодухов. Принес.

Кодухова. Откуда?

Кодухов. Не хочу терзать твой слух... (*Что-то записывает.*)

Кодухова. Чего уж там... Принес, значит, с помойки.

Кодухов. Может быть.

Кодухова. Писатель, а таскает стулья с помойки. Как ты не понимаешь: люди его выкинули. Вы-ки-ну-ли!

Кодухов. Приличный стул. И клопов нет.

Кодухова (*злорадно*). А согласишься — тебе в этой кандейке не хватает приличной мебели?

Кодухов. Возможно...

Кодухова. Нет! Почему ты об этом думал всю жизнь спокойно, — почему, господи? Нет, ты зарыдай, нет, пусть тебя хватит кондрашка, и тогда я поверю, что в этой комнатке тебе не хватает приличной мебели!

Некуда сесть, некуда лечь, в кухне не на чем чаю выпить, в соли ползают тараканы. Абсурд — в соли тараканы. Даже соль у тебя абсурдная, даже тараканы кретины... Почему они в соли? (*Топает ногами.*) Почему?

Кодухов. Потому что кончился сахар...

Кодухова. Почему же у тебя нет сахара? Я тебя сейчас удушю! Я сейчас брошусь на тебя и удушю вот этими вот руками! И люди скажут спасибо. Потому что я отправлю на тот свет ничтожество, лоботряса, который за всю жизнь не заработал себе даже на приличный стул!

Твои сверстники уже давно люди, уже сыновей вытянули в люди, уже к внукам приглядываются...

Кодухов. Они люди. А я че-ло-век. А это, между прочим, звучит гордо. В школе проходила? Я не сделал никому ни одной подлости...

Кодухова. А мы все, по-твоему, только и делали подлости? Нет! Мы работали, мы всю жизнь работали!

Кодухов. И работайте на здоровье, но оставьте меня в покое! Милые мои, хорошие, работающие люди: оставьте меня в покое! Хотите, на колени упаду? (*Бухается.*) Работайте дальше, но оставьте меня в покое...

Кодухова. Нет, я не оставляю тебя в покое! (*Гневная, взбирается на стул.*) Не имею права! Я суд людской, — я судить тебя пришла! Меня послали совесть и люди! Я хочу спросить у тебя: что ты сделал для семьи, для детей, для меня — любящей женщины, для производства? Какие ты покорил вершины? Кому принес пользу? Никому! Ты жил для себя! Ты червяк! Червяк и все!

Кодухов. Да, червяк и все. Тысячу раз да!

Кодухова. Пусть стыдно тебе будет! Ты покайся: я прожил бессмысленно жизнь, хотя я-то всегда тебе советовала бросить писать, пойти на завод и встать у станка, как все нормальные люди!

Кодухов. Да-да, когда-нибудь я пойду. Я скоро пойду. И начну работать... (*Бегает, потирая руки.*) О, как я начну работать, но дайте мне еще немножечко пописать...

Кодухова. А в свободное время бы писал...

Кодухов (*подумав*). Нет, Евгения, я призван. Я призван к другой службе — и чувствую это. Я должен сказать людям правду о человеке...

Кодухова. Это ты-то человек?

Кодухов. Да, Евгения, к сожалению, я. Именно я человек, и в этом мое несчастье.

Кодухова. И когда это несчастье случилось?

Кодухов. Когда... Когда это случилось с Пушкиным, с Толстым... еще в глубоком детстве...

Кодухова. Это когда тебе на голову упала какая-то железка?

Кодухов. Какая железка?

Кодухова. Ты мне сам рассказывал. Ты играл в песке, поставил на попа раму от кровати, она нечаянно ухнула тебе на голову. Из тебя еще крови — как из барана...

Кодухов. Да, помню... упала...

Кодухова. Как мужчины умеют скрывать свои пороки. Если бы ты мне до свадьбы рассказал про эту железку свою — я бы не пошла за тебя, я бы еще подумала. Трудно быть женой человека... которому в глубоком детстве упала на голову железка...

(*Вдруг подобрел от собственного благородства.*) Нет, я не могу оставить такого человека. В конце концов мы не звери — я не могу оставить на произвол несчастную судьбу... (*Обнимает голову мужа.*) Ну, иди ко мне... Больно было?

Кодухов. Когда?

Кодухова. В глубоком детстве.

Кодухов. Больно было всю жизнь. И сейчас больно... за человека...

Кодухова. И плешь уже большая-большая. Я, когда была девочкой, почтительно смотрела на лысины. Их тогда по телевизору почему-то реже показывали. И все думала: Боже, какие это умные, достойные люди... Как много они думают... Иногда и теперь нет-нет да и покажется так... Ты ведь много думаешь, Евгений?

Кодухов. Много, Женя, много...

Кодухова (*вздыхнув*). Да все о какой-то ерунде, Евгений. Не зря в народе говорят: пусть агроном думает, ему за это платят... Ты бы как-то ближе к жизни, Евгений, к народу... Написал бы рассказ о каком-нибудь жизненном случае... вон женщину у нас обокрали — привезла из Японии три магнитофона... Или про пожар какой-нибудь... Или как убили кого-нибудь... сразу бы напечатали. Прославился бы и пошел, пошел в гору...

Кодухов (*торжественно и печально*). Я пишу историю моей внутренней жизни...

Кодухова. Внутренней... как же ее можно писать, если она внутри? Ну-ну, молчу... Может, я действительно глупая... Но у нас семья, дети... До каких пор они будут писать в анкетах: отец — сторож. Может быть, это их травмирует. И окружающих тоже: атомный век, а тут какой-то сторож — абсурд... Значит, пьяница... или с приветом... Я тебе уже надоела? (Вздохнув.) Иногда смотрю на себя со стороны: противенькая, куриные замашки... Да что же делать? Женщины, наверное, все такие. Жизнь потому что пошла такая... потная...

Кодухов. Да, наверно. У меня сегодня смена.

Кодухова (распаковывает сумку). Я сделаю тебе ужин. И на работу чего-нибудь соберу; завтрак тоже сделаю...

Почему у тебя все время отключен телефон? А вдруг кто-нибудь позвонит?

Кодухов. С грандиозной вестью? Ха-ха.

Кодухова. Женщине хочется быть кроткой, смирной, да не получается. Сильных мужчин нет, больших денег нет: одни неудачи, какая-то повальная бедность кругом. Женщина становится агрессивной, она превращается в добытчицу. И думает: мягкой, интересной, загадочной буду потом, когда-нибудь, когда все устроится. А все рассчитано так, что это как раз на всю жизнь. Так она и умирает: задерганная, замотанная... а в зубах трешка — до аванса перехватила...

Мне в последнее время снится один и тот же сон. Будто я иду. А весна! Дышится легко. Это потому, что ничего кроме крохотки воздуха и клочка солнышка уже как будто бы и не надо. Я такая маленькая, такая зыбкая старушечка, с кулачок... Знаешь, такие бывают... Протягивают кассирше денежку за хлеб, какую-то нищую мелочь, а ручка и головка так и трясутся, так и трясутся...

А на скамейке сидишь ты. Тоже старичок. Потрепанный, голодный. Улыбаешься. И по-прежнему что-то пишешь. Улыбочка беззубая такая, такая жалкая... о, Господи, Господи... Я смотрю и плачу, смотрю и плачу. И не могу окликнуть тебя — блаженного. Страшно, жутко — хочу убежать, а убежать не могу от этой твоей непостижимой улыбки — ноги ватные. Так и стою, как вкопанная: смотрю и плачу. И думаю: а ведь жизнь уже кончилась. И голова кружится, кружится; и даже рукой невозможно пошевелить... и ничего уже не сделать... ну ничего...

Кодухов. Когда ты такая — жалуешься, плачешь, — вдруг становишься прекрасной, беспомощной... Я даже люблю тебя в такие минуты... Тебя украшают слезы, Женя... Ты так мало в этой жизни плакала. Ты всю жизнь завидовала и работала...

Тебе трудно теперь. Муж не любит, дети презирают, ты постарела, расквасилась: в «люди» не выбилась, гарнитура за двадцать тысяч у тебя нет, нет дачи, нет машины, — а все те же жалкие копейки...

Но мне не жалко тебя. Жалко бывает человека умного, благородного, у которого не получилось что-то высокое. А ты... копни тебя — и полетят все то же: деньги, нужда, люди скажут, люди не скажут...

Кодухова. И все-таки хочется жить хорошо, Женя — хочется!  
Кодухов (*широко*). Конечно! Ну так и живите! Только не делайте подлостей другим. Хорошо и честно работайте, отдыхайте по выходным дням: просыпайтесь, потягивайтесь, зевайте, кушайте, выходите вечером гулять в модных и немодных штанах, мечтайте при луне или просто плюйте друг другу в рожи, ходите, взявшись за руки, говорите стихами и прозой...

Мальчик (*Человеку с гробом*). Значит, умер...

Человек с гробом. Умер.

Мальчик. И зарплата была? И семья? И дети?

Человек с гробом. Все было. Не нервируй меня. Я хозяин гроба, одиночный! (*Отодвигается с гробом.*)

Мальчик. Ну и хорошо. Я что — против? Зажгите свечу.

Человек с гробом. Сам знаю. Дай сосредоточиться. (*Сосредотачивается.*)

Мальчик. За отпевание платили? За гроб? За могилку? Может, и не умирал бы — дешевле... Ему-то чего: взял да умер, а тут...

Человек с гробом. Нет, умер! Умер и навсегда умер. (*Пытается все зажечь свечу, свеча не горит.*) Халтура, черт побери!

Мальчик. В ней просто нет фитиля...

Человек с гробом. А где же фитиль? (*Уходит за новой свечой.*)

Мальчик. Нету. Украли. Унесли. Продали. Выпили. Закусили. Блеванули.

Кодухова. Как же можно жить так, Евгений?

Кодухов. Я же хорошо живу.

Кодухова. Ты? Хорошо? Ты блаженный. Такие, как ты, не в счет.

Кодухов. А кто в счет?

Кодухова. Такие, как мы — ну, нормальные... простые смертные... А от таких, как ты, даже вред всем. Ты бы всем посоветовал таскать стулья с помойки. А гарнитуры, между прочим, на помойках не валяются... По-твоему получается, что и экономику не надо улучшать, и товаров не надо хороших выпускать — ничего не надо советскому человеку, кроме солнца, воздуха и воды!

Кодухов. Советскому человеку, Женя, нужно все!



Кодухова. Вот ты, между прочим, от этом и пиши. Про то, как мало хороших товаров и как страдают от этого люди.

Кодухов. Хороших, хороших... А куда ж плохие девать? (*Кричит.*) Не хочу!

Кодухова (*в своей тарелке*). А потому ты не хочешь, Евгений, что гад ты есть — по-русски я скажу! Страданий народных не замечаешь! Правильно в редакции тебе говорят, что ты идейно незрелый. Таким, как ты, не следует браться за стило... Ни себе, ни людям!

Кодухов. Боже! (*Снова закрывается в ванной, злорадно.*) Хороший товар и дурак любит, а полюби-ка плохой, дорогая!

Кодухова (*стучит в дверь*). Не пиши! Не пиши! Тебе все умные люди сказали — не пиши! И Толстой говорил: не можешь писать — не пиши. Проходил в школе? (*Грозно и возвышенно.*) Нет, ты не будешь писать, Евгений! Пока я жива!

Кодухов. Нет, я буду писать, Евгения! Именно потому, что ты и такие, как ты, еще живы, я должен написать эту чудовищную книгу!

Кодухова (*после паузы, она сломлена*). Евгений, нам надо поговорить...

Кодухов. Не будем. Жизнь уже на исходе. Ничего не поправить.

Кодухова. Ты не можешь видеть мое лицо?

Кодухов (*злорадно*). Да, только лицо.

Кодухова. С тобою тяжело говорить... Ну, хорошо, я плохая, недалекая, — только что из этого? Я понять хочу... Я, может, всю жизнь это понять хотела...

Кодухов. Зачем? Наши жизни прожиты. Ни ты, ни я ничего не добились и теперь хотим прилепиться друг к другу, хотим простить друг другу одну крохотную ошибку — жизнь. А это не прощается, как ты не понимаешь!

Кодухова. Я все поняла! Я всю жизнь, оказывается, любила тебя. И сегодня пришла сообщить — ты победил! Я до сих пор люблю тебя, как заморскую птицу, — слышишь, ты победил!

Кодухов (*выбегает*). Мне не нужна эта победа! Не трогай мое сердце. Я хочу покоя — не лезь ко мне. Я один, один, один — как вы все этого не понимаете! И всегда был один и ни у кого ни в чем не просил пощады: кряхтел, кашлял, задыхался, корчился — но ни слова никому, ни звука!

Я привык к этому, привык любить несуществующее: места, куда не долетала ваша жлобская брань. Я писал о саде, о ветре, — кроме чашки крепкого чая и сигарет мне ничего не нужно было из ваших магазинов!

И теперь — я победил!

Иди проспись, мое сердце не продается. Оно у меня чистое, хотя и матерится: в нем сад, роса, небо и моя грусть. Но нет домов, магазинов, аптек и ваших рож...

И ваши жалкие подачки мне не нужны. Я не обворованный, вы ошибаетесь все! Меня не надо жалеть!

Я ведь все знал.

Знал, что наши детдомовские кухарки воровали продукты. Воровала кастелянша. Бухгалтер. Директор. Сверстники. Видел. Старался не обращать внимания. Какое-то серое варево, которое называлось обедом или ужином. Желтый застиранный лоскут — простыней. Поносного цвета стены в коридорах — «цвет слоновой кости». Крал завхоз и продавал...

Берите, тащите, пожалуйста — но не жалейте меня, я не обворованный! У меня много штанов, много кусков хлеба, много простыней. Берите, но только скажите однажды: у нас теперь много штанов, много кусков хлеба, много простыней и нам хватит теперь; мы больше не будем воровать, не будем хихикать...

Я и сейчас мечтаю стать знаменитым писателем, получить много денег, купить много-много кусков хлеба, простыней, красок — и поехать в этот заштатный городок. Я привезу с собой еще и большой, зеленый сад, и немного неба. Пусть они возьмут простыни и хлеб. А я скажу: возьмите немножко и зеленого сада. Посмотрите, какой он чудесный! Какой он мокрый. Как он пахнет! Шелестит! Какой он странный, безумный, большой! Как он ошеломляет, как он возвышает!..

И еще возьмите немножко неба, ну хоть самую чуточку. Этой крохотки вам хватит на всю жизнь. Возьмите, мне не жалко: искупайте в нем глаза, волосы, руки и вам больше никогда-никогда не захочется так много хлеба, простыней и штанов...

*(После паузы.)* Ничего я этого не хочу... *(Бормочет.)* Не хочу, не хочу...

Кодухова. Женя, а может, я во всем виновата? Сгубила твой талант, замухрыжила его в суете, а?

Молчишь... Это заговор молчания. Ты — молчишь. Дети молчат. Играют со мной в искренность, подыгрывают, но хотят от меня денег и только денег. Алене на кооператив. Вадику на кооператив.

*(Кричит.)* А у меня нет денег, нет!

Я не ломовая лошадь. Я не мать-одиночка! Я хочу, чтобы на меня посмотрели по-человечески, бескорыстно... я не могу больше так... скажите мне человеческое слово... ну хоть одно.

Кодухов. Ну почему я должен тебя слушать? Оставьте меня в покое! У меня нет денег! И мебели нет! Даже двух стульев нет, чтобы отнять один: нету, один у меня стул!

Кодухова. Вслушай меня, ты благородный человек, ты интеллигент, наконец...

Кодухов. Когда на человека хотят взвалить чего-нибудь, обязательно припоминают, что он интеллигент и благородный человек. Его удел — питаться чужим дерьмом. Не хочу!  
(*Помолчав.*) Иди, приготовь чего хотела...

Кодухова. Да-да, я помню, сейчас... Если бы ты знал, какое это тяжелое чувство: ты никому, оказывается, не нужна. Умру, дети мебель продадут, фотографии с моей нелепой рожой выбросят — и все. И ничего от меня не останется...

Два урода: тебе-то не лучше в жизни. Я одинокая, а ты злой, навсегда обиженный... поэтому и не добился ничего. А я так и не научила тебя любить людей, хотя бы маленечко. Тебе бы легче было... талант бы твой получился, понимаешь? Потому что любовь — это все... А ты ненавидел. Они украли у тебя все... А я не научила. Я сама была и останусь такой же воровкой, как они... как все... Мы оставили тебе в жизни только желчь и месть... (*Смеется горько.*)

Кодухов (*растерян*). Ну, что ты... Я сам во многом виноват... Я, может, и не талант никакой... Значит, так и надо... Но не будем об этом. Я все забыл. Я хочу только любить и думать о хорошем.

Какая ты хорошая, когда плачешь...

Кодухова (*на полпути в кухню*). Любить? Какое странное это слово — любовь... (*Вслушивается.*)

Мальчик (*вслед*). Сначала целуются. Потом ложатся в постель. И трясутся. И титьки тоже трясутся.

Кодухова (*вспылив*). Врешь! Никогда не тряслась!

Мальчик. Тряслась! Тряслась!

Кодухов (*жене*). Иди, иди...

Человек с гробом (*чиркает*). Не горят...

Мальчик. Бывает. У них головка только с левой стороны. Правую сэкономили... (*Бросает ему свои спички.*)

Человек с гробом. Не учи меня! (*Свеча снова не горит.*) Тут какой-то сквозняк пронзительный...

Мальчик. Дыра в потолке. Ну и сквозит... Надо звать людей...

Человек с гробом (*гордо и нервно*). Не учи меня! (*Уходит.*) Ау! Эге! (*Возвращается с Человеком.*) Хочется мне взять тебя за голову и долго, с наслаждением бить ею об пол, об пол...

Дыра — видишь?

Человек. Вижу — не слепой. Но кажется мне, что дыра уже была..

Человек с гробом. Конечно, была. Не я же ее сделал.

Человек. Если была, то и не я. Вернее, не наша организация.

Человек с гробом. Ну?

Человек. Что «ну»? Если не мы, то почему мы должны ее заделывать?

Человек с гробом. А кто должен?

Человек *(с блокнотом)*. Вот телефончик, звоните почаще, узнавайте... Там у них есть человек специальный, которого можно долго и об пол...

Человек с гробом *(задумчив)*. Он жил, а потом умер.

Мальчик. Он хорошо жил, а уже потом умер,— не надо забывать... *(Подходит.)* Все будем там, спи спокойно, вонючка. Мы придем к тебе — только свистнет наш час... *(Будто бы утирает слезы, но видно, что паясничает.)*

Человек с гробом. Оставьте гроб и его! Я хозяин гроба и его!

Мальчик. Имярек! Вздрогни — в вечность уходишь. Вместо тебя уже другие народились: давай, пошевеливайся. *(К Человеку с гробом.)* Только что-то не торопится он. *(Садится на место, ему надоело трепаться.)*

Кодухов. Как тебе все эти годы жилось?

Мальчик *(пожав плечами)*. Я шел. Дай, пожалуйста, это одеяло... *(Укутывается.)*

Я видел много-много окон в детдомовском нашем городке. Они маленькие, цветные, как леденцы; сосешь и сосешь...

Я шел, я узнал, что такое зима, что такое ночь, что такое ветер и вечность. Ветер дует, вылизывает ночь, и она блестит, как промытое стекло. Поэтому звезды ночью кажутся совсем близкими, они полыхают яростно, и трудно дышать...

Кодухов. Я прилягу, а ты садись рядышком, у изголовья. И говори...

Мальчик. Хорошо.

Кодухов. Положи, если не трудно, мне руки на лицо. Я часто вспоминаю твои руки...

Мальчик. У тебя есть сын... Сколько ему лет?

Кодухов. Столько-то. От них не пахнет ни пищей, ни потом. От них пахнет прохладой.

Мальчик. Идеалист. А никотином?

Кодухов. Как там поживает наш детдом?

Мальчик. Зачем тебе? Ты ведь все равно вспоминаешь с отвращением... Ты неудачно женился?

Кодухов. Наверно, это так называется. И вообще, со мною в жизни ничего не произошло. Когда я уходил из детдома, я думал, что жизнь будет интереснее: будет больше врагов и, значит, больше побед...

Врагов не оказалось, кругом одни друзья, и ничего не случилось: пропах едой, обрызг, заплешивел... *(Трогает волосы мальчика.)* Были кудри...

Мальчик. У тебя завелись вши, разве не помнишь? Тебя остригли.

Кодухов. Стригли в изоляторе. Потом мазали какой-то вонючей водой тело — боялись еще и чесотки...

Мальчик. Чесотка все равно была. Это было как раз той зимой, когда ты убежал из детдома. Нам вдруг жутко показалось, что где-то на свете должна быть она...

Правда, мы тогда не знали, что, собственно, скажем ей, когда найдем ее.

Кодухов. Мне и теперь так кажется, особенно в последние годы. Мы бы впустили ее в дом, мы бы простили ей все.

Мальчик. Красиво мечтаешь. Ее нет. Ее уже нет на свете. И, наверное, давно. Потому что ты сам уже в таком возрасте, когда скоро не станет и тебя...

Кодухов. Ты озяб. Дай подую на руки. Ты какие сигареты куришь?

Мальчик. Ты все позабыл... Окурки. У них разные названия. Красивые: «Джебл», «Трезор»...

Кодухов. Нам не хватило ее в жизни. Она придет в белом платье. Когда я ушел от тебя, я тоже долго брел. И никогда никому не жаловался. Я давил свой жалкий голос, чтобы жлобы не жалели меня своей жлобской жалостью.

Но я выдохся. Я ничего не нашел в одиночестве, ничего не нашел в гордости. Хотя иногда казалось, что я спасу себя, буду оправдан: вот последнее лето, последняя зима, последний годочек, последний вскрик, последнее-последнее — и до людей, наконец, дойдет все, что меня мучило в жизни... Но я не стал писателем, а по-другому разговаривать с миром я не могу, не умею.

Но теперь я хочу пожаловаться. Один-единственный раз в жизни. И она придет послушать. Она положит, как ты, ладони на мое лицо. Они будут прохладные, как у тебя. Они будут легче твоих. От них не будет пахнуть никотином. Будет пахнуть летом и цветами.

Она спросит: как ты жил все эти годы?

А я ничего не отвечу. Она все поймет. Мы помолчим. Потом я скажу: я скучал без тебя, мама. Скучал, не более того, — ведь не могу же я в такие-то годы взять и расплакаться. Да, скучал всего лишь. Как будто она вышла из дому прогуляться, подышать свежим воздухом, а прогулка затянулась на много-много лет, на всю нашу бедолажную жизнь. Но я ничего — пел песенки, болтал ногой, поглядывал в окно, за которым летела жизнь, кушал пирожное, запивал газировочкой...

Мальчик. Она не придет.

Кодухов. Ты озяб от собственного цинизма. Где у тебя шапка?

Мальчик. Ты позабыл: украли... И все эти годы ты никого не любил?

Кодухов. Все эти годы я любил только тебя. Я один во всем мире знал, что ты бредешь, заглядывая в окна, что у тебя стынут руки... И если иногда на твоих холодных щеках таяли снежинки — это была моя любовь. Я любил, я верил, что мы с тобой за все отомстим. Я ошибался. Мстить некому, хочется все простить и просто вздохнуть над судьбой...

Человек с гробом. А что — у мальчика вши?

Кодухов. Были.

Человек с гробом. Это что — ваш мальчик?

Кодухов. Мой старинный друг.

Человек с гробом. Какой-то пронзительный... Мальчик, а мальчик, как тебя зовут?

Мальчик. Мальчик.

Человек с гробом. Да-да, именно... Что-то глупый я сегодня.

Мальчик (*иронично, зло*). Она придет в белом платье...

Кодухов. Да, придет. Она ведь чувствует — мы устали. Ты замерз. Я постарел. А вместе мы — проиграли, слышишь. Нельзя ненавидеть, надо любить, надо любить вопреки всему, надо прощать, верить, мечтать и не лгать своему доброму сердцу. Оно у нас такое большое, такое праздничное, такое взволнованное...

Мальчик (*постепенно впадает в отчаяние*). Она украла у тебя все! То, что потом всю жизнь воровали у тебя, — в детдоме, в ПТУ, где ты обрел профессию нелепого слесаря, в армии, в рабочих общагах — во всем виновата она! Она первая украла у тебя, она первая воровка! Она украла — и всю жизнь смеялась над тобой с теми хахалями, с которыми потом нюхалась, как случайно однажды снюхалась с твоим случайным отцом, — эта тварь!

Кодухов. Не говори так. Это и твоя мать. И твой отец. Это наши мать и отец.

Мальчик. Ты брошенный, как ты этого не можешь понять! Брошенный, ненужный — легкая досада проститутки!

Кодухов. Она придет. В последнем белом платье. И тихо спросит: как тебе жилось все эти годы, мальчик мой? А я скажу: ничего жилось все эти годы, терпимо жилось, сносно жилось все эти годы, мама. Проходи, дай я помогу тебе снять это нищенское платье. Обсуши его — я знаю, это единственное, что у тебя осталось. У тебя ведь в конце жизни украли все-все...

Как долго мотало тебя по свету, мама. Ты осталась одна, совсем одна и вот пришла в мой дом. Проходи. Если хочешь — расскажи про свои долгие-долгие годы. А не хочешь — помол-

чи. Просто посидим. Я расчешу тебе волосы, они ужасно слиплись: ведь на улице дождь, уже много-много дней на улице дождь и дует промозглый ветер, мама...

Мальчик (*исступленно*). Она не придет! Она не придет никогда! Она умерла, ее давным-давно нет на свете!

(*Прокуренно кашляет — о, как пронзительно он кашляет.*)

У нее по лицу ползают черви! Ее некому было похоронить — в наказание! Не зажигалась свеча — украли парафин, украли селитру! Не на чем было везти — украли машину! И продали. Нечем было платить за хлопоты — деньги украли и пропили. И тапочки украли, и платье! Золотые кольца вырвали в морге ханурики, вместе с пальцами; зубы — вместе с деснами! Потом ее шарахнули в самосвал, прикрыли лицо какой-то заблеванной тряпочкой, кто-то дал на портвешок и какие-то другие ханурики, ночью, под звездами, отвезли куда-то за город, к каким-то кучам, где протекал ржавый, вонючий ручей — налили стакашок бульдозеристу...

И он задвинул ее в кучи. И нет ее — и искать никто не будет! (*Горько плачет.*) Понимаешь, никто, никогда, ни по какой причине!

Кодухов. Ну-ну, успокойся, мой маленький... Она придет к нам. Дай погрею твои руки. Она не может не прийти, прежде чем умереть. Она уже идет, она тяжело ступает, она устала. Ей нечего поесть, негде прилечь, негде согреть старые, морщинистые руки... У нее одна надежда — мы.

Человек с гробом (*опять пытается зажечь свечу*). Не горит... (*С глухой угрозой.*) Вставай, слышишь! Живи дальше — вставай и живи... Нет сил, и времени нет с тобой возиться... (*Отчаянно пинает гроб.*) Вставай! Вставай!

*Встает старая Женщина в грязном потрепанном белом платье.*

Мальчик (*потрясенно*). Мама!

Кодухов. Мама... мама...

Женщина. Я все-все позабыла... Я ничего не помню...

Кодухов. Мама, обернись... Иди в мой дом. Ты озябла. Иди — в моем доме тепло и сухо. Есть хлеб.

Женщина (*задумчивая рука у виска*). Я все забыла... (*Ежится.*)

Мальчик (*пристально всматривается*). У тебя нет колец, мама.

И мочки в крови. (*Кричит.*) Это ханурики! Это бульдозерист!

Женщина. Нет, просто случайно покорябалась... Ну, как вы, мальчики мои? (*Целует детей.*) Ты закурился, Женька, и совсем-совсем простыл... А ты, Евгений, сколько ночей не спал? Сколько кофе выпил? Как у тебя с женой? Как дети?

Кодухов. Ничего. Мы сносно жили. Не в обиде... (*Целует руки.*) А руки у тебя совсем старые...

Мальчик. Они у тебя в крови, мама. И кожа содрана!

Женщина. Случайно... Покорябалась...

Мальчик. Ханурики! Эй вы, ханурики, слышите: ханурики!

Женщина. Все книги, книги, книги... Ты нашел чего-нибудь в книгах?

Кодухов. Не знаю. Кажется, я был счастлив. В общем-то, счастлив.

Женщина. Я шла и все думала что-то у вас спросить... А вот что — забыла... Забыла, забыла... Чего-то я не поняла в этой жизни... А вы жили и жили себе. Много чего вам не хватило — но вы остались молчаливы, благородны, как настоящие мужчины. (*Подумав.*) Так ли я говорю, Евгений, то ли?

Кодухов. А ты... ты много чего видела, мама?

Женщина. Да, дети. Много-много. Ужасно много. И много слышала. И много поняла...

Но что-то я хотела спросить, последнее-последнее...

Мальчик. Ты вспомни. Мы ответим на все твои вопросы... Давай я вытру здесь кровь... (*Вытирает.*) Ханурики... Было больно, мама?

Женщина. Может быть, но ведь я ничего уже не чувствовала — я была мертвой...

(*Беспокойно озирается.*) Я всего на минуточку. Я грешна, дети. Это не прощается. Боюсь даже касаться вас — вы такие чистые, возвышенные, мужественные...

Мальчик. Ничего, мама, это прощается. Ведь ты пришла.

Женщина. Женька, Женька... (*Слабо тормозит, вяло, неумело целует.*) Ну вот, я пошла... Не грустите, чистые мои...

Кодухов. Куда ты, мама... Мы тебя так долго ждали. Согрейся хоть чуть-чуть...

Мальчик. Все прощается, мама — вернись, ну, вернись, пожалуйста... Там ханурики!

Женщина (*медленно уходит*). Не надо, не надо... (*Озирается.*) Стол, стул... (*Натыкается на этажерку, как слепая.*) Как много барахла, как много дряни...

Мальчик. Мама, это прощается, — ты слышишь?

Кодухов. Она уже не ответит. Она уже не слышит.

Мальчик. Мама, ответь что-нибудь, — ты слышишь?

Женщина (*голос ее далеко, в этом голосе страшная, безнадежная неизъяснимость*). Стол, стул, этажерка... Я все-все запомню: стол-стул-стол-стул... Сами все узнаете... Про все на свете... Узнаете и поймете... Поймете и узнаете... Все сами... А тут ветер! Какой тут ветер, мальчики мои, мальчики... (*Вдруг вскрикивает: громко, резко.*) Помогите мне! (*И голос ее все тише и тише.*) Помогите мне... мне...



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Катя Панфилова, 18—20 лет, студентка, вычурно одета: кожаные потертые штаны, митенки, два игрушечных автомата на шее, магнитофон, настоящий бинокль, за поясом красные игрушечные гранаты.

Сонька  
Машка } ее подруги, девушки в том же духе.

Ирина Панфилова, 28 лет.

Пивоваров Александр, въезжающий в коммуналку сосед.

Володя Панфилов, брат Ирины и Кати.

Оля, его жена.

Селектор, говорит громко на протяжении всей пьесы.

Бабка-общественница, пытается ему подчиняться.

Действие происходит в коммунальной квартире, в течение одного вечера — субботнего или воскресного.

*Сестры Ирина и Катя Панфиловы у стола. За столом Пивоваров Александр, пьет чай, смотрит телевизор. Телевизор работает бесшумно. Стол накрыт небрежно и скудно.*

Катя. Я замечаю, ты становишься странной. Сидишь по утрам в постели: какая-то задумчивая, отрешенная... Хочешь, я спрошу: куда уходит душа твоя, сестра?

*(Смотрит в бинокль.)* Не буду. И ты, и я знаем; зачем произносить вслух? А уже осень, скоро зима. У тебя нелепая шуба из искусственного меха. Блестит как стеклянная, как стекловата. А на воротнике красный пластмассовый цветок. Он никак не называется. Нет, прости, он называется. В этикетке было: «Красный прекрасный цветок, 16 коп.» Они его забыли поодеколонить, эти сволочи на фабрике. У них же есть одеколоны — «Сирень», «Красный цветок». Вот бы и поодеколонили «Красным цветком»...

*(Плачет.)* Ирина, ведь это ужасно все: неужели ты не понимаешь. Эта шуба, этот цветок, эта «менингитка» — их не носят теперь даже старушки...

Ирина. Давай не будем об этом, все это пустяки... *(Тихонько смеется.)* Вот придет дяденька — мы ему все-все расскажем.

Катя *(с удовольствием пускается фантазировать)*. Мы ему скажем: у нас два года назад умерла мама. Женщина расseyнная, беспечная. Скажем: в квартире холодно, слесарь вымер еще прошлой зимой. А он скажет: зачем же слесарь, если в дому

вашем везде щели, везде дует. Надо самим собраться, поработать, везде все заткнуть...

А мы скажем: в том-то и дело, трудно собраться, трудно подняться — а в общем, ничего мы живем, терпимо, нас греет ярость. Стараемся переносить холод: включаем газ, включаем духовку, корчимся, пляшем на полу по утрам, когда бежим на кухню, когда копошимся со спичками: спички ломаются, руки дрожат. Но — включаем. Также нас греет крепкий чай или кофе с полочки. И еще сигареточки...

Что — у нас даже конфет нет? Похоже на абсурд.

Какая-то тягучесть, назойливость... Кажется, вот-вот все это кончится, наконец.

Ирина (*оживленно ходит, тихонько смеется*). Что — «все это»? Где оно «все это»? Оно величиной с этот дом, с этот город, с эту жизнь...

Катя. В институте нормальная, простецкая жизнь. Воображаю, как ему надоели мои глаза. Он давно приметил меня и следит за мной. Как его корезит мой взгляд: угрюмый, исподлобья...

Ирина. Мама, кажется, что-то советовала: тебе? мне?

Катя. Тебе кажется. Она никогда ничего не советовала, наша мама, она была женщиной созерцательной, теперь таких женщин уже не бывает... Было как-то ясно, что мы не нуждаемся в советах; было как-то ясно, что мы все-все знаем сами.

Ирина. Может быть. Я стала забывать какие-то вещи. С тех пор на нашей даче упало и укатилось много тополиных яблок.

Катя. Она роскошно умерла. Ты должна помнить: у нее никогда не было никаких планов, никогда она не считала себя умнее нас. Она курила, тихонько жила, сама в себе... Спокойно и, кажется, радостно отошла туда. Ничего не сказала, только прошептала: сами все поймете, сами все почувствуете...

Ирина. Придет Володя и даст пятьсот рублей. Уедешь в Прибалтику, отдохнешь. Ты устала от самой себя: Бога ради, отдохни... Ты такая бесполезная, жалкая...

Лезет в голову всякая чепуха... (*Пожав плечами.*) День рождения, сегодняшний вечер пахнет цветами и чем-то несбыточным... Катюша, с тобою тяжело, честное слово. Ты давишь. Ты сама это чувствуешь? Ты неправильно живешь и это высушивает душу, незаметно, изо дня в день, и наконец ничего-ничегошеньки не останется в жизни однажды: она пройдет, пролетит, а ты так ничего и не поймешь...

Селектор. Из чердачного помещения люди начинают организованно перемещаться в подвальное помещение. От бочек люди организованно перемещаются к бачкам! Поддерживать связь! (*Звучит впремежку музыка, аплодисменты, хор, — как буд-*

*то бы кто-то настраивает приемник.)* Организовать пункты информации и приема пищи! Дружнее и веселее выходить!

Катя. Как странно, как высоко бродим мы, сестра моя, прекрасная сестра моя! Воздух пронзительный, чистый... Зябнут руки, некого окликнуть, только ты да я. Я говорю: ты еще здесь, Ириша; ты шепчешь в ответ: я еще здесь.

Там, внизу, в долине — костер, ветер доносит запахи еды, ноздри вслушиваются, а ноги несут и несут дальше...

Ирина. Ну, что ты... Потом об этом, потом... Когда-нибудь... Завтра.

Катя. Да. Потом. Да, завтра. И много-много раз, но завтра. Ну, конечно, завтра.

Пивоваров. Может, вы думаете, что я... ну, типа как... претендовать буду на квартиру? По новому положению могу, но только если съедете... ну, типа как выйдете замуж...

Катя. Замуж. Взамуж. Взамужество. Да только нет мужества. У вас, Саша, двое детей?

Пивоваров. Двое.

Катя. Это хорошо.

Пивоваров. Жена у меня скромная, умная. Только вот холодильник ваш придется потеснить. Вы как раз за счет холодильника занимаете больше половины кухни: уж давайте поровну... Может, в комнату возьмете его? Если у самой двери — то не слышно как гудит. Гремучие вещи на него не надо ставить — чтобы не дребезжало, когда он включается...

Катя. Да у нас все вещи дремучие, только сами новехонькие — как пятаки...

Пивоваров (*суетится*). Вот, таракашку поймал... Сейчас ему лапки оторву, пусть на брюхе ползает. У меня привычка такая. Гремучие, я говорю, а не дремучие...

Ирина. Да, конечно, и думать нечего.

Катя. Даже если и слышно — мы потерпим, ничего. Можно и на балкон.

Пивоваров (*увлечен телевизором*). Отдай Штирлица, тварь!.. В смысле — как на балкон?

Катя. Там дремучего нет ничего. Только воздух... Ах, я забыла, у нас же нет балкона.

Пивоваров. Придется уж. (*Удовлетворен*). А говорят все москвичи такие разочарованные, такие непростые все...

Катя. А вы, Саша, слышите иногда по ночам ветер? Он такой мстительный: он мстит, мстит и мстит... И те, кому он мстит, должны плакать и бежать по ледяной дороге...

Пивоваров. У нас в Алтайском крае сколько хочешь ветра... У нас в Алтайском крае Шукшин родился.

Катя. Кто родился?

Пивоваров. Шукшин.

Катя. А зачем он там родился?.. И он дует и дует?

Пивоваров (*с некоторой обидой*). А цветочки мои вы... типа как... поставьте в вазу — это подарочек мой все-таки. И для украшения стола; приятнее же со цветочками.

Конечно, если он ветер — как же ему не дуть? (*О таракане.*)

Усами, гад, шевелит... (*Помещает его в спичечный коробок.*)

Сиди здесь, фашист...

Если голова чешется — надо массаж делать, понимаете...

Снимать магнитное поле... Оно по всему телу уйдет.

Катя. И вышибает окна, двери, и сметает все, и все бегут и плачут? И от холода стучат ногами?

Пивоваров. У человека в голове, понимаете, магнитное поле есть... Нет, таких сильных не бывает. Это ураган.

Катя. Вот-вот, я как раз об урагане говорю.

Пивоваров. Не пойму я чего-то...

Катя. В смысле — случаются ли?

Пивоваров. Может, где и случаются, но у нас не бывает.

Катя. Значит, тихо-мирно там у вас?

Пивоваров (*коробок у уха*). В смысле — как? Почему же? Бывает и сажают. Теперь много сажают. У меня в Бийске блат был — по колбасе. Приезжаю в позапрошлом году: дай-ка мне, тетка Шурка, колбасы какой-нибудь интересной или просто мяса. А она уборщицей в магазине этом работает. Пока, говорит, не могу, Шурик — пересажали всех, новое начальство. В прошлом году приезжаю: дай, говорю, чего-нибудь интересенького. Не могу, говорит, опять всех пересажали, новые люди в коллектив пришли. В этом году приезжаю в отпуск — дай, говорю, Христа ради, чего-нибудь. Не может — опять посадили, опять новые люди...

Катя. Из бессмертия наши советские люди берутся. (*Грызет морковь.*) Простите, Саша, но вы питаетесь самым натуральным дерьмом. Увлекайтесь сыродением.

Пивоваров. А жена у меня с высшим образованием. Так что будет вам... ну, типа того... с кем общаться. Мы в Москве пять лет. Прописку получили, теперь вот комнату. Я кожаное пальто куплю, румынское.

Катя. Здорово!

Пивоваров. За деньгами не встанем. У нас и на кооператив наскребется.

Катя. А в Москве колбасы много... Крыс тоже...

Пивоваров. Но на родине тоже хочется взять, резонно я говорю? Смотрите, притих...

Катя. И мы пойдем, что жили предощущением чего-то...

Ирина. Может быть... Но не надо об этом. Наконец, вечер. И всякое такое, наконец... Мы помолчим, Катюша, просто помолчим и все, правда?

Катя. Я поеду на море в октябре. Когда оно уже будет прощаться. Оно уже холодное. Ты тепло одета. Стоишь и смотришь. Ветер рвет плащ. Под сухой одеждой, под сухой кожей бежит горячая кровь, бежит куда-то далеко.

*Появляются Оля и Володя.*

Ирина. Мы вас ждали.

Володя. Ну как мы могли позабыть, дорогая сестричка. Я не понимаю, когда говорят: кто помнит — тот и придет, или открытку пришлет... *(Дарит сестре цветы и что-то в коробочке.)* Двадцать восемь лет — это даже возрастом не называется, все впереди...

Оля *(ходит по комнате)*. У вас по-прежнему как-то кургузо... Нет, ну можно же было купить чего-нибудь существенного, хотя бы к столу, или это хамский вопрос? По крайней мере, я не ханжа.

Ирина. Мы никого не ждали, Олечка, кроме вас с Володей...

Оля. А мы — уже не люди? И бросьте, девочки, все ждут. Чего-нибудь, кого-нибудь. И всегда. Не бывает не ждущих людей... *(Целуется с Ириной.)* Поздравляю... Девочки, признавайтесь — мечтали сегодня выпить чего-нибудь хорошенького, вкусенького, а? Володя — Акопян! *(Володя по ее знаку как-то оригинально достает две дорогие фигурные бутылки.)* Между прочим, на честные трудовые денежки...

Володя. Оля сегодня разбила копилку. Поросеночка, такого розовенького, помните?..

Катя. Это модно.

Оля. Я же знаю, какие вы чистоплюи... Так что будем пить честное вино и кушать честные конфеты...

Ирина. Знакомьтесь — Саша Пивоваров. Он въезжает в Катину комнату, а Катя теперь будет жить в маминой...

Оля. Буфетчица в ресторане. В центре.

Пивоваров. Очень приятно.

Оля. Охотно верю. *(Продолжает ходить.)* Девочки-девочки... Неужели вам не хочется чего-нибудь такого... этакого-раз-этакого... чтобы титьки трещали... любви... фужеров... какой-то дикой музыки в шикарном дизайне... а? Как у вас тут убого, допотопно, библиотечно как-то...

Катя. Это стиль ретро. Модно. Хай ду ду!

Оля. Хе-хе, лапоньки... Я понимаю — ретро, когда деньги некуда девать. Тогда это на месте. А у вас от скромности, ха-ха.

Пивоваров. Затарахтел. Люблю их, гадов, мучить.

Оля (*разговаривает с Катей как-то косвенно*). Мы не пойдем друг друга, дорогая. Просто от души не люблю старое. Пыль и клопы. А может, и мыши. Я люблю чистоту и полировку.

Катя. Полировка не модно. Ничего, что я пялю глаза? Я люблю их выпяливать.

Володя (*он тоже как-то косвенно разговаривает с ней*). Ты все такая же ершистая, сестрица... (*Хлопочет с вином.*) Все такая же оригинальная или что-то близко около этого — извини, я в этом не разбираюсь... А зачем у тебя такой миниатюрный комсомольский значок? (*Пожав плечами.*) С булавочную головку, даже меньше...

Катя. Модно. Сорок рэ в Малаховке. Наконец, я комсомолка или нет? А ты теперь коротко стрижешься, братец. У тебя виден затылок. Вот когда поворачиваешься спиной — тогда и виден. А когда лицом — уши. Значит, если спиной — затылок, если лицом — уши...

Володя. Ну и что?

Катя. Ничего. Просто. Я бы рыдала от горя.

Пивоваров (*обицательно*). Все хорошо, все нормальненько...

У меня жена тоже с высшим образованием. Вечерами мы едим курочку, как евреи, а по утрам пьем кофе...

Оля (*ходит*). Нет, хочется. Только одни об этом говорят прямо, другие скрывают, а третьи — еще ничего в этой жизни не поняли. Зачем человеку жить убого, во имя чего? Ладно, если он там какой-нибудь композитор или писатель, с внутренним миром, как говорят... А человеку среднему, таким, как мы — нельзя. И без того бедные... (*Пальцами определяет на мебели пыль.*) Пыль, я так и знала. Ну разве можно так жить? Ирина, ты почему такая скучная, отсела...

Ирина. Я тут посижу, посмотрю в окно.

Оля (*резонно*). Но что же можно увидеть, если темно?

Ирина. Ну, огни, тени... Ты на нас, пожалуйста, не обижайся.

Володя. Но вина, по крайней мере, я тебе налью.

Оля. Все правильно, все на местах. Нас ничего не связывает, кажется: ни совместное убийство, ни крупная кража... Все свободны, как рыбы в море, всех ждет уготовленное, вплоть до преждевременной смерти.

Но тем не менее. (*С ухмылкой.*) Будучи, как говорится, абсолютно свободными в абсолютно свободном, цивилизованном мире, давайте хотя бы на минуту протянем друг другу руки... и вспомним детство, вспомним юность, боевых товарищей, помечтаем, а? Только о чем мечтать? Все воплотилось или не воплотится уже никогда. Все уже ясно.

Катя. Но чего ты-то ждала?

Оля. Плохо вы обо мне думаете, девочки. И всегда плохо думали.

А я просто рано поняла о себе: средненькая, средненькой красоты, задрипанная, без маменек-папенек... только на себя рассчитывать! Не стала распускать сопли. Никто ничего не даст — никто, никогда, ничего. Сама хапай! Тебя по спине, по рукам. в лоб, по лбу — а ты хапай, хапай! Потому что другие следом — у них крепче зубы, крепче локти. Заезаешься — с дерьмом съедят!

*(После молчания.)* И вы средненькой паршивости. Только не хотите это понять или скрываетесь от себя, и все амбиции, амбиции... Ах, какие мы!

А надо жить хорошо! Надо жить хорошо и свободно! Чтобы чувствовать себя человеком в толпе скотов, в этом стаде людей, точно таких же, как ты.

Катя. А еще раньше, совсем раньше, ты был молодым человеком. Летом ты целыми днями валялся на траве, ты скучал на обочине жизни, ты был пессимист, у тебя даже не было пассии — тебе даже любовью не хотелось заниматься, плодить детей... Вот какой ты был бесполезный... А мне это нравилось: ты был один, совсем один.

Володя. Чего ты плетешь, сестричка? Это было давно. И совсем не так, как ты рассказываешь. На даче я жил, да. Я готовился поступать...

Катя. Ты валялся на траве, твои дни были окутаны тайной. Я любила за тобой следовать, я думала: какой у меня умный брат... как он мужественно терпит свою обочину...

А мы... мы с Иришей были просто твои сестрицы... две такие фифочки... две такие хахоньки...

Володя *(сдается)*. Ну, хорошо — а что потом было?

Катя *(после молчания)*. Ничего не было. Может, что-то и было, только я ничегошеньки не запомнила. Прошло столько-то лет. Мама умерла. Дача развалилась. Ее продали по такой-то цене. А мне который год снятся свиньи, в огромном количестве: свиньи бегут, бегут... Вы знаете, что у свиней карие человеческие глаза?

Ирина. Катя, лапочка...

Селектор. А теперь к баграм, товарищи! Баграми тащить! Надеть противогазы! Найти Семенова! Срочно разыскать Семенова! *(Шум, хор, музыка.)*

Бабка-общественница *(мечется)*. Прогноз! На Севере! Идут судьбы! Каманин! *(Бьет себя испуганно по щеке, хнычет.)* Пардон, пардон...

Селектор *(яростно)*. К баграм!

Володя *(бормочет растерянно)*. Прошло столько-то лет... *(Некстати совершенно.)* Сколько же, по крайней мере?

Катя. Может сорок, может пятьдесят... Дай мне, пожалуйста, пятьсот рублей взаймы... Пожалуйста, дай...

Володя. Зачем?

Катя. Я съезжу. Возьму академический и уеду. Понимаешь, меня это преследует как мания...

Володя. Надо подумать. Пятьсот рублей это все-таки деньги.

Катя. Значит, не дашь, как и в прошлом году. Ты под запретом оловянных глаз, я знаю.

Володя (*вспыхивает*). Как вы не понимаете: вы такие мелкие, жалкие, никчемные люди! И еще злые!

Катя. А я тебе никогда не прощу: зачем ты унес из моего детства таинственного братца?

Володя. Дура, ну какая же ты дура! Если бы ты знала сама, ты бы удавилась от горя!

Катя. Я? Ни за что. Я еще недостаточно осчастливила белый свет.

Оля (*ходит, в руке фужер*). И как тут у вас плохо... Не могу даже сидеть: я боюсь пыли, я в новом платье. Хочу ходить, двигаться: такое ощущение, что все это затхлое липнет на мне, бр-р... И все время что-то грохочет и топают...

Пивоваров. Ну... типа как... массовая оборона. Тоже надо.

Катя. Модно.

Оля. Ты все такая же, Катя. В тебе желчи — плюнь и трава в этом месте перестанет расти.

Катя (*смотрит в бинокль*). Модно. А вино уже нельзя?

Володя. Почему же? (*Подливает*.)

Катя. Хоть и ворованное, а приятное.

Оля. Чистоплюи, э-хе-хе...

Катя. Все едино уже давным-давно, давным-давно. Володечка, ну займи, пожалуйста... Я съезжу. Я съезжу и приеду.

Володя. В Прибалтике холодно — уже конец сентября.

Катя. Я знаю, я одна знаю. Мне не хватает этого, как глотка воздуха.

Ирина. Катя!

Катя. Ну почему я не могу попросить в долг у брата?

Володя (*переглядывается с женой*). У нас, кажется, нет сейчас свободных денег... Правда, Оля?

Оля. Почему же? Деньги есть. И всегда есть. Только пусть она по-человечески попросит, как это делается между людьми — без выпендрежа.

Катя. Кажется: еще раз увижу море и наконец со мною что-то произойдет... наконец, наконец!

Оля. Между прочим, сутко-койка на море стоит три рубля. Факт, извини.

Катя (*в бешенстве*). Что мне этот факт — что?! Я отдам, Олень-



ка, ну вот ей-Богу. Устроюсь подрабатывать и отдам. Или брошу институт, устроюсь на хорошую работу...

Оля. Ты — и на хорошую работу. Не смей мои пятки. Надо шевелиться, надо знаешь как прогнуться, чтобы найти хорошенькое местечко. А ты... что ты? Анекдот ходячий.

Катя. Ну, я так отдам... потихоньку, частями.

Оля. Позволь, милая, не поверить. Ты сто рублей отдаешь нам уже полжизни.

Володя. Оля, может, не стоит об этом, сейчас, вот здесь.

Оля. Нет, если мы с тобою жлобы, как она думает, то ведь и она дрянь... все за чужой счет, лишь бы не работать. Даже яблоко она у нас однажды съела — помнишь, были твои сестры у нас в последний раз... ну, в прошлом году?

Ирина. Она не от голода. Просто Катя часто бывает рассеянной. Она вообще не ест яблок, хотя сыроежка. Просто автоматически — смотрела в окно и съела.

Оля. Ну, хорошо, кисоньки, хорошо. Я просто люблю порядок, понимаете — а идиотизма не понимаю! Если бы она ела яблоки — Бога ради. Принципиально бы угощала. Если бы не ела — пожалуйста, в таком случае — колбаски-с... Но чтобы четко, определено, без этих всяких тайночек!

Володя. Да, к сожалению, Оля не может терпеть беспорядка, ни в чем, даже внешне...

Катя. Какая чепуха!

Ирина. О, да! У вас везде в комнатах такой яркий пронзительный свет от люстр. Вы любите двигаться ярко освещенные, без теней. Это я помню, это нельзя забыть. *(Тихо смеется.)*

Оля. Чепуха? Сегодня человек с тобой поздоровался, улыбнулся, а завтра бы плюнул тебе в рожу: нечаянно, по растерянности, заглядевшись, задумавшись, как вы говорите, ласточки...

Катя. Маразм...

Оля *(закиная)*. Ну что «маразм» — что именно? В чем вы нас все стараетесь упрекнуть? В том, что мы удачливее вас?

Да вы просто ленивые! Мы с Володей начали с нуля, и, между прочим, недоедали, но чужих яблок без спроса не трогали — знаете ли, были гордые!

Катя. А мы доедаем, мы сытые, не думай, пожалуйста...

Оля. Последнее вы доедаете, мамашино. А ваша разлюбезная маманя, между прочим, из своих трех тысяч не оставила Володеньке и Оленьке ни рубля! Она, видите ли, не любила меня. Не переваривала. Она сказала: Оля с Володей — сильные в жизни. А Катенька с Иришечкой, драгоценной, значит слабенькие... Нет! Вы работать не хотите: ра-бо-тать! Но хотите ездить на море — и смеяться над теми, кто даст вам денег!

Ирина. Оля, вы, пожалуйста, не трогайте нашу маму. Она умерла. Она была хорошая и тихая женщина. Не вам судить ее.

Оля. Ирина, дорогая! Мы взрослые люди. Что мне твоя мамаша? Пусть спит спокойно. Она три тысячи за всю жизнь накопила — я за год могу, без напряга. И в дружбу я к ней не набивалась. *(С ухмылкой.)* Сверчок, знаю свой шесток. Как же: оне — актрисы театра, а я — продавщица.

Володя. Оля, не комплексуй...

Катя. В самом деле. *(Дарит цветок Оле.)* Возьмите, это вам. Вы такая прекрасная, хотя и буфетчица. В жизни такой я не видывала. Я никогда не приду в ваш буфет, Олечка. Так что тебе не удастся обворовать меня. Потому возьми, прекрасная.

Оля. Как пахнут! *(Швыряет цветок обратно.)* Но какие претензии, какие претензии... нюхайте сами! Буфетчица, а со мной заигрывают на работе всякие, в том числе и артисты. Средней, конечно, руки: так, вроде вашей мамашы... И руки иногда целуют, когда я им бесплатно наливаю: в кредит якобы.

*(Смеется.)* А руки у меня обычно в пиве. Выцелуют, ничего.

Катя. А вы в борщ плюете, когда готовите? Говорят, так делают...

Оля. В буфете у меня нет борщей, милая. Коньяки и вино.

Катя. А не выцелуют — море выполощет. Оно большое, чистое, голубое — только надо почаще ездить, правда?

Оля. Стараемся... *(Выкладывает перед Катей деньги.)* Тут рублей четыреста, наверно, не считала. Занимаю! Я наворовала, а ты езжай, развлекайся. Ну, бери. Смелее. Чего уж там, одним дерьмом будем мазаны. *(Играет Катиньими волосами.)* А, девушка?

Катя *(сбита с толку, она не ожидала)*. Нет, зачем же... *(Плачет вдруг.)* Нет, не надо, я пошутила.

Оля. Бери, не стесняйся... А хочешь — без возврата? Но одно условие... чуточку пакостное, не спорю, но ничего, терпимое — деньги же не пахнут. Поцелуй мне ручку, как в буфете многие делают. *(Смеется, она заметна пьяна.)* Всего-то: пальчиками юными взяв, губками юными — «пц»... И все: и свободна, и богата, — относительно, конечно. Две секунды — и четыреста рублей, мне самой такое не снилось. Ну? Идет? *(После молчания.)* То-то же, девочка. Тогда не надо хамить. Это мои деньги. *(Кричит.)* Мои коньяки! Мое море! *(Сгребает деньги.)* Скучно у вас тут: жизнь у вас тут все какая-то по мелочам, по мелочам, назойливая как муха — так и тянет прихлопнуть.

Пойдем, Володя... Ничего, что мы так прямо в лоб — встали и ушли? Я не ханжа. *(Уходят.)*

Пивоваров (*из кухни*). Точно! Ровно на холодильник вы больше занимаете — на шестьдесят семь сантиметров. Не с потолка говорю — замерил. А общая площадь нашей кухни шесть и восемь метров — знаете?

Катя. Бессмертны наши советские люди. Ты вся такая правильная, как грамматика: никому никогда не грубишь, у тебя всегда ровное настроение... Но ведь так нельзя. Надо жить.

Ирина. А ты еще совсем молоденькая... Разве я не живу?

Катя. И это жизнь! Сестра моя, прекрасная сестра моя, Ирина! Ты боишься быть смешной, странной, резкой, навязчивой, несуразной наконец... Ты хочешь быть как все: какая-то такая, само собою разумеющаяся.

Ирина. Ты не в духе.

Катя. Ну скажи, что все кругом давно проросло помоями, а мы все умерли, ослепли, оглохли и не во что верить: не во что! Ну, скажи — мне будет легче дышать... Неужели я одна такая? Я не хочу быть одна, не хочу!

Ирина (*нервно ходит по комнате*). Мне, наконец, все равно. Все равно! Отстань от меня: я ничего, я ничегошеньки не знаю!

Катя. Два ничтожества в одной квартире — это уже слишком.

Ирина. Я не ничтожество.

Катя. Тогда посвяти меня в свою высокую, полезную тайну. Библиотечарша, девица на выданье, в тридцать лет имеет право встать на очередь в исполкоме... Какой букет достоинств! Сколько надежд! Какой простор для жизни!

Ирина. Нам не надо ссориться, Катя...

Катя. Нет, нам надо поссориться, наконец! Раз и навсегда! Зачем мы живем вместе, если ты не понимаешь меня, если ты — стена!

Ирина (*ласково целует сестру*). Ты ведь все сама знаешь, Катя, и давно-давно. Нам не надо ссориться. Будет совсем туго, если мы поссоримся. Помолчи, хотя бы минуту ни о чем не думай. И, может быть, станет легко и неплохо, как сейчас мне...

Катя. У меня есть язык. Мозги. В жилах у меня кровь. А ты скажешь: да-да. И будешь смотреть на меня невозмутимо, как будто у человека в жилах все-таки не кровь, а чернила: прилежные, как чистописание. Мумия! Кукла! Это у тебя оловянные глаза, а не у нее!

Ирина. Нам не надо ссориться. Мы все равно придем друг к другу в конце концов. Вот наш с тобою дом. Здесь лампочка, стол, стулья, вещи... В этих стенах умерла наша мама. Ты сама говорила: она тихонько прошептала: вы все поймете сами, все услышите и увидите сами...

Катя. Но — что? Скажи — что? Что мы должны понять, скажи, ну, пожалуйста, скажи!

Ирина. Если я заговорю — что я скажу, в самом деле? Не копай мою душу — она такая же поганая, как у тебя, в ней тоже темно. Сегодня мне нормально. Смотри — вино. Вот цветы. У нас есть магнитофон: можно включить, будет музыка. Нам уже ничего не понять. Это какое-то необратимое событие. Оно случилось там-то. При таких-то обстоятельствах. Того места уже нет, наверно. Обстоятельств тоже.

*Входят Сонька и Машка.*

Катя. Присаживайтесь, девочки. Пьем винишко, курим.

Сонька. Народ приутожили.

Катя. Да-да, сегодня ожидается огонь, ветер, смятение, бег на месте, плач, хохот, звон вышибленных стекол, песни червяков и другие явления... *(Ирине.)* Хорошие девочки. Любят экстаз.

Ирина. О, экстаз, да-да. А дальше что?

Катя. Ничего. Ожидание нового экстаза.

Ирина. Сокурсницы?

Катя. Да. У нас экстастический кружок. Весь курс страшно завидует. Модно. У них — драматический, швейный, у нас — экстастический. Интересно, как будет спать сегодня ночью наш Володя: кажется, он перенервничал.

Ирина. Зачем ты его все время цепляешь? В конце концов он незлой, простецкий человек: ну, подкаблучник, ну, недалекий... И все, что ты рассказываешь о нем, — этого не было никогда. Был всегда нормальный — везде и во всем. Никогда не лежал на траве у какой-то придуманной реки. И траву ты придумала, и реку. Ты долго-долго об этом думала и тебе стало казаться, что это было действительно. Это был прыщавый, сексуальный юнец. По ночам он и его дружки хихикали с девицами. На даче — помнишь лето, когда я кончила школу, — он трахнул одну из них, под какое-то дешевое вино. Потом, наверно, рассказывал своим друзьям в деталях; таким же вонючим и прыщавым. Они любят хвастаться друг перед другом, как якобы трахают одну за другой, и вообще, шикарно живут... Все было как обычно, задрипанно, банально; зачем же придумывать свое, Катюша?

Катя. А я знаю, что было так: ты права.

Ирина. А я знаю, что ты знаешь.

Катя. А я знаю, что ты знаешь, что я знаю...

Ирина *(тихо смеется, свистит)*. Да-да, я все знаю.

Оля *(возвращается с Володей, пытается его утешить)*.

Пойдем, они сами разберутся — надоело все это!

Володя. Нет! Я скажу ей, пусть! Я скажу и она заткнется, идиотка! *(Подбегает к Кате.)* Я — просто. А костюмчик

я носил аккуратно потому, что маман была скуповата, если помнят это твои дырявые мозги. Говорила: Володя — сильный мальчик, без лишних комплексов. И все! Поймешь ты когда-нибудь чего-нибудь, или нет, а?

Машка. Пойдем когда-нибудь. Не дураки. Не велика мудрость.

Володя. Да — просто! Я просто был!

Катя. Хорошо, брат мой. Я запомнила.

Володя. И запомни это навсегда!

Катя. Да, теперь-то навсегда. Прощай, принц на белом мерине!

*Володя и Оля уходят.*

Пивоваров (*из кухни*). Так вроде бы рассудить — вещей в кухне должно быть поровну. А с другой стороны, мы-то семья, у нас и дети. А вы — не в обиду — вы кто? Вы не семья...

Катя. А мы кто? А вот и магнитофон! (*Включает, вешает его на шею, медленно танцует.*) И вот ты танцуешь, Ириша. Ты танцуешь — ты все забыла... (*Дергается.*) Из головушки твоей окаянной вышибло последнюю память, которая так и не пригодилась тебе в жизни. А теперь ты все забыла: танцуй, сестра моя!

Сонька, Машка (*тоже дергаются, подняв игрушечные гранаты и автоматы над головой*). Танцуй, сестра моя! Танцуй, сестра моя!

Ирина. Я все про вас знаю, Катюша. Вы такие молодые: о, вы еще не кружите в пустоте... Вы носите черные шляпы с ленточками. Булавки, митенки, все лето сидите на скамеечках у кафе «Аромат». Вы кто-то там: хиппи, панки... Я все-все это знаю.

Катя (*выбегает на лестничную площадку*). Дяденька Володя! Вы пошли покурить, да? Жили-жили и пошли покурить? А потом еще будете жить-жить и снова выйдете покурить? А у нас скоро зима, дяденька Володенька! Слесарь умер! Скоро снег! У нас нет приличных одежд, чтобы пройти по нему! Пройти легко и чисто! Вот так, дяденька Володенька!

Ирина. Катя...

Катя. Негу Кати. Ушла. Уехала. Постарела. Вышла замуж. Грызла яблочки. Глазела по сторонам. Слушала ушами.

*Вдруг раздается взрыв.*

Бабка-общественница (*суетливо бегаёт*). Интеграция! Ким-ирсен! (*Подозрительно бьет себя по щеке.*) Ах ты, Господи... Вспышка слева! Вспышка справа! Дайте руки, друзья, споемте! (*Бьет себя по щеке.*) Ах ты, страсть Господня, страсть многолика... Гарью-то как пахнет... Николай Николаич, гарью-то как несет... словно война долгожданна...

Селектор. Держите с нами связь, Евдокия Степановна. Докладывайте о состоянии работ и участков!

Бабка. Теплый настрой! У нас в ЖЭКе! Письмо позвало в дорогу... *(Бьет себя по щеке.)* Колокуч! Фысынам! Буговидно не видно! *(Жалобно.)* Пардон, пардон...

Селектор. Нет дыма без огня, товарищи! Правильно я говорю? Теперь к песку, товарищи! Срочно разыскать Семенова! Тушить возникающий в проходах огонь! Узнать, что взорвалось и в каком подвале! *(Радостно, вдруг.)* Война, товарищи!

Наконец-то началась долгожданная война, дорогие товарищи! Бабка-общественница *(бьет по щеке)*. Неужто же! Поздравляю вас всех, товарищи! Ура, товарищи!

Ирина. Катя, пойдем домой.

Катя *(исступленно танцует)*. Да-да, домой, конечно, домой...

Сонька, Машка *(скандируют)*. Слесарь умер, дорогие товарищи! Его не видать на горизонте! Его и под горизонтом нет, мы заглядывали! Так-то вот, товарищи!

Ирина *(обняв сестру)*. Катя, пойдем домой. Пойдем, моя хорошая. Моя уставшая, пойдем. Потом все... Потом ты когда-нибудь все расскажешь. Все-все и жить станет лучше. Вот увидишь. А сейчас пойдем... Ну, пойдем.

Катя. Да, конечно, потом. Когда-нибудь. Поедем. Пойдем. Полетим...

Ну вот мы и дома. Здравствуй, дом! Долго же мы тебя не видели...

*Последние фразы она произносит тихо, бормоча. Она устала. Она ложится на диван и сворачивается в клубочек. Она сильнее и сильнее сжимается в клубочек, будто бы хочет без остатка, всем телом, уйти в себя, навсегда в себе раствориться. Ирина садится рядом и долго гладит сестренку по голове.*

1986—1987

## В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

Отворив, подобно пастернаковскому персонажу, фортку творческого кабинета, можно обнаружить, что на нашей улице, которая, считалось, вела к социалистическому храму, творится, черт знает что. Бастуют шахтеры Сибири и Донбасса, внучата Бени Крика потрошат кооператоров, льется кровь на Кавказе и в Средней Азии, интербляди, как мухи, облепили советские отели для нессоветских людей, а хозяева страны рыщут с талонами на сахар в поисках чего-то утраченного: то ли мыла, то ли чаю, а может, и наоборот — идеалов, духовности, свободы.

Рыщет и гражданин СССР, писатель 33-х лет, уроженец небольшого башкирского поселка Зуфар Климович Гареев.

Разброд, раздрызг, разлад, потери, отчаяние, тоска — вот декорация, на фоне которой вышло на литературную сцену то поколение писателей, к которому принадлежит Зуфар Гареев.

Поколение, не заставшее первой «оттепели» и не успевшее глотнуть того слабого воздуха свободы, запаса которого многим хватило надолго. Поколение, воспитанное официальной ложью и неофициальной «второй культурой», поколение, выбравшее себе в качестве экологической ниши почтенные должности сторожа, дворника, грузчика, поколение, которое не отказалось бы подписаться под декларацией героя поэмы Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки» — «Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку — по плевку».

Все, что пишет Зуфар Гареев, высмотрено глазами этого поколения, но читать его нужно всем. Страна должна знать не только своих героев и стукачей, но и этих сырых мира сего: хиппарей, бичей, писателей-неудачников, девиц с игрушечными автоматами на шее, мужиков с гробами. Не жалости ради, а для объективности приведу биографические данные автора. Нелегкое детство, затем — армия, конвойные войска МВД в Пермской области, далее четыре года по оргнабору в сибирском городе под названием Лесосибирск и, наконец, — московский «лимитчик».

И задам риторический вопрос — откуда что берется? И риторический ответ дам — да все отсюда же, от ПОЧВЫ, плюс нежелание «сидеть в дерьме и не чирикать», плюс чтение, вместо окружающей водки, наконец — природный ДАР, и я думаю, что выделение этого слова в данном случае уместно.

Странная его проза, странные стихи, странная драматургия. Переплетения, свивы изысканной лексики, патетики, романтизма и грубой грязи. При всех внешних признаках так называемого модернизма — сугубый реализм, а может, и натурализм жизни сумасшедшей, бескоординатной, опрокинутой.

Влияния? Влияния, как и у всех, можно вычислить, но чем больше читаешь Гареева, тем больше убеждаешься — а ведь это он сам все открыл и придумал. И если кто-то фыркнет, что иногда он избретаает велосипед, машину построенную Беккетом, Кафкой и Ионеско, то я скажу, что возможно и это любо искусству, — машина заржавела, машина валяется в сарае с проколотыми шинами, к машине приделывают третье, четвертое, пятое колесо. А он, не «кучкующийся» и не смешивающийся, ЗНАЕТ и УМЕЕТ, ибо не пляшет на могилах, ищет и находит, собирает и строит.

Ну что же, спасибо. Ну что же, дай-то Бог, как говорится... И не только ему, но и всем нам.

**Евгений Попов**

---

**Алексей Шипенко**  
**АРХЕОЛОГИЯ**

в семнадцати эпизодах





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Леша.  
Друг.  
Жена Леша.  
Полина.  
Кришна.  
Старуха.  
Ледька.

## Эпизод первый

*Солнечный день. Жара. Металлический гараж, выкрашенный какой-то совершенно идиотской краской бурого цвета, местами ободранной и замазанной белилами. Все строение в целом имеет вид сильно обгоревшего сейфа или железнодорожного вагона. Кривые ворота гаража распахнуты, в петле болтается амбарный замок с ключами. В гараже древняя модель «Москвича» примерно такого же цвета, как и сам гараж. Около машины на деревянной табуретке сидит Леша. Его длинные темные волосы падают на спину, на просторную черную майку. Плечи низко опущены, ноги в обрезанных под шорты джинсах и кожаных шлепанцах с переплетом крест-накрест устало вытянуты, в руках — коробок спичек.*

Леша. А ты знаешь, что произошло с американскими астронавтами, которые высаживались на Луну? Армстронг и еще двое, не помню, как их звали... Ну, они стали миллионерами, разумеется, и все такое, а потом, уже на Земле, когда они вернулись, с ними стали происходить всякие странные вещи. С каждым что-то разное, но все равно истории приблизительно одинаковые... *(Замолкает. Все его внимание сосредоточено на спичечном коробке. То открывает его, то снова закрывает. И так несколько раз. Достает оттуда спичку.)* Они прилетели и завязали. Они завязали со всей этой космонавтикой-аэронавтикой, как там ее. Кто-то купил себе ранчо и теперь сидит там, кто-то спятил. В общем, прогулочка эта дорого им обошлась. Чего-то они там сообразили. Там, когда они в шесть раз меньше весили. Понимаешь, да? Эй! *(Наклоняется вперед и стучит по крылу «Москвича».)* Я вот не помню, что с Армстронгом произошло. *(Зажигает и гасит спичку.)* «Тайна железной двери»... Помнишь, фильм такой был? Для детей. Про спичечные коробки, исполняющие любые желания. *(Опять зажигает спичку.)* Только в фильме ломали. Берешь спичку и ломаешь. И все — ты король. Да, одного, по-моему, Олдрином звали. Эдвин Олдрин.

*Внизу, в яме под «Москвичом», слышна какая-то металлическая возня, потом оттуда доносится голос Друга, его самого не видно.*

Друг. А дальше?

Леша. Что дальше?

Друг. Дальше-то что? С космонавтами?

Леша. Ничего. Больше не хотят летать. Хотят — не летать. Или вообще ничего не хотят. Ну как, поедет твой катафалк?

Друг. Еще не знаю.

Леша. Они спать хотят...

Друг. Чего?

Леша. Спать они хотят. Пить хотят. Писить хотят. Курить. У тебя сигареты есть?

Друг. Там, в ящике подвесном, на стенке. Найдешь?

Леша. Да. Найду. Я сам. *(Встает с табуретки и идет к подвесному ящику на стене в углу.)*

*Там же стоит громоздкий верстак с инструментами и старым проигрывателем «Лидер».*

*(Несколько раз включает и выключает проигрыватель, проводит пальцем по игле. Потом открывает подвесной ящик, достает белую бутылку с прозрачной жидкостью, отвинчивает крышку, нюхает, делает глоток и тут же выплевывает.)* Это у тебя спирт, что ли? А?

Друг. Нашел? Дай мне тоже.

Леша *(завинчивает крышку, ставит бутылку обратно. Потом достает из ящика пачку сигарет «Космос», подходит к яме, нагибается и просовывает пачку вниз)*. Ты что, там курить будешь?

Друг. Да нет, я так, во рту подержу. За компанию. Но ты лучше выйди, я в гараже не курю.

Леша. Ага. *(Забирает сигареты и садится на табурет.)* Да-да, я сейчас... *(Некоторое время сидит абсолютно неподвижно, уставившись в бетонный пол под ногами.)*

*Слышно только позвякивание инструментов из ямы.*

И ты знаешь, я бы уехал. Я хочу уехать. Домой. Увидеть всех и сказать им... Эдвин Олдрин. Я хочу уехать. Заберите меня...

Друг. Ты еще здесь?

Леша. Да, я еще здесь. Сижу как дурак и плясую на твой вонючий катафалк. Зачем?

Друг. Катафалк. Хорошая машина, и цвет клевый.

Леша. Она же вся разваливается к чертовой матери.

Друг. Ну и что? Зато моя.

Пауза.

Леша. Меня отец в детстве пытался научить машину водить. Прививал любовь к механизмам, в гараж с собой таскал постоянно. Сам в яму залезал, а меня за водой посылал или еще за чем-нибудь. А я бегал среди всех этих гаражей, там много их было, целая куча, муравейник... Ячейки, ячейки, ячейки... И в каждой — яйцо. Снаряды такие. Из жести. Металлолом-м-м... Там поблизости никаких деревьев не было, только такое огромное заасфальтированное пространство с пронумерованными ящиками. А в каждом ящике... У тебя там что, спирт был, да? У меня весь рот горит! Собака, обжегся я тут в твоём гараже — покалечили паренька!

Друг. Ты что, выпить хочешь? Так ты возьми у меня там в бутылке. Спирт.

Леша. Да не пью я, ты же знаешь! *(Громко сплевывает и прокашливается.)* А машину я все-таки водить научился. Хотя отец и прогнал меня оттуда очень быстро. Из гаража. Ничего я не понимал в его шестеренках. И в яму лезть отказывался, хотя и любил. Залезал туда и сидел. Темно, прохладно, хорошо. И по стенам улитки ползают. Знаешь, такие серые с рожками? Туберкулезные товарищи. Почему туберкулезные? Не знаю. Почему-то. А еще мне масляные пятна нравились, радужные. И когда только голова торчит. Это тоже. Сам как бы в земле, а голова торчит. Как «В белом солнце пустыни». Зачем ты убил моих людей, Джавдет?

Друг. Чего-чего?

Леша. Это я не тебе. Это я так, сам с собою. Зачем ты убил моих людей, Джавдет? Нехорошо. Ай-я-я-я-йй...

Друг. Завал! Монолог сумасшедшего. Я тут ковыряюсь, и слушаю — монолог, точно. Паранойя.

Леша. Глуши мотор, таможня. Пора идти спать.

Друг. Куда спать? Час дня.

Леша. Пока. Я пошел. *(Продолжает сидеть. Закуривает.)*

Друг. Я же просил в гараже не курить.

Леша. Да я только так, вид делаю. Я уже бросил. *(Выбрасывает сигарету в распахнутые ворота гаража.)*

*В проеме появляется девушка лет девятнадцати. Это Полина. Она останавливается и, щурясь на солнце, вглядывается в темноту гаража.*

Полина. Эй, дядя, где у вас тут воды можно набрать?

*Леша долго смотрит на Полину, молчит. Девушка не уходит.*

Леша. Воды тут набрать негде. Тут ее вообще нет. Пойдем покажу. *(Медленно поднимается с табурета и выходит из гаража.)*

Друг. Сигареты не уноси!

*Леша и Полина останавливаются на площадке перед гаражом.*

Леша. Зачем тебе вода?

Полина. Пить.

Леша. Пить? Да, это неплохое занятие. Я знаю одно место, где когда-то было очень много воды. Хорошей воды, настоящей. Я давно туда собираюсь, да все компании подходящей не было. Уже несколько лет не было. Ни компании, ни меня. А вдруг все изменилось, вода ушла, как ты думаешь?

Полина. Никак. Тебе лучше знать.

Леша (*пожимает плечами*). Может быть. А как у тебя со временем?

Полина. О!

Леша. Вот именно.

Полина. А сколько до того места?

Леша. Бог знает! Не считал.

Полина. Но я не одна.

Леша. Я тоже.

### Эпизод второй

*Вечер. В распахнутых воротах гаража на табуретке сидит Друг, спиной к машине, около которой расположилась Жена. Она стоит, опершись на крыло «Москвича», низко опустив голову. На проигрывателе пластинка — Робертино Лоретти поет «Вернись в Сорренто». Очень тихо и ласково.*

Друг. Когда я вылез из ямы, их уже не было.

Жена. Ага, вот как? Очень мило с его стороны. Ну?

Друг. Я думаю, они ушли.

Жена. Куда?

Друг. Под сень струй.

Жена. Свинья!

Друг (*не спеша встает с табурета, снимает с себя грязную рубашку, комкает ее и бросает в яму*). Все. Хватит! Пора на тряпки. (*Заходит за «Москвич» напротив Жены. Начинает переодеваться.*)

Жена. Сними эту идиотскую пластинку.

Друг. Да? А я очень люблю.

Жена. Люби.

Друг (*подходит к проигрывателю, снимает иглу с пластинки*). Выпить не хочешь?

Жена. Хочу. Все это время, пока я живу с этим моральным уродом, я хочу только одного: регулярно пребывать в состоянии глухого запоя. Как можно чаще. Но он мне мешает. И потом — у него никогда нет денег. У него вообще ничего нет, кроме морального уродства. (*Берет из рук Друга бутылку, делает глоток.*) Это спирт у тебя, что ли?

Друг. Спирт.

Жена. Предупреждать надо. *(Делает еще один глоток и передает бутылку Другу.)*

Друг *(тоже пьет и ставит бутылку на верстак)*. Ладно, пора сваливать.

Жена. Что?

Друг. Я иду домой.

Жена. Иди.

Друг. Иду.

Жена. Сволочь твой друг.

Друг. Кто это?

Жена. Леша, друг твой.

Друг. Не могу согласиться.

Жена. Не моги.

Друг. Не могу.

Жена. Очень содержательная беседа.

Друг. А что, собственно говоря, произошло?

Жена. Ничего. *(Подходит к верстаку, берет бутылку, пьет.)*

Друг. У меня печенье есть. Будешь?

Жена. Нет.

Друг *(забирает у нее бутылку)*. Вы что, договаривались сегодня куда-то идти?

Жена. Нет. Идти мы никуда не договаривались. Но кое о чем мы с ним все-таки договорились.

Друг. Правда? Интересно. И о чем же вы договорились?

Жена. О разном. Дай еще... *(Снова пьет.)*

Друг. А конкретнее?

Жена. Он мне вчера кое-что рассказал.

Друг. И что же он рассказал?

Жена. Кое-что. Ты что-нибудь слышал про Шекспира? В его исполнении?

Друг. Нет. Ничего не слышал.

Жена. А про американских космонавтов?

Друг. Про это слышал. Они все спятили. Вся троица. Сначала они на Луну слетали, навидались там всякого, а потом у них крыша поехала.

Жена. Откуда ты это знаешь?

Друг. От него. Ты же спрашиваешь — я отвечаю! Что тебе еще надо, а?

Жена. Ага, значит, он тебе уже все рассказал!

Друг. Что все?! Что?!

Жена. Когда это было?

Друг. Сегодня днем.

Жена. Вот тут-то собака и зарыта.

Друг. Какая собака?

Жена. Такая. *(Снова прикладывается к бутылке.)*

Друг. Хватит пить!

Жена. Не ори. Хочу — и буду... *(Подходит к верстаку, ставит на него бутылку и включает проигрыватель — звучит «Вернись в Сорренто». Некоторое время внимательно слушает, потом аккуратно снимает пластинку и разбивает ее о край верстака.)*

Друг. Что ты делаешь?

Жена. Я деградирую.

Друг. Это моя любимая пластинка...

Жена. Очень хорошо.

*Друг опускается на пол и начинает собирать осколки. Жена радостно топчет их каблуками. Друг хватается за ногу, и она падает на пол рядом с верстаком.*

Друг. Моя любимая пластинка... Мне ее мама подарила. На день рождения. Чтобы я мечтал стать Робертино Лоретти. А я надрогался над ее светлым чувством и не стал.

Жена. Свинья!

Друг. Я даже в музыкальную школу ходил. На сольфеджио. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до! До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, до, си, ля... *(Понемногу затихает и успокаивается.)*

Жена. А скажи-ка мне, любезный, как выглядела эта барышня?

Друг. Кто? А-а-а! Ласковый ангел: Мышка по имени Небо-В-Алмазах.

Жена. О! Системная девочка. Верно?

Друг. Угу. Бусы, фенечки, прикид. Все как надо.

Жена. И они пошли на трассу ловить драндулет...

Друг. Вставай — простудишься.

Жена. И состоялись как пара...

*Друг медленно поднимается и выходит из гаража выбросить осколки пластинки в мусорный бак на площадке.*

*(Продолжает сидеть на полу, прислонившись спиной к верстаку.) Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж... Стопить надо, стопить! Вон, едет, собака, едет... Стоять! Руки вверх! Ты кто? Я шофер Иван Петрович Сидоров, везу контейнер озимой пшеницы в труднодоступные районы нашей Родины. Я люблю свою работу, это очень полезная работа. Полезная и нужная людям! Да, возможно, я идеалист и, наверно, чересчур сентиментален, не знаю. Но — я люблю свою жену, я люблю своих детей — их фотокарточки приклеены к моему ветровому стеклу. Эпоксидной смолой. Намертво! Навечно! Я часто*

думаю о них в дороге, и эти мысли согревают мой одинокий маршрут. Я мчусь на скорости сто, одной рукой вращаю баранку, другой перелистываю томик японских трехстиший. Послушайте, не правда ли, это восхитительно:

Луна или утренний снег...  
Любуясь прекрасным, я жил, как хотел.  
Вот так и кончаю год.

Это из Басё, господа, из Басё... На хер, на хер, на хер всё, я иду читать Басё! Вот так и кончаю год. Но — чу! Впереди, на пыльной обочине, я вижу двоих хиппаков. Братишки, я же сам старый хиппи, член тусовки с тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, и я понимаю ваши нужды. Залезай в машину! Озимые не трогать, марихуану не курить, а так — все что угодно! Эх, ребята, я ведь тоже был знаком с Тимоти Лири. А знаете ли вы, кто такой был этот Тимоти? Не знаете? То-то! А это был один весьма гнилой старикашка — он своих студентов на ЛСД подсаживал. Наш был дедуля, корневой. Да что там! Давайте-ка лучше споем. Все вместе. Хором. Что-нибудь из Лу Рида. Что-нибудь эдакое... про дрянь. Эх, юность ты моя пропащая, загубил я тебя, изуродовал...  
*(Начинает что-то мычать.)*

*Слов не слышно. Появляется Друг.*

Друг. Заведение закрывается, инструменты собираются. На выход, Джениз Джоплин! *(Спускается в яму, зажигает там маленькую лампочку для подсветки и начинает собирать инструменты.)*

*Жена встает с пола, забирает с верстака бутылку и направляется к выходу. Она допивает содержимое бутылки и выходит из гаража, держа бутылку за горлышко. Потом она разбивает бутылку о ворота, а тем, что осталось у нее в руке, вскрывает себе вены.*

### Эпизод третий

*Ночь. В гараже горит только подсветка в яме. На полу, на брезентовом чехле сидят Полина и молодой человек по имени Кришна. Леша — напротив, на капоте «Москвича».*

Кришна. Говоришь о вещах ты мудрых,  
Только жалость твоя напрасна;  
Ни умерших, ни здесь живущих  
Мудрецы никогда не жалеют.

Неизбежно умрет рожденный,  
Неизбежно родится умерший;

Если ж все это неотвратно —  
То к чему здесь твои сожаленья?

Не проявлено тварей начало,  
Не проявлено их окончанье,  
Они явлены лишь посредине:  
Так о чем же тогда сокрушаться?

(Слегка улыбаясь и достает из кармана пачку «Беломора».)

Полина. Я тоже.

*Кришна передает пачку Полине.*

Леша, ты будешь?

Леша. Да.

*Полина протягивает Леше папиросу. Все закуривают и некоторое время сидят молча.*

Дамы и господа, чтение из «Бхагавадгиты» продолжается.

Кришна, не задерживай публику.

Кришна (*затягивается, закрывает глаза*).

Чудом кто-то Его увидит,

Чудом кто-то другой о Нем скажет,

Кто-то третий — чудом услышит;

Но Его ни один не знает.

(*Замолкает.*)

Леша (*начинает вяло аплодировать*). Bravo! Еще, пожалуйста.

Кришна. Нет. На сегодня достаточно. Я бы тебя теперь хотел послушать.

Леша. Меня?

Кришна. Тебя.

Леша. Я нынче не в голосе.

Кришна. Ничего страшного. Я — существо доброжелательное.

Леша. У меня масса речевых дефектов.

Кришна. Не ломайся.

Леша. Могу показать талон к логопеду. На завтра, на девять утра.

Полина (*кричит*). Молчать!!!

*Леша вздрагивает. Полина пристально смотрит ему в глаза. Пауза.*

Леша. Чтобы это было в последний раз. Договорились?

*Полина не отвечает.*

Ну, хорошо. Я начинаю.

*Пауза.*

Полина. Что же ты замолчал?

Леша. Жду.



Полина. Чего?

Леша. Подойдет кто-нибудь к телефону или нет.

Полина. Зацепило.

Леша. Придется самому... *(Соскакивает с капота, подходит к верстаку, нагибается, роется в каком-то ящике, потом спускается в яму. Через некоторое время вылезает оттуда с разбитым старым телефонным аппаратом в руках.)* Это память.

Полина. Это забвение.

Леша. Телефонный аппарат — это память.

Полина. Это общество.

Леша. Это память.

Полина. Это воспоминание об обществе.

Леша. Это общественное воспоминание.

Полина. Тирлинь-тирлинь-тирлинь-тирлинь...

Леша *(снимает трубку)*. Да, я слушаю. Нет. Полина занята.

Полина. Неправда.

Леша. Правда. Она не может подойти.

Полина. Смотря кому.

Леша. Мне.

Полина. Почему это?

Леша. Она собирает марки. И доллары. Это очень дорого стоит. Спичечный коробок — пятнадцать, ни цента меньше. Непробитый. Сухой. Но смола есть. И пыльца тоже. А с кем я разговариваю? Что передать? Кришна? Очень приятно. Привет! А это Будда на проводе, или Иисус, еще не решил. Чего-чего? Стрелку вы с ней забивали? Ну и долго вы ее забивали? На сколько? На вечер? Понятно, старик, но так ведь еще не вечер. И было утро, и был вечер, и так далее... Нет, это не Профессор. Я уже представлялся. Не преставился, а представлялся. Слышишь разницу? Ну вот и отлично. Я не знаю, но думаю, что стрелка остается в силе. Как, впрочем, и Белка. Да, ничего больше нет. И никого больше нет, все скипнули. Приходи, конечно! Я буду рад, только тебя мне и не доставало. Аск, старик, аск! Что? На трассу? Да нет, я вроде не собирался. Стар я уже для автостопа. Нет, не поеду, точно. Не поеду-у-у!!!

Полина. А жаль.

Леша. Конечно, жаль. Всем нам жаль. Хотя я думаю, отряд не заметил потери бойца. Да. Я не поеду, это исключено. У меня еще завтра дела. Нагорная проповедь и другие мероприятия. Левитация над городом и деревней, а также слияние умственного и физического труда. Навсегда. И вообще, у нас сейчас время интимных прений. Не трений, а прений. Что за телефон — не понимаю, ни черта не слышно! Я его

сегодня уничтожу. Я тебя уничтожу, слышишь? Да не тебя, Кришна, а телефон. Телефон — дерьмо! Никакая это не память, это — дерьмо! Запомни. *(Бросает трубку на рычаг.)* Я думаю, что мои зрители, если таковые имеются, очень скоро меня прибьют. И не спрашивайте, за что. Лучше сразу доставайте маузер и постарайтесь не дрогнуть духом — терпеть не могу боли и медицинских кабинетов. Переливание крови может пройти крайне неудачно, вот так! И я хочу высказать, раз уж пошел такой базар, ноту протеста своей маме. Мама, почему у меня отрицательный резус-фактор? У тебя с папой положительный, а у меня отрицательный. Непорядок! Всё! Исправить. Всё. *(Останавливается.)*

*Пауза.*

Кришна. Неплохо. Повторим? *(Улыбается, дотрагиваясь до пачки «Беломора».)*

Полина. Реверс.

Кришна. Неплохо. Повторим? Неплохо. Повторим? Неплохо. Повторим?

Полина. Отомри.

Кришна. Ну так как?

Полина. Я не против.

Леша. Я тоже.

Кришна. Чуть осторожней. Всем.

*Компания закуривает.*

Чем ты занимаешься?

Леша. Я?

Кришна. Ты.

Полина. Реверс.

Леша. Я?

Кришна. Ты.

Леша. Я?

Кришна. Ты.

Полина. Отомри.

Леша. Писаниной я занимаюсь.

Кришна. Сейчас?

Леша. Когда-то.

Полина. Ты пьесы пишешь?

Леша. Ремарки.

Полина. Например?

Леша. Полина делает глубокую затяжку.

Полина. Хорошее занятие.

Леша. Такое же, как и любое другое. Ничем не лучше.

Полина. Успехов.

Леша. Спасибо.

Полина. На здоровье.

Леша. А ты чем занимаешься?

Кришна. Я?

Леша. Ты.

Кришна. Учусь.

Леша. Реверс.

Кришна. Учусь. Учусь. Учусь. Учусь. Учусь.

Леша. Отомри.

*Пауза.*

Кришна (*делает глубокую затяжку*). Самое пакостное ощущение было, когда я превращался в классную доску, и мне приходилось все время смотреть на учительницу. В профиль, в анфас, со спины и наоборот, во всех микроскопических деталях. Я видел потную пористую кожу ее лица, корни крашенных волос, кривые очки с захватанными стеклами. Я видел багровую расплзшуюся родинку в углу ее рта, всю в тоненьких капиллярах, яркую дешевую помаду. Я чувствовал ее утреннее дыхание, которое, впрочем, ничем не отличалось от дневного, вечернего и так далее. Она выпускала сжатый воздух прямо мне в переносицу и пыхтела, как бронепоезд «Очаков». Она поднимала свою тяжелую руку с корявым куском желтоватого мела и выбивала на моем лице какие-то неизвестные мне письмена. Я чувствовал, как меловая крошка вместе с пылью грязных школьных тряпок заползает мне в ноздри. Мне хотелось чихнуть, но я боялся ее строгого взгляда, я был еще совсем маленьким человеком. Я правда ее боялся. Очень боялся. А она продолжала покрывать меня своими корючками и вдавливать в меня знаки препинания. Иногда мне становилось больно. Иногда просто щекотно. Я, наверно, мог бы засмеяться, если бы мне не было так страшно. Я становился исписанным пространством, только и всего, ничем иным я и не мог быть. (*Гасит окурок, закрывает глаза.*) Остальные детишки, находившиеся в этом помещении, были весьма похожи на меня — их тоже заполняли какими-то таинственными шифрами, смысл которых им суждено было разгадать значительно позже. Или не суждено вообще. Все зависело от степени их страха и от возможности каким-либо образом уничтожить его. А для этого требовалось не только время и природная сообразительность. Для этого требовалось еще кое-что, чего могло у них и не оказаться по вышеизложенным причинам. К тому же, не все из этих ребятишек оказались такими идиотами, как я. Большинство из них и понятия не имело о том, что можно жить в классной доске. или

еще где-нибудь, в других предметах и вещах этого материального мира. Им просто-напросто некуда было деваться, и они смотрели на учительницу только со стороны спины. И не видели этой странной родинки в углу ее искаженного рта... И так близко... *(Открывает глаза.)*

*Пауза.*

Полина. А то, что мы вписались сюда на ночь, тебя никак не обламывает? Или обламывает?

Леша *(начинает смеяться)*. Найтуйте, найтуйте...

Полина. По-моему, ты обломался.

Леша. Никак нет, сэр! *(Заходится от смеха.)*

Полина. Если ты обломался, я исчезаю...

Леша. Не исчезай ты, мой голубчик! У меня есть вторые ключи.

Это могло бы обломать хозяина, но он спит. И видит сны.

Кришна. Какие сны в том смертном сне приснятся,

Когда покров земного чувства снят?

Леша *(поворачивает голову в сторону Кришны и долго на него смотрит. Потом слезает с капота машины, подходит к подвесному ящику, заглядывает в него и возвращается обратно)*. Однажды я спросил у одного своего знакомого, воплощался ли Шекспир с тех пор, как умер.

*Пауза.*

Вплощался, говорит, воплощался. В начале века, в Германии. Он был художником, рисовал и имел некоторое отношение к нацистской партии. Некоторое отношение. Шекспир. И он погиб. В конце войны.

Кришна. Между Алой и Белой розой...

*Пауза.*

*Леша внимательно смотрит на Кришну.*

И что же ты подумал?

Леша. Я подумал, что мог бы написать такой сюжет, историю такую: «Уильям Гитлер». Господин Шикельгрубер умел весьма качественно рисовать, не правда ли?

### Эпизод четвертый

*Берег моря. Песок. Раннее утро. На песке — большой оранжевый рюкзак, возле которого стоят Старуха и Ледька.*

Старуха. Здесь?

Ледька. Здесь.

Старуха. Здесь очень мило.

Ледька. Как на кладбище.

Старуха. Совершеннейшая прелесть.

Ледька. Я знал, что тебе понравится. Я специально искал.

Старуха. Ты здесь все хранишь?

Ледька. Здесь.

*Пауза.*

Старуха. Интересно, они уже объявили розыск?

Ледька. Вряд ли. Им не привыкать. На этот раз мы исчезли слишком тихо — «у нас еще в запасе одиннадцать минут».

Красиво.

Старуха. Да. Я бы не хотела, чтобы здесь появились представители власти.

Ледька. Я тоже. Где лопата.

Старуха. В рюкзаке.

*Ледька роется в рюкзаке и достает оттуда маленькую пехотную лопату.*

Но я не могла иначе. Не могла.

Ледька. Я начинаю.

Старуха. В последний раз они предложили мне городское кладбище...

*Ледька начинает копать.*

Это выше моих сил... Никогда... *(Опускается на песок и садится, прислонившись спиной к рюкзаку.)*

*Долгая пауза. Слышны только удары Ледькиной лопаты и его хриплое дыхание.*

Во-первых, антисанитария и большая скученность. Во-вторых, они наверняка бы водрузили надо мной бетонную плиту, да еще какую-нибудь стелу с моим дагерротипом. Но я же не культуристка, чтобы выдержать такую тяжесть на своем животе. И я не председатель горсовета, чтобы мне было абсолютно по фигу, что скажут люди, глядя на их конструкцию. Моя светлая память еще, слава Богу, при мне, и я способна сама отвечать за внешний вид своего персонального участка. Свой уголок я уберу цветами, господа инквизиторы!

*Ледька все глубже уходит под землю — яма растет.*

Мои письма в ООН, эту поганую организацию — шоб она сторела, не проходили дальше ручонков сортировщиц главпочты — это ясно. Я знаю, где их искать. Под голубым матовым стеклом. В кабинете главного врача городской психбольницы товарища Кучера Альберта Самуиловича, одного из наиболее талантливых последователей Зигмунда Фрейда и, забыла как

по бабушке, Юнга. Этот самый Кучер давно охотится за моей бедной душой, я — это его лебединая песня, его заключительное па в свадебном танце психоанализа, плач Ярославны! Двери его душевного лепрозория гостеприимно распахнуты! Но я не дамся так легко в руки провинциальным фрейдистам и нетрезвым санитарам. Я намерена отстреливаться. *(Не спеша достает из кармана плаща женский браунинг с инкрустированной рукояткой.)*

Ледька. Мама, брось мне фляжку с водой, она у тебя.

Старуха *(направляет пистолет на сына, целится)*. Кых-ких! *(Злорадно улыбается, отстегивает от пояса фляжку и бросает ее Ледьке.)* Если бы ты знал, каким отважным героем был твой покойный дедушка, георгиевский кавалер, ты бы немедленно скончался от сознания своего ничтожества...

Ледька. Сейчас Кучера позову...

Старуха. Молчать! Смирно! Руки по швам! Это память о моем отце и твоём деде. Я из него по воронам стреляю. Как маршал Чуйков на своей даче.

Ледька. Ничего, вот придет Кучер со своими соратниками и надеет на тебя крахмальную сорочку с инвентарным номерком.

Старуха. Всё. Стреляю.

Ледька. «Всех не перестреляете» — сказал Мальчиш-Кибальчиш и продолжил свою трудовую деятельность. *(Пьет из фляжки воду и кладет ее на край ямы. Потом продолжает работу.)*

Старуха. Раньше, когда я еще працювала учительницей географии, я замечала за собой весьма странные задвижки. Да. Например... Не знаю, как тебе все это объяснить... Черт! Ну и ну. О чем? А-а-а-а, да-да-да-да-да — география! Ну?

*Пауза.*

Ледька. География...

Старуха. Да! Весьма дикий предмет, между прочим.

Ледька. Правда?

Старуха. Еще бы! Я рассказывала дитяткам о странах и континентах. География. Чувствуешь?

Ледька. Да я вообще-то простужен что-то...

Старуха. И про всякие там удивительные районы. Но, любопытная подробность, туда не мог попасть ни один из моих гимназистов. А я все рассказывала и рассказывала про страны и континенты, а они все не могли и не могли. Онанизм какой-то. Шарф надень — простудишься...

*Ледька ударяет лопатой обо что-то деревянное на дне ямы.*

Что это?

Ледька. Игрушки.

Старуха. Какие такие игрушки? Откуда?  
Ледька. Из «Детского мира».

### Эпизод пятый

*Утро. Часов одиннадцать. Площадка перед гаражом. Под сухим, непонятно какой формы деревом, прислонившись спиной к стволу, сидит Друг и тупо смотрит на ворота гаража. Проходит минута-другая и ворота осторожно приоткрываются. В щель протискивается Леша и останавливается. Он щурится на солнце и не сразу замечает сидящего Друга.*

Друг. Как спалось?

Леша. А-а, вот и мой товарищ, одиноко сидящий под деревом  
Бодхи. Привет.

Друг. Как спалось?

Леша. Никак не спалось. Вонючий у тебя гараж. Весь бензином провонялся.

Друг. Да, пожалуй...

*Пауза.*

Леша. А ты что тут делаешь?

Друг. Сажу.

Леша. И долго ты собираешься сидеть?

*Пауза.*

Друг (*пожимает плечами*). А ты знаешь, что твоя жена в больнице?

Леша. Неужели? В каком же отделении, если не секрет?

Друг. Сначала была в реанимации, а теперь — в суицидологии.

Леша. Как интересно! Как же это ее так угораздило? Что она там делает?

Друг. Лежит.

Леша. Ну все-таки она иногда встает, правда? По коридору тусуется, с медперсоналом общается...

Друг. Нет.

Леша. Ай-я-я-я-яй. Что же это у нее, паралич, что ли?

Друг. Нет.

Леша. А что? Вены себе порезала? Знаю, обычная история, дружок. (*Сонно оглядывается по сторонам.*) Сука! Боже мой, как мне все это надоело! Ты не знаешь, где тут воды поблизости можно набрать? Я был вчера у сторожа, но там трубу прорвало.

Друг. Не знаю. Она в тяжелом состоянии, старик. Я чуть было не опоздал, машина никак не заводилась, пришлось искать...

Леша. А ты видел ее руки? Она каждую неделю себе вены пилит!

Друг. А хоть бы и каждый день. Ты не хочешь к ней заехать?  
Леша. Не хочу.

Друг. Поговорить...

Леша. Не хочу. Я же сказал тебе.

Друг. Дерьмо ты собачье.

Леша. И это я уже слышал. Двести раз. Все это я уже слышал.  
Скучно, дружок, скучно... Ты Кришну не видел?

Друг. Кого?

Леша. Кришну. Парень такой, с хэйром, со всеми делами. Мон-  
строидное личико такое. Нет, не видел?

*Некоторое время они пристально смотрят друг на друга.*

*(Потом начинает тихо и прозрачно смеяться.)* Ну ладно.  
А Полину ты тоже не видел? Вчерашнюю девицу? Она заходила,  
помнишь? Ты под машиной тогда торчал...

*Пауза.*

И долго ты будешь смотреть на меня?

*Пауза.*

Да ты никак медитируешь... Ну-ну. Харе Рама!

*Друг продолжает молчать.*

*(Еще раз внимательно оглядывается по сторонам, словно  
пытаясь определить, в какую сторону ему сейчас направ-  
виться. Затем снова оборачивается к Другу.)* Сколько вре-  
мени?

*Друг молчит.*

Ладно, пока. Вот вторые ключи. *(Бросает Другу ключи,  
поворачивается и идет.)*

Друг. Ты же писатель...

Леша *(резко останавливается)*. Что?

Друг. Ты же искусством занимаешься.

Леша. Что? Как ты сказал? Искусством? Каким искусством? Ты  
что, дружок, спятил? Искусством... Где ты его видел?

Друг. Ты должен как-то реагировать...

Леша. На что я должен реагировать? На мировую скорбь? Или на  
изменения в нашем обществе?

Друг. Твоя жена пыталась покончить с собой.

Леша. Так ведь не с тобой же. Это ее личное дело.

Друг. Но ты же должен что-то делать!

Леша. Правильно. Должен. А я не делаю. Должен, а не делаю.

Вот такое я говно. Я вообще уже давно ничего не делаю.

Друг. Это я заметил.



Леша. Ну и слава Богу, Зоркий Сокол... *(Медленно подходит к Другу, садится перед ним на корточки.)* Ты знаешь, один человек как-то сказал, что самые плохие произведения искусства делаются из самых хороших побуждений. Представляешь? Самые плохие — из самых хороших...

*Пауза.*

А под деревом Бодхи сидеть вредно, вставай... Посмотри на меня, и ты увидишь, к чему это приводит. Вставай!

*Друг остается в неподвижности.*

*(Пытается силой поднять его. Наконец ему это удается.)* Очнись, приятель, жизнь так прекрасна. Незачем тратить время на выяснение того, где же находится этот... как его... Действительно, а что же находится, а? Что-то с памятью... *(Смеется.)* Забыл... Забыл... *(Дает Другу сильную пощечину.)*

*Друг никак на это не реагирует.*

Ага, вот! Понял идею? Нет? Подставь вторую щеку... *(Бьет Друга по второй щеке. Потом начинает бить сильнее и кулаками.)*

*Друг падает.*

Теперь все в порядке. И больше не рассказывай мне всякие мерзости.

## Эпизод шестой

*Берег моря. День. Ледька достает из ямы тяжелый деревянный ящик. Старухи поблизости нет. С помощью напильника Ледька вскрывает ящик.*

Ледька. Вопрос адаптации человека к условиям влажных тропических лесов поднимался в ряде научных работ, посвященных различным группам населения, которые занимаются охотой и собирательством, в частности — пигмеям... *(Начинает доставать из ящика кучу промасленной бумаги.)* Изображения пигмеев обнаружены на барельефах гробниц египетских фараонов Пятой династии, созданных четыре тысячи лет назад. О них писали Гомер, Геродот и Аристотель. Многие цивилизации погибли, а пигмеи, живущие в полной гармонии с окружающей средой, пережили тысячелетия... *(Достает из ящика немецкий автомат, начинает аккуратно протирать его тряпкой.)* Объединяясь в маленькие группы от пяти до тридцати человек, они ведут полукочевой образ жизни.

ни. Чтобы приспособиться к трудностям, пигмеям пришлось свести свое имущество до минимума. Оставшиеся у них предметы легко восполнимы: палка, чтобы копать землю, лист, которым можно набрать влаги, чтобы напиться, курительная трубка из стебля какого-нибудь растения — вот и все пожитки. Они обходятся без кастрюль, сковородок и других приспособлений — всего того, что тяжело таскать за собой с места на место... (*Достает из ящика еще один автомат.*) Охотой, от которой зависит их жизнь, традиционно занимаются мужчины. Она оказала огромное влияние как на индивидуальное, так и на коллективное сознание пигмеев, способствовала постепенному развитию семьи и других социальных институтов. Для пигмея лес — это мать, уважать которую велит долг. Охотятся пигмеи сетью, сплетенной из лиан, а добычу делят в соответствии со строгим ритуалом. Дополнительный источник питания — собирательство, которым занимаются женщины. Плоды, коренья, листья, грибы, мед и некоторые виды насекомых — гусеницы и термиты... (*Достает из ящика третий автомат.*) Пигмеи отлично знают окружающую среду и не дают природе побороть себя. Они живут упорядоченной жизнью, любят празднества, сборища, пляски. У них есть культура, богатая традициями, мифами и легендами...

### Эпизод седьмой

*Ночь. Гараж. Машины нет. Горит подсветка в яме. Легкий стук в железные ворота. Леша привстает на раскладушке, слышен скрип пружин, самого Леша не видно. Ворота слегка приоткрываются и в гараже появляется Старуха. Она останавливается на краю ямы.*

Старуха. Привет.

Леша. Здорово. Давно не виделись.

Старуха. Давно.

Леша (*выпрыгивает из ямы, подходит к Старухе и радостно обнимает ее*). Привет-привет, старая калоша! Как ты поживаешь?

Старуха. Когда как. Поживаю, малыш.

Леша. Я рад.

Старуха. Я тоже.

Леша. Ну?

Старуха. Ну?

*Некоторое время стоят, разглядывая друг друга и улыбаясь.*

Леша. А ты чего пришла-то?

Старуха. На танцы.

*Леша смеется и кружит Старуху в подобии вальса. Останавливаются.*

Леша. Как наши? Ты их видишь?

Старуха. Редко. Только Ледьку. Но я думаю, что у них все в порядке.

Леша. Ну да, конечно...

*Пауза.*

Старуха. Тебе грустно.

Леша. Да, наверно. Мне грустно.

Старуха. Давай болтать.

Леша. Давай.

Старуха. Болтаю... *(Трясет головой, фыркает.)* Это что за помещение?

Леша. Гараж.

Старуха. Ого! У тебя появилась машина?

Леша. Где ты ее увидела?

*Пауза.*

Старуха *(оглядывается по сторонам, иронически похмыкивая)*. Тебя теперь так трудно найти...

Леша. Неужели?

Старуха. Ну да. Устаю быстро. Я слышала, ты хотел приехать?

Леша. Хотел.

Старуха. Ну и что, ты приедешь?

Леша. А как же! Вчера выехал. Но ты лучше не жди.

Старуха. Хорошо, не буду. Как твоя работа?

Леша. Так же, как и машина.

Старуха *(улыбается)*. У тебя появился стиль.

Леша. Спасибо.

Старуха. На здоровье.

Леша. Старая ты калоша!

Старуха. Что поделать, Алеша...

Леша. Пятнадцать копеек!

Старуха. Двадцать!

Леша *(достает из кармана монету)*. Держи.

Старуха. А ты можешь сделать так, чтобы я ее на цепочку могла повесить.

Леша. Надо попробовать... *(Подходит к верстаку, включает сверлильный станок. Через некоторое время протягивает Старухе монету.)*

Старуха. Спасибо.

Леша. Носи на здоровье.

Старуха *(нализывает монету на цепочку)*. А что ты слушаешь на этом проигрывателе?

Леша. Да так, чепуху. Рок-н-роллы на «костях» своих сограждан.  
Хочешь послушать?

Старуха. Хочу.

*Леша достает из подвешенного ящичка круглый блин рентгеновского снимка, ставит его на проигрыватель, опускает иглу. Звучит рок-н-ролл в исполнении Эдди Кокрейна.*

Леша. Ну как, нравится?

Старуха. Не знаю. А тебе?

Леша. Нет, не нравится. *(Выключает проигрыватель.)*

Старуха. Твой отец очень переживал за твое здоровье. Вся семья совершенно серьезно считала, что ты дебил, телеидиот... После того как тебе исполнилось пять лет, ты включал телевизор ежедневно при любой возможности. Ты смотрел все подряд: новости, запуск космонавтов, мультфильмы, футбол, про колхоз — лишь бы что-нибудь светилось и двигалось. Ты садился на диван, открывал рот и сидел. Вечером родители приходили с работы и оттащивали тебя. Даже врачей приводили, помнишь?

Леша. А как же! Я дебил, я все помню.

*Смеются.*

Старуха. Ну ничего, я куплю тебе новый телевизор. Цветной.  
У тебя здесь антенна есть?

Леша. Не знаю. Найдем.

Старуха. Договорились, малыш. Будет тебе телевизор.

Леша. Смотри, я буду ждать. Завтра? Когда?

*Старуха кивает. Пауза.*

Старуха. Потанцуй со мной еще. Пожалуйста.

*Леша обнимает Старуху, и они начинают слегка покачиваться на месте. В крошечной тишине. Проходит несколько минут — пара продолжает свой танец.*

### Эпизод восьмой

*Берег моря. Утро. Ледька углубляет и расширяет вырытую накануне яму, Старуха сидит почти в такой же позе, что и раньше — прислонившись к рюкзаку.*

Старуха. Смотри, чтоб камней не было... И бутылочных осколков...

*Пауза.*

Поглубже, уходи поглубже! Я на поверхности лежать не собираюсь. Хочу лежать глубоко в земной коре, рядом с по-

лезными ископаемыми... Или с кимберлитовой трубкой...  
В обнимку...

*Пауза.*

Смотри, какое у меня платье... Второй раз надеваю. Красивое, правда? Кружавчики, оборочки... Его надо в чистоте содержать. Утюг нужен. Утюга нет. Утюг не взяла. Чайничек свой заварной, фаянсовый, кузнецовский, мамочкин подарок, тоже не взяла. Чайничка нет. Подушку свою забыла. Подушки нет...

*Пауза.*

Глубже уходи, глубже. И расширяй. А то ковырнет какой-нибудь садовод последующих поколений и членовредительство совершит. Кости у меня старые, не сростутся. А мне ведь еще с ними жить и жить...

Ледька. И не тужить...

Старуха. Без комментариев.

Ледька. Очень нужно.

Старуха. А не нужно — так молчи.

Ледька. Молчу.

Старуха. Нет, ты не молчишь, ты комментируешь.

Ледька. Ну так надо же мне как-то развлекаться — работенка у меня не очень веселенькая, верно?

Старуха. Ладно. Валяй, сынок, развлекайся на моих костях. Умереть достойно и то не дадут...

Ледька. А как ты хотела? Жила как в анекдоте, и помрешь как клоун.

Старуха. Смерть Олега Попова. Воздушные гимнасты отстегивают лонжи и кидаются вниз, слоны бьются головами о стены «Госцирка», дрессировщики снимают бронезилеты и входят в клетки...

Ледька. Все. Бросаю лопату, зову Кучера.

Старуха. А меня ведь чайки склюют, если не зарыть...

Ледька. Да? А червяков ты не боишься?

Старуха. Чего? Каких еще червяков?

Ледька. Ясно каких, обыкновенных, земляных. Их тут видимо-невидимо.

Старуха. Подлец! Ты что же это, специально говоришь? Ты же знаешь, что я терпеть не могу насекомых.

Ледька. При жизни как-то справлялась, вот и после справишься. Стерпится, слюбится.

Старуха. Ди-хло-фос. Дихлофос надо было купить.

Ледька. Мышьяк. Тут ведь и крыски водятся. У них тут обширная популяция...

Старуха. Что?! Как ты сказал? Крыски? Популяция?!

Ледька. Она самая. Крысиная популяция.

*Пауза.*

Старуха. Что ж ты замолчал, змей?

Ледька. А что говорить-то? И так все ясно. Крысы толстые, упитанные. Как индюки. А как же вы думали, мамаша? Я же вас не в оцинкованном контейнере провожать буду, а так, как есть, в натуральном виде. Впрочем, они и оцинкованный контейнер прогрызут, у них зубки остренькие, энергии много. Они коллективом действуют. Вы знаете об этом?

Старуха. Замолчи.

Ледька (*перестает работать, закуривает*). Один мой приятель крысами занимается. Он какой-то крысовед знаменитый, по всей стране известен как большой специалист в этой области. Изучает детей подземелья. Собаку съел.

Старуха. Дальше.

Ледька. Рассказывал...

Старуха. Что?

Ледька. Очень организованные животные. У них даже своя иерархия есть. Цари, придворные и все такое. Герольды канализации. Вот, например, когда должны были взрывать храм Христа Спасителя, то все крысы, которые там жили, ночью, незадолго до взрыва, повывползали из своих нор, изо всех этих церковных подвалов, и по улице двинулись. Демонстрация такая, представляешь? Многотысячный митинг. И вот идут они по улице, эвакуируются, а навстречу им милиционер на посту. С пистолетом. Как у тебя, между прочим, пистолетик был, а все равно не помог он ему, не выручил он его в годину лихолетья... Да-а...

*Пауза.*

Вытащил милиционер пистолет, когда увидел беспорядок такой на улицах столицы, и давай стрелять из него по невинным грызунам. Ну они и сгрызли его, бедолагу нашего. Только пистолет да пуговицы на асфальте остались. Вечной памятью. Слава Герою!.. (*Тяжело вздыхает и гасит окурок.*)

*Пауза.*

Приятель рассказывал, что он их предводителя застрелил, царя то бишь, крысиного. Ну а придворные отомстили. А ведь из самых хороших побуждений выстрел тот был произведен. Из самых хороших...

Старуха. Я поняла. Отмена. Бросай лопату.

Ледька (*улыбается*). Будешь жить?

Старуха. Да тут не в крысах дело — пускай себе... Понимаешь, да? Просто грустно как-то стало, ветер... Вылезай, ты и так простуженный. Холодно, небось, в яме-то?

Ледька. Улиток много.

Старуха. Мама рассказывала мне перед смертью про своего брата... Его махновцы убили... Он в Красной Армии служил, был очень отважным бойцом. И вот когда они его окружили, он долго и отчаянно отбивался, много ихнего народу перебил. А потом, когда моя мама к Махно пришла и начала его ругать за то, что он брата ее убил, то он выслушал ее и пять рублей дал, за брата. И еще сказал, что брат, мол, твой настоящим солдатом был, храбрецом, честь ему и вечная память. На том и отпустил ее с Богом. А она шла, плакала, а в руках эти пять рублей держала. Тогда по тем временам, это хорошие деньги были...

*Ледька вылезает из ямы.*

У нас, случайно, кофе нет?

Ледька. Был. В термосе. Сейчас посмотрю. *(Достает из рюкзака термос, снимает крышку, наливает кофе.)*

*Вдалеке появляются Полина и Кришна. Они медленно приближаются к старикам.*

Кришна. Здравствуйте, товарищи!

*Ледька поворачивает голову в сторону пришедших. Потом, словно никого здесь кроме него и матери нет, наливает кофе во вторую кружку, уже для себя.*

А чем вы тут занимаетесь?

Ледька *(отхлебывает кофе)*. Отстрелом крыс.

*Пауза.*

Кришна. Мы не вовремя?

Ледька. Как раз. В самый разгар сезона. *(Делает жест в сторону Старухи.)* Профессор Эриния Петровна Семенова-Бертье.

Старуха. Честь имею, молодые люди. Когда я працювала в начальной школе и преподавала географию...

Ледька. А вы чьи, дети?

Кришна. Это религиозный вопрос.

Ледька. Кофе хотите?

Полина. Хотим.

Кришна. Но нам нужна вода.

Ледька *(внимательно разглядывает пришедших)*. Определитесь: вода или кофе? Что вам нужно?

Кришна. Не нервничайте.

Полина. Нам нужна вода. Вы не знаете, где тут поблизости вода?

Ледька. Вы будете кофе или нет?

Кришна. Будем.

*Ледька достает еще две чашки и наливает кофе. Потом протягивает чашки Полине и Кришне. Пауза. Вся компания молча пьет кофе.*

Спасибо. *(Возвращает пустую чашку Ледьке.)*

*Пауза.*

Ледька. Надолго к нам?

Кришна. Как сказать. Все зависит от вас.

Ледька. Я сделаю все, что в моих силах.

Кришна. Вода.

Ледька. Море. Чем не вода? Очень хорошая вода. Настоящая.

Кришна. Нам нужна питьевая вода.

Ледька. Зачем?

*Полина начинает смеяться.*

Кришна. Чтобы пить.

Старуха. Когда я працювала в начальной школе и преподавала географию, из кранов все время текла какая-то ржавая жидкость. Вместо воды. Я даже носила с собой пластмассовую фляжку. Дома набирала и с собой таскала:..

Кришна. А вы уверены, что дома у вас нормальная вода была?

Старуха *(улыбается)*. Вы это о чем, молодой человек?

Полина. Молодые люди...

Ледька. Молодые люди.

Старуха. Молодые люди, если вы просто спрашиваете, так я вам просто и отвечаю, у меня дома была абсолютно нормальная вода. Мягкая, прозрачная, приятная на вкус.

*Пауза.*

Ледька. И у меня тоже была совершенно волшебная вода.

*Пауза.*

Кришна *(кивает головой, улыбается)*. А почему же вы все такие отравленные?

Полина. Молодые люди...

*Долгая пауза.*

Ледька. Кто вы такие?

Полина. Молодые люди.

*Пауза.*

Старуха. Что вам нужно?



Кришна. Ничего. Я только спросил у вас про воду. А вы мне дали кофе. Вот и все.

Старуха. Вас это устроило?

Кришна. Вполне.

Старуха. Вот и отлично. А теперь проваливайте отсюда. И побыстрей.

Полина. Молодые люди...

*Пауза.*

*Никто не двигается с места.*

Старуха. Ну? Не заставляйте ждать.

Кришна. Это зависит от вас.

Старуха. Я сделаю все, что в моих силах.

Кришна. Делайте.

Старуха. Я вас убью.

Кришна. Буду очень признателен.

Полина. Молодые люди...

Старуха. Я не шучу.

Кришна. Я тоже.

*Пауза.*

Ледька. Молодые люди, она вас действительно может пристрелить. Правда.

Кришна. Вы занимаетесь отстрелом крыс? Посмотрите на нас. По-моему, весьма подходящие экземпляры.

Ледька. Вы так хотите умереть?

Кришна. Да.

*Ледька спрыгивает в яму, нагибается, достает автомат, вылезает.*

Ледька. Держи. *(Протягивает Кришне автомат.)* Пользуйся. Механизм отлаженный, в масле. Обойма полная, патрон дослан...

*Кришна берет автомат и приставляет к Ледькиной груди.*

*Пауза.*

Кришна. Вы ведь воевали?

Ледька. Воевал.

Кришна. Ну? И что же дальше?

Ледька. Ты о чем, малыш?

Кришна. Об этом. Обо всем этом. Что вы думаете обо всем этом?

Ледька. Ничего не думаю. Я просто выполнял приказы.

Кришна. Какие?

Ледька. Разные. Я просто хотел остаться в живых.

Кришна. Ну и как?

Ледька. Мне это не удалось.

Кришна. Почему?

Ледька. Потому что боялся.

Кришна. Чего?

Ледька. Вас. Я боялся своих собственных детей. Надеюсь, ты меня понимаешь.

Кришна. Сколько вам лет?

Ледька. Шестьдесят пять.

Кришна. Чем вы занимаетесь?

Ледька. Отстрелом крыс.

Кришна. Что-нибудь получается?

Ледька. Я только начинаю.

Кришна. Успехов. *(Опускает автомат.)* Вы не нальете мне еще кофе? Пожалуйста.

Ледька. Налью. С большим удовольствием, сынок. *(Бьет Кришну ногой в пах.)*

### Эпизод девятый

*Утро. Гараж. Ворота гаража приоткрываются. Появляется Жена, запястье ее левой руки забинтовано. Она медленно подходит к краю ямы и некоторое время смотрит вниз. Потом она отходит к стене и садится на табурет. Из ямы доносится голос Леша.*

Леша. Ну и зачем ты пришла?

*Жена не отвечает.*

У меня глаза режет от света. Ты не могла бы закрыть дверь... Выйди из класса и закрой дверь. С той стороны. Ты слышишь меня? Закрой дверь, я серьезно. Я заснул только под утро, а ты так себя ведешь... Нехорошо...

Жена. Разве?

Леша. Да. Ты ведешь себя кое-как.

*Жена встает с табурета и закрывает ворота. Потом она возвращается обратно, садится на табурет, закуривает. В темноте виден только огонек ее сигареты.*

Спасибо. И постарайся мне не мешать. Я сейчас сон хороший видел, а ты мне его нарушила. Надо бы его досмотреть...

Жена. Постараюсь. Спокойной ночи.

*Долгая пауза.*

Леша. Черт! Ты мне все обломала. Я уже больше ничего не вижу.

Совершенно ослеп — ничего не вижу...

Жена. А сейчас? *(Наклоняется и щелкает выключателем — зажигается подсветка в яме.)*

Леша. Можно было и без этого обойтись...

*Пауза.*

Как твоя нарушенная психика? Восстановлена?

Жена. Нет.

Леша. А почему же мы на свободе?

Жена. За меня папа с мамой поручились.

Леша. У тебя же их никогда не было.

Жена. Не было. Но зато, когда они узнали, что их дочь в дурке, они появились. Честь им и хвала, не ожидала.

Леша. Я думаю, что и они тоже не ожидали. Выращивали-то они вроде нормального человека, а получился урод. Недоделанный механизм, который в конце концов и вышел из строя — хрясь!

Жена. Мама очень переживает. Все время плачет.

Леша. А папа? Он еще не умер от горя?

*Пауза.*

Жена. А где машина?

Леша. Машина уехала. Вместе с родителями.

Жена. Куда?

Леша. На кудыкину гору. Меня искать поехала. А я здесь. Ловко я ее обдурил?

Жена. Ничего, она тебя еще подловит.

Леша. Нисколько не сомневаюсь.

*Пауза.*

Жена. А ты что, жить тут собрался?

Леша. Ага. Лежу себе на раскладушке и бензин нюхаю. Жду.

Жена. Тебе звонили вчера. Редактор твой звонил, из министерства. Спрашивал, когда ты пьесу сдашь.

Леша. Никогда. Так и передай. Когда-нибудь я разделаюсь со всеми своими персонажами. И с тобой в том числе, пышногрудая «Девушка Моей Мечты». Послушай, там на столе миска с супом стоит. Дай мне ее сюда.

*Жена встает с табурета, подходит к столу, берет миску и ставит ее на край ямы. Слышен скрип пружин — Леша встает с раскладушки и подходит к миске. Голова Леша выбрита наголо.*

Шекспир на кладбище... Дай хлеб.

Жена (*опять подходит к столу*). Он черствый.

Леша. То, что надо. Мы его сейчас в супчик накрошим. Завтрак пенсионера...

*Жена приносит ему черствый кусок черного хлеба.*

Спасибо, доченька.

Жена. А что ты со своей головой сделал, а?

Леша. Не знаю. Что-то сделал.

Жена. Ты на зэка похож.

Леша. Я похож на белое солнце пустыни. Зачем ты убил моих людей, Джавдет?

*Жена начинает смеяться.*

Ничего смешного. Мне волосы мыть негде. Ясно? А зачем человеку волосы, если ему их мыть негде? Отпадает всякая надобность в волосах. Остается одна только кожа.

Жена. А супчик у тебя откуда?

Леша. Сторож приносит. Исключительно добрый старик... Конечно, и кожу содрать, но уж очень болезненный это процесс. Хотя, если вспомнить свое замечательное детство, то руки прямо так и чешутся. Скальп пора снимать! Скальп!

Жена. Только этим ты и занимаешься. Причем с завидным постоянством.

Леша. Ну так я же его с других снимаю. А с себя еще не пробовал. Все недосуг было. Пора исправить ошибку.

Жена. Свежо предание...

Леша. Сказал Виннету, сын Инчучуна. А супчик-то вкусный, между прочим. *(Отодвигает тарелку и достает из кармана перочинный нож. Зацепив ногтем лезвие, медленно вытаскивает его и приставляет к левому уху.)* Ван Гог отрезал себе ухо. Но он был глупым и сентиментальным человеком. Мы пойдем другим путем... *(Начинает медленно вести лезвие вдоль головы.)*

*Жена кричит.*

*(Останавливается.)* Ты так орешь, как-будто это тебя режут. Не мешай, а то у меня рука может дрогнуть.

Жена. Ты с ума сошел...

Леша. Нет, неправильно. Я здоров. Это ты у нас сумасшедшая. Это у тебя папа с мамой рыдают. А я просто-напросто прощаюсь с остатками своей шевелюры, своего дивного хэйра. Слишком я стар для него. *(Продолжает вести лезвие дальше.)*

*Жена хватается за свое левое запястье.*

*(Опять останавливается, нагибается и достает со дна ямы пластмассовую мыльницу. В мыльнице лежит помазок и маленький кусочек мыла. Добавляет немного воды из стоящего рядом чайника и начинает намывать подбородок.)* Ладно, пора бриться. Нас утро встречает прохладой... На мой лоб не смотреть, это старый детский трюк — вести

надо тупой стороной лезвия. Вот и все. Так что никакой крови ты не увидишь, не надейся.

*Жена закрывает глаза и, продолжая держаться за запястье, сползает с табурета.*

*(Не обращая на нее никакого внимания, продолжает бриться.)* Подай мне зеркало. Там на стене, в ящике. Кстати, это ты весь спирт выпила, а? Чего молчишь, «Девушка Моей Мечты»?

*Жена сидит на полу, прислонившись спиной к стене, широко раскрыв глаза и рот.*

Ладно, обойдусь без зеркала.

*Жена начинает развязывать бинт.*

*Леша заканчивает бриться.*

*Жена (размотав бинт, вытягивает руку прямо перед лицом Леша).* Жили-были старик со старухой, и была у них доченька — Наденька. А у Наденьки был жених, красный молодец Алешенька. И решили они свадьбу справить. Созвали они гостей со всего черного света, и устроили они пир на весь нескрещеный мир. И вот, в самый разгар пьянки, прибежал на огонек Серый-Волк-Зубами-Щелк и ласковым голосом произнес, дай-ка, мол, Наденька, твои белые рученьки рассмотреть, говорят, они такие красивые, такие белые-белые. Протянула Наденька ему свою левую рученьку, а волк, подлец, зубами как щелк! И Наденька стала шизофреником на всю оставшуюся жизнь.

Леша. Хорошо излагаешь, стерва.

Жена. Научилась. За долгие годы.

Леша. Красивые рученьки, беленькие, с розовыми шрамиками... Раз, два, три, четыре... А вот пятый не удался. Последний, что ли, да? Очень неважный. Сразу видать, что стеклом бутылочным. Э-хе-хе, неумелая ты, красная девица. Да и красный молодец твой тоже не подарок... *(Кладет рядом с женой перочинный нож.)* Дарю. Пользуйся на здоровье. И ни в чем себе не отказывай... Ну вот, побрился, теперь пора и песни веселые петь... *(Снова ложится на раскладушку.)* В следующий раз, если придешь, поесть что-нибудь принеси. Голодно тут и сыро, акридами питаюсь... *(Начинает тихонько и жалостливо напевать.)*

Летит, летит по небу клин усталый...

Летит в тумане, на исходе дня...

И в том строю есть промежуток малый...

Быть может, это место для меня...

Настанет день, и с журавлиной стаей...  
 Я поплыву в такой же сизой мгле...  
 Из-под небес по-птичьи окликаая...  
 Всех вас, кого оставил на земле...

### Эпизод десятый

*Берег моря. Раннее утро. В двух спальных мешках спят Старуха и Кришна. Рядом лежат, замотанные в одеяла, Ледька и Полина. В нескольких метрах от них на песок присаживается Друг, он только что появился. Некоторое время он сидит молча и неподвижно, потом начинает говорить.*

Друг. Подъем, ребята! Эй, господа, вы слышите меня? Подъем, я сказал! Пора вставать, петух уже прокричал трижды... *(Несколько раз хлопает в ладоши и пытается засвистеть.)*  
 Кришна, подъем! Пора встречать пионерскую зорьку!

Кришна. Мой дядя царь Камса был предупрежден о гибели от руки сына своей сестры, но он ни во что не врубался... *(Приоткрывает глаза, пожевываясь от холода, и смотрит на Друга. Смотрит довольно долго и безучастно, потом залезает обратно в мешок.)*

Старуха *(выглядывает из другого мешка)*. Кто вы такой, молодой человек?

Друг. Никто. Я ищу одного своего приятеля. Может быть, вы мне сообщите, где он сейчас находится?

Кришна. Не сообщим. Мы не знаем, мы спим.

Друг. Но ты-то знаешь, о ком я говорю.

Кришна. Знаю. Но его здесь нет.

Друг. Мне он очень нужен. Я серьезно.

Старуха. Он тоже серьезно. Мы очень хотим спать. На самом деле. Очень. Освободите пляж от вашего присутствия, молодой человек.

Друг. Хорошо. Когда вы его в последний раз видели?

Полина. Отвяжись. Его здесь нет. Он в Москве.

Кришна. О, Москва!

Старуха. Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось! Когда я...

Ледька. Мама, заканчивай! Еще утро, самый сон.

Старуха. Все. Молчу. Сплю.

*Некоторое время сохраняется абсолютная тишина.*

Друг. Послушайте, мне обязательно надо его найти. Между прочим, его активно разыскивает милиция. Я не шучу. Я должен с ним поговорить. Это в его интересах.

Полина. Ты еще здесь?

Старуха. Как вы сказали? Милиция?

Друг. Она самая.

Ледька. Этого еще только не хватало...

Старуха. Что, настоящая милиция?

Друг. Нет, игрушечная! На оловянных мотоциклах.

Старуха. Я буду отстреливаться.

Кришна. А что он такого сделал?

Друг. Кто?

Кришна. Леша.

Друг. Он пропал.

Ледька. Это еще не повод. Я вот, например, тоже пропал. Однако никто меня не разыскивает. Ни одна живая душа. Никому я не нужен, хотя я ветеран войны и орденосец.

Старуха. И к тому же кандидат...

Ледька. Да! Я занимаюсь историей, чтоб ей пусто было, но я все равно никому не нужен!

Старуха. То есть как? Ты нужен своей матери!

Ледька. Ах, мамочка, это еще бабушка надвое сказала.

Старуха. То есть как?

Ледька. А вот так. Надвое и все тут.

Полина. Натрое. На четыре, на пять, на шесть, на семь, на восемь...

Старуха. А вы, девушка, не поддакивайте ему, он все равно на вас не женится — поматросил и бросил!

Полина. А это еще бабушка надвое сказала.

Старуха. Пока я жива, не бывать этому!

Полина. Бывать, бывать!

Старуха. Не бывать, я мать!

Ледька. Какая же ты мать, если ты тоже пропала.

Старуха. Я не пропала, я просто в протесте нахожусь. У меня и в паспорте написано, что я мать.

Ледька. Ниловна, я Влас... Полина, я прошу вашей руки.

Полина. Что-то у меня руки замерзли. Вообще, по утрам тут чертовски холодно.

Старуха. Вольдемар! Я сдам тебя Кучеру. С рук на руки.

Ледька. Смотри, как бы тебя саму не повязали. И потом, я не Вольдемар, матушка, я — Ледька, Володька, Владимир!

Друг. Где Алексей?

*Общий смех.*

Ледька. Кстати, мама, а куда он пропал, ты не знаешь? Раздолбай! Не звонит, не пишет.

Кришна. Алексей пишет что-то про Шекспира и Гитлера... (*Поворачивается в сторону Друга.*) Видишь ли, водитель, мы тут все пропали, так что милиция нам ни к чему. Шел бы ты отсюда.

Ледька. Напомнили вы мне про племянника. Спасибо, братцы. Светлая личность, между прочим... Мама, ты помнишь, внука-то своего, Алешку?!

Старуха. Любимчик мой, красотулечка моя ненаглядная! Помру — не увижу... *(Начинает плакать.)* Алешенька, милый мой, где же ты сейчас? Слышишь ли меня, бабушку свою недоделанную? И зачем ты только поехал-то в Москву эту проклятую? Горя там навидеешься, слезьми обольешься, радость потеряешь... И на кого же ты покинул нас, соколик ты мой? Я ли тебя не ласкала, не умывала, не кормила? Я ли не любила тебя? На кого же ты меня покинул? С кем я тут осталась, в пустыне этой? Ты только посмотри кругом, посмотри хорошенечко... *(Тщательно разглядывает присутствующих.)* Ну и лица! Дебилы какие-то! Вот так бы взяла и перестреляла бы всех к чертовой матери! Никого не пожалела бы, хоть я и пенсионерка персональная, и орден «Знак Почета» имею за свою трудовую деятельность на поприще народного образования. Эх, Россия моя уходящая! *(Начинает кричать.)* Махновцы! Что вы сделали с внуком-то моим?! С плотью моею?! Я кого спрашиваю, скоты!

*Пауза. Мертвая тишина.*

*(Останавливает взгляд на Друге.)* Вот ты, например, ты кто такой? Откуда ты здесь взялся?

Друг. Я?

Старуха. Вражина ты недобитая. Вот таких как ты я всю жизнь свою и учила. А что вышло? Недоразумение. *(Начинает смеяться.)* Ну что же, дружок, полезай-ка ты в яму.

Друг. Куда «полезай»?

Старуха. В яму, говорю, полезай, сукин ты сын. Оглух?

*Друг молчит.*

*(Достает из кармана пистолет и направляет его на Друга.)* Картина Репина «Не ждали». В яму-у-у!

Друг. Да вы что, мамаша?

Старуха. Тамбовский волк тебе мамаша. В яму, негодяй. Считаю до трех. Раз...

*Друг приподнимается.*

Стреляю без предупреждения.

Кришна. Два...

Старуха. Спасибо. Мозги разлетаются по утреннему песку.

Полина. Два с четвертью...

Старуха. Боливар не вынесет двоих.

Ледька. Два с половиной...



Кришна. Два с сопелькой...

Друг (*спрыгивает в яму*). Я уже здесь. Не стреляйте.

Старуха. Вольдемар, ты ящик из ямы убрал?

Ледька. Да.

Старуха. Где он?

Ледька. Позади тебя.

Старуха. Прекрасно. Возьми лопату.

*Ледька берет в руки лопату.*

Кришна, помоги ему. Надо закопать водителя.

*Пауза.*

Кришна. Как?

Старуха. Так. Только голову оставьте. Мой самый любимый артист — Павел Луспекаев... (*Улыбается.*) Ну, чего ждете?

Давай, Петруха! Делай, что велено.

*Ледька начинает работать, Кришна присоединяется к нему.*

Друг. Прощай, мама. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до...

Старуха (*целится в Друга*). Ваше благородие госпожа Удача...

Для кого ты добрая, для кого — иначе...

*Кришна и Ледька присоединяются к ее песне. Потом к ним подключается Полина. Нестройный хор набирает силу. Наконец только одна голова Друга остается на поверхности.*

Ну ладно, господа. Спасибо. По мешкам. Я не выпалась.

*Все снова укладываются.*

(*Оборачивается в сторону Друга.*) Орать и звать на помощь не следует. Спи, малыш.

*Друг кивает головой. Пауза. Ледька начинает тихонько похрапывать.*

Друг. Зачем ты убил моих людей, Джавдет?

### Эпизод одиннадцатый

*Гараж. День. Леша стоит в яме, лицом к воротам и ест суп. Жена лежит на раскладушке, ее не видно, слышен только ее голос.*

Жена. Вся твоя жизнь — это одно сплошное сновидение. Какие-то бесконечные и безвкусные кинофильмы, или даже эпизоды, отдельные части. Как-будто когда-то, черт знает когда, ты пересмотрел целую кучу всякого разного запретного дерьма из чужой жизни. Той, которая где-то там, у них. И которая на самом деле не имеет никакого отношения к реальности...

*Леша громко и аппетитно причмокивает.*

Ты наглотался всего этого до такой степени, что уже сам стал частью этих шизоидных сюжетов. Ты превратился в изображение на ацетатной пленке. Ты переварил самого себя, стал собственным сновидением... Как бы это сказать... Ты — сон самого себя, сон сна, сон внутри сна... Очнись! Ты где живешь? В каком мире?

Леша. Очень вкусный суп. Никакой он не сторож. Он повар, тайный повар Ее Величества. Он скрывает свое умение быть тем, кем он является. Зачем — непонятно. Надо сказать ему всю правду. Всю. Он губит свой талант.

Жена. И вряд ли ты играешь, вряд ли. Ты просто ничего больше не умеешь, кроме этого. Все, кто с тобой связаны по жизни, уже давно превратились в мертвецов. Или вот-вот станут ими. А ты просто развлекаешься. Ты показываешь им их фотографии и говоришь, вот, ребята, смотрите, не похожи вы на Кларка Гейбла. Или на Шарлотту Рэмплинг. Наверно, ты даже движешься со скоростью двадцать четыре кадра в секунду.

Леша. Девяносто футов в минуту...

Жена. А по тому, чем является твое изображение, ползут разноцветные титры, и они красиво и достойно пересказывают твою биографию, твои слова, всю твою графоманскую писанину...

Леша. Надо обязательно открыть ему глаза, он же так и умрет в неведении. Такой чудный суп, а никто не знает. И он сам не знает.

Жена. Я сижу в гараже своего приятеля, ем гороховый суп и галлюцинирую — это же еще один эпизод, еще один план, снимаемый двумя камерами, еще одна демонстрация в полутемном и пустом зале. Где ты воруеть эти сюжеты, хотела бы я знать?

Леша. Я работаю в Белых Столбах. Человеком, запирающим двери. Я ключница. По ночам, отключая сигнализацию, я наблюдаю странную кинопродукцию, привезенную сюда контрабандно. Я занимаюсь этим каждую ночь, без выходных и отгулов. А наутро я слегка переделываю увиденное и выдаю за свое. Нелегко мне приходится, правда?

*Пауза.*

Вот, например, мой дядя. Во время войны он служил в разведке. Однажды ему и еще одному солдату пришлось вырезать отделение спящих немецких солдат, приказ такой был. Они пробрались к ним ночью в землянку и вдвоем вырезали все отделение. Без единого звука. Они подходили к немцам, зажимали им рты и били ножом в самое сердце. И пока они дошли до конца землянки, что-то произошло с ними обоими... А по-

том, естественно, наши в наступление пошли, потому что дядя со своим другом главное уже сделали. Без единого звука. А потом их обоих в госпиталь отвезли. В наглухо закрытой машине. Приятель с ума сошел, а дядя...

*Пауза.*

Вот так. Чем не сюжет? Без единого звука.

Жена (*медленно встает с раскладушки и подходит к Леше, на ходу застегивая кофточку*). Пропусти меня, мне пора.

Леша (*оборачивается к Жене и долго смотрит ей в глаза*). Нет.

Жена. Мне пора.

Леша. Останься. Я прошу.

Жена. Не могу. Мне действительно пора.

Леша. Куда?

Жена. Я отыграла свой эпизод. Камеры выключены.

Леша. У меня еще есть пленка.

*Пауза.*

Жена. Алеша, я прошу тебя, отпусти меня.

Леша. Нет. Ты не выйдешь отсюда.

Жена (*отходит в другой конец ямы*). Я уже где-то это видела. А жаль. Ты украл еще один эпизод.

Леша. Я разве отказываюсь? Украл. Украл... Почему бы тебе не остаться здесь, со мной?

Жена. Меня ждут.

Леша. Тебя никто не ждет, кроме одной особы, которая ждет тебя так же, как и меня. Это ее профессия — ждать. Всех нас. Некуда спешить. Или ты хочешь сократить расстояние?

Жена. Я не хочу ни сокращать, ни удлинять. Я хочу уйти, просто уйти и все.

Леша. Ты уже пыталась сделать это пять раз. Тебе недостаточно? Или ты хочешь попробовать еще?

Жена. Мне надо идти на работу.

Леша. А она у тебя есть?

Жена. Это только слова. Ты прекрасно знаешь, что она есть, и что есть все то, от чего ты пытаешься отказаться.

Леша. Знаю.

Жена. И тебе от этого никуда не уйти. (*Пытается вылезти из ямы.*)

*Леша молча наблюдает за ней.*

(*Наконец ей это удастся. Подходит к воротам гаража, но они заперты. Оборачивается к Леше.*) Ключи.

*Леша бросает ей ключи. Жена открывает ворота и выходит наружу. Потом возвращается и оставляет на пороге нож.*

Леша. Ключи.

Жена. Я их проглотила. Привет. (*Уходит.*)

### Эпизод двенадцатый

*Берег моря. День. Перед головой Друга сидит Кришна. У него в руках миска и ложка. В отдалении сидит Старуха.*

Друг. Что это?

Кришна. Уха. Ешь.

Друг. Опять рыба...

*Кришна зачерпывает уху, дует. Друг осторожно пробует.*

Кришна. Не бойся, не отравишься.

Друг. Горячая. Из чего?

Кришна. Из ставриды. Устраивает?

Друг. Мазутом пахнет.

Кришна. В Персидском заливе подбили танкер с нефтью. Последствия налицо. Проклятые капиталисты...

Друг. А я-то при чем?

Кришна. При том. «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Понял?

Старуха. Во времена моего детства отец бил нас ложкой по лбу, если мы плохо вели себя за столом. Советую воспользоваться, Петруха.

Друг. Ничего себе стол.

Старуха. Другого нет. Хороший стол гарантирует хороший стул...

Друг. Приятного аппетита!

Старуха. На здоровье.

*Кришна дает Другу вторую ложку ухи.*

Друг. А хлеб?

Кришна. За хлебом Ледька с Полиной отправились.

Друг. На моей машине.

Кришна. Но ты ведь не жмот, правда? Ты ведь не против, если ребята слегка покатаются?

Друг. Ребята у меня даже и не спрашивали. Сели и поехали.

Кришна. Так уж обстоятельства сложились. Голод не тетка, верно?

Друг. А вдруг их менты остановят? Что тогда?

Кришна. Будут отстреливаться, как говорит профессор Эриния Петровна Семенова-Бертье.

Друг. О Боже... У меня права отберут.

Кришна. Какие?

Друг. И посадят...

Старуха. Кришна, поменьше с ним разговаривай. Ложкой по лбу и привет родителям.

Друг. Жестокая вы, однако, женщина. А еще мать.

Старуха. Какая есть.

*Кришна продолжает кормить Друга ухой.*

*(Роется в карманах своего плаща.)* Кришна, у тебя папироски не найдется? Мои кончились.

Кришна. У Полины. В противогазной сумке.

Старуха *(достает из Полининой сумки папиросы и какой-то журнал, листает его. На одной из страниц задерживается, внимательно вчитываясь в текст)*. «Священное писание свидетельствует, что Господь наш сотворил земной рай и водрузил в нем древо жизни. Из него вышли воды ключа, давшие начало четырем главным рекам мира — Гангу в Индии, Тигру и Евфрату, которые образуют Месопотамию и текут в Персию, и Нилу, который впадает в море близ Александрии. Я не нашел и не могу найти в сочинениях римлян и греков сколько-нибудь точных данных и определенных указаний на местоположение в этом мире земного рая. Не приходилось видеть его также ни на одной карте мира, составленной на основе авторитетных данных...» *(Надолго замолкает.)*

Кришна. Папиросы нашла?

Старуха. Да-да, сейчас... *(Машинально закуривает и продолжает глядеть в журнал. Странно хмыкает и продолжает листать дальше.)*

Кришна. Мне тоже брось.

*Старуха бросает Кришне папиросы и спички. Кришна закуривает и предлагает Другу. Тот соглашается.*

Старуха *(вновь начинает читать)*. «Двадцать первого июля тысяча девятьсот шестьдесят девятого года осуществилась давняя мечта человека побывать на Луне. Первыми людьми, ступившими на нее, стали два американских астронавта — Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Мы помещаем отрывок разговора, происходившего между ними во время этого исторического события...»

Друг. А как, интересно, я буду справлять нужду в таких условиях?

Кришна. Да, старик, это серьезная проблема.

Друг. Тело мое поело, голова курит. Скоро начнутся выделения.

Старуха. Странные у тебя папиросы, Кришна.

Кришна. «Беломор»...

Старуха (*читает*). «Один из древнейших символов Вселенной, источник бесчисленных мифов, легенд и культов, Луна, наконец показала свое настоящее лицо...»

Друг. Голова курит, тело — в земле. Все отдельно.

Старуха. Я лечу...

Кришна. Приход. Ключ на старт.

Друг. Я понял. Отключаю функции тела.

Старуха. О'кей, Хьюстон, я на трапе...

Друг. Поняли тебя, Нил. Смотрю в оба.

*Старуха поднимается с земли и делает пару шагов в направлении моря.*

Кришна. Остановись на минутку, Нил.

*Старуха останавливается.*

Здесь все в полном порядке.

Старуха. О'кей. Можешь приоткрыть люк пошире?

Кришна. Открыл...

Друг. Пошло телеизображение.

Кришна. Как картинка, хорошая?

Друг. Очень контрастная и вверх ногами. Но хорошо видны многие детали.

Старуха. Проверьте экспозицию, какую выдержку мне ставить?

Друг. Зачем проверять? Мы видим, как ты спускаешься по трапу...

Старуха (*делает еще несколько шагов к морю*). Я на нижней ступеньке. Опоры кабины вдавились в грунт всего на один-два дюйма, хотя поверхность кажется очень мелкозернистой. Грунт почти как пыль... Выхожу из кабины... Маленький шаг одного человека — гигантский прыжок всего человечества. Подошвы вдавливаются в грунт совсем чуть-чуть, где-то на одну восьмую дюйма. В грунте остаются мои следы, отпечатки подошвы, как в мелком песке... Идти совсем нетрудно. Направляюсь на солнечную сторону, на Солнце не смотрю. Отхожу, чтобы сделать первые снимки... (*Делает шаг в сторону и опускается на колени.*)

Кришна. Будешь брать пробу? Давай!

Старуха. Что-то не получается. Поверхность поддается с трудом.

Любопытно. Очень мягкий слой сверху, но там, где втыкаю щуп для забора пробы, натываюсь на твердую поверхность.

Похоже, это все тот же грунт, только как бы спрессованный.

Попробую найти камень...

Друг. Вид отсюда просто великолепный, Нил.

Старуха. Неповторимая, холодная красота. Очень напоминает пустыни в Штатах. Выглядит иначе, но очень красиво. *(Поворачивает голову в сторону Кришны, улыбается.)*

Кришна. Готов к моему выходу?

Старуха. Готов.

Кришна. Все о'кей?

Старуха. Да, все в порядке. Ты готов?

Кришна. Готов. Сколько от моих ног до земли?

Старуха. Ты у самого люка.

Кришна *(медленно движется в сторону Старухи)*. Ступаю, тихо, тихо. Трап. Наклоняюсь... Совсем нетрудно. Теперь надо выпрямиться и слегка прикрыть люк — но так, чтобы не захлопнуть его совсем.

Старуха. Неплохая мысль.

Кришна. На ближайший час-другой это наш дом, о нем надо заботиться... Я на верхней ступеньке. Прыгать с одной ступеньки на другую здесь совсем просто.

Старуха. Это точно, очень удобно. И ходить здесь тоже очень удобно. Тебе осталось три ступеньки, а затем большой перелет...

Кришна. Этой ногой обопрись сюда, а обеими руками буду держаться за четвертую снизу... *(Приближается к Старухе.)*

Старуха. Еще чуть-чуть. Примерно дюйм. Достал! Вот это шаг!

Кришна. Фута в три... Прекрасный вид!

*Кришна и Старуха стоят обнявшись.*

Старуха. Великолепно, правда?

Кришна. О да!

*Они медленно идут к морю и через некоторое время исчезают.*

Друг. Отличная картинка. Очень контрастная и вверх ногами.

### Эпизод тринадцатый

*Гараж. Поздний вечер. Леша стоит в яме, около того конца, который ближе к воротам. Леша смотрит на торцовую стенку напротив. На стенке желтоватый световой прямоугольник, образуемый рамкой неуклюжего кинопроектора, стоящего рядом с Лешей. Леша держит в руках небольшой ролик 8-миллиметровой пленки. Он говорит громко, как бы про себя, но постоянно учитывает еще одного слушателя.*

Леша. Я хочу показать тебе одно короткое изображение. Картинка двадцатилетней давности. Я нашел эту пленку здесь, в гараже. Ее снимал отец моего друга. Двадцать лет назад. Сейчас на ней почти ничего нельзя разобрать... Это то, что осталось от одного осеннего дня...

*Пауза.*

Когда-то очень давно, первого сентября шестьдесят такого-то года, я пошел в школу. В белой рубашечке, в брезентовых шортиках, в белоснежных гольфах и лакированных сандалях. В руках у меня был букет великолепных утренних цветов и плоский портфельчик, в котором лежало несколько чистых тетрадок в клеточку и в линейку и китайская ручка с золотым пером... На голове у меня был полубокс, на лице — недоверие, на шее — крахмальный воротничок. Мой запах был адекватен запаху одеколona «Шипр»... И мой друг тоже пошел со мной, и выглядел он приблизительно так же. С нами были наши родители, и его отец снимал все это на пленку. На память. И ты увидишь сейчас, что осталось от этой памяти. Ты можешь не вставать. Ты можешь смело продолжать спать. Ты можешь все. Ты можешь оставаться сторожем, который позволил себе выпить сегодня стакан вина и приготовить мне порцию своего неповторимого супа... Спи, спи... Я не хочу приставать к тебе с частной жизнью бывшего первоклассника. Я могу посмотреть это кино в одиночестве. *(Неспешно заряжает кассету в проектор, потом включает и несколько минут смотрит в квадрат на стене.)*

*Мелькают почти до предела засвеченные кадры, в основном детские ноги. Разобрать что-либо очень трудно. Пленка заканчивается, вращается катушка, пленка соскакивает и хлещет по корпусу проектора.*

*(Останавливает ее рукой и продолжает смотреть в пустой квадрат на стене.)* Я узнал себя только по ногам. Когда мы всем классом стоим на торжественной линейке. Я всегда очень характерным образом ставлю ноги. Такова моя конституция. Так ведут себя мои кости. С детства. Я никогда не обращал на это особенного внимания, просто ставил ноги, как они ставились, и все. Но это единственное на этой пленке, что осталось от мальчика в крахмальной рубашке с парусом на нагрудном карманчике. И это единственное, что осталось от меня вообще. Понимаешь? Только ноги в лакированных сандалях. Ноги, которые до сих пор перемещают мое тело из одного пространства в другое, из другого в третье... Из года в год... Шаг за шагом. И я не вижу ничего, кроме этих ног. Ничего выше их. Я даже не могу поверить, что существует что-то выше ног этого мальчика. Ты же видел — ничего нет...

*Пауза.*

Однажды я захотел написать пьесу, в которой все происходит в метро. Человек спускается вниз и начинает там жить. Там,



где все движение — это рельсы и тоннели. Где электрический свет и скульптуры из довоенного дома отдыха. И человек начинает там жить, в доме отдыха ниже уровня тротуара. Не сначала и не наоборот, и не по причине невозможности верха, а просто исходя из реальной последовательности событий...

*Пауза.*

Я ничего не написал. Я — ленивая свинья, я оставил эту затею. Видишь ли, есть такой уровень сюжетов, когда они уже не описываются. Их невозможно воспроизвести, они все теряют тогда, весь смысл... Когда что-то становится тобой, ты не можешь относиться к этому иначе, как к тому, что это должно произойти — пусть происходит... И тогда ты становишься сюжетом самого себя. *(Начинает громко смеяться.)* И тогда все меняется. Как может бумага рассказать что-нибудь бумаге? Любые операции с нолем дают ноль! Могут остаться только ноги в белых гольфах и лакированных сандалятах, передвигающиеся чистую пустоту по чистому экрану... *(Снимает ролик с проектора. Потом поджигает пленку, прикуривает от огня сигарету и выходит из гаража.)*

### Эпизод четырнадцатый

*Берег моря. Утро. Из песка торчит голова Друга, глаза закрыты. Напротив него, поджав под себя ноги, сидит Леша. Некоторое время он молча смотрит на лицо Друга, потом начинает говорить.*

Леша. Если бы у меня был чайник, я бы дал тебе попить. Из носика... Кто же это тебя так отделал, дружище?

*Пауза.*

Вот так заканчиваются посиделки под деревом Бодхи.

*Друг открывает глаза.*

Как слышишь меня? Прием...

Друг. Хьюстон слышит тебя хорошо. Прием...

Леша. А где остальные товарищи?

Друг. Полет окончен... Я хочу в туалет...

Леша. И долго ты тут торчишь?

Друг. Торчу...

Леша. Как редиска на грядке. Остальные овощи покинули огород. *(Замечает сумку Полины.)* Здесь был Кришна?

Друг. Был. Но он рано ушел...

Леша *(кивает головой, достает из Полининой сумки журнал, листает его, останавливается и начинает читать вслух).*  
«Полный смятения, ошеломленный паломник увидел сотню

миров, океан океанов бурлящих вод, устремленных к Богу, вовлеченных в божественный водоворот. Сто тысяч раз просеял он землю и отринул знания, сомнения и неуверенность. Сто тысяч раз просеял он землю мира и столько же раз приносил на берег добытую им жемчужину. Наконец Бог послал ему удачу...»

Друг. Лопата в рюкзаке.

Леша. Я понял. *(Роется в рюкзаке и вместе с лопатой достает оттуда небольшой черный пакетик из плотной бумаги. Открывает его и внимательно изучает содержимое.)*

Друг. Я жду...

*Леша поворачивается к Другу, кладет пакет обратно в рюкзак, берет в руки лопату.*

Быстрой. Мой мочевой пузырь превращается в дирижабль...

*Леша подходит к Другу и начинает откапывать его. Делает он это крайне медленно, поминутно останавливаясь и погружаясь в состояние глубокого оцепенения.*

Черт побери, я сейчас оскандалюсь. Быстрой, старик!

Леша. Да-да, я сейчас... *(Продолжает работу, но вскоре вновь останавливается.)*

Друг. О Боже, за что же ты меня так?

Пауза.

Леша *(долго смотрит в глаза Друга)*. Ты знаешь, что было в пакете?

Друг. Из всех пакетов меня сейчас интересуют только гигиенические...

Леша. В черном-пречерном пакете из большого-пребольшого рюкзака...

Друг. Достал ты меня, парень! Не знаю и знать не хочу! Хочу в дабл!

Леша. Там был пакет с фотографиями...

Друг. Прощайте, родные, прощайте, друзья!

Леша. Там были мои детские фотографии.

Друг. Я умираю. Все.

Леша. Там были мои детские фотографии... Понимаешь ты это или нет?

Друг. Понимаю. Все. Конец. Я описался.

### Эпизод пятнадцатый

*Гараж. День. Солнце. У ворот стоят Полина и Ледька. Разговаривают тихо, почти шепотом.*

Ледька. Ты думаешь, он здесь?

Полина. Я уверена.

Ледька. Ну да — замка-то нет...

Полина. Замка нет. Таков стиль твоего племянника.

*Пауза.*

Ледька. А я боюсь.

Полина. А я нет.

*Они смеются.*

*(Так же тихо.)* Не бойся, дядя, он там. Он ждет тебя.

Ледька. Да?

Полина. Да. Входи.

Ледька *(протягивает руку, чтобы открыть ворота, но, чуть помедлив, опускает ее)*. А что он здесь делает?

Полина. Путешествует. *(Резко распахивает ворота.)*

*Еще некоторое время Ледька стоит на пороге, давая глазам привыкнуть к темноте гаража. Потом Ледька входит, следом — Полина. Они медленно приближаются к яме и останавливаются на краю, глядя вниз.*

Ледька. Там кто-то лежит...

Полина *(смеется)*. Там лежит твой племянник. После полудня он отдыхает и очень не любит, когда его беспокоят. Но я разрешаю тебе нарушить его сладкий сон... Леша, вставай... Твоя дядя пришла, молочка принесла...

Ледька. Бэ-э-э...

*Пауза. Он и Полина продолжают стоять на краю ямы.*

Ленчик, это я. Привет. *(Неуверенно поднимает руку в знак приветствия.)*

*Никакого ответа. Полина издает пронзительный индейский клич. Но там, внизу, не происходит никакого движения.*

*(Спрыгивает в яму. Приближается к раскладушке и осторожно стягивает с лежащей фигуры брезентовый чехол.)*

О Боже... Кто это?

Полина. В чем дело?

Ледька. Это не он.

Полина. А кто?

Ледька. Не знаю. Это не он.

Полина *(спрыгивает в яму, приближается к раскладушке)*. Что это за запах?

Ледька. Вино, кажется...

Полина. Нет, что-то еще... Это сторож. Да, точно, это тот самый сторож.

Ледька. Сторож? Надо вызвать «скорую».

Полина. Зачем?

Ледька. Ну, я не знаю... Кто там у них смерть регистрирует? «Скорая» или милиция?

Полина (*отворачивается, потом медленно вылезает из ямы. Достает сигарету и пытается закурить. Безуспешно чиркает спичками, затем выбрасывает коробок в проем ворот*).  
Отсырели... Это ты меня, между прочим, облил. Прокисшим лимонадом. Где-то под Калининым...

Ледька. Прости.

Полина. А ты уверен?

Ледька. В чем?

Полина. В этом. (*Тычет пальцем в сторону тела на раскладушке*.)

Ледька. Да. Он мертв. (*Тоже вылезает из ямы*.)

*Полина выбрасывает сигарету и они выходят из гаража.*

Полина. Где тут телефон?

Ледька. Не знаю.

Полина. Ну да. Ладно, я пошла искать...

Ледька. Раз, два, три, четыре, пять... Я подожду тебя здесь. Постарайся побыстрее.

Полина. Постараюсь. (*Отходит на несколько метров, останавливается*.)

Ледька. Сигареты оставь. У меня есть зажигалка.

*Полина возвращается, оставляет ему пачку сигарет «Космос», уходит.*

(*Прикрывает ворота гаража, садится на землю, прислоняется спиной к дереву, закуривает*.) Ни сторожа, ни Кучера... Свобода!

## Эпизод шестнадцатый

*Берег моря. День. На песке сидят Старуха и Кришна. Большие никого нет. Слышно, как кричат чайки.*

Старуха. Я хочу, чтобы ты сжег это тело, это старое больное тело. А пепел — над морем... Ты сделаешь это?

Кришна. Попробую.

Старуха. Я отлила немного бензина, из «Москвича». Я думаю, этого будет достаточно. (*Достает из рюкзака пятилитровую пластмассовую канистру*.) Хватит?

Кришна. Сколько здесь?

Старуха. Литра четыре будет. Ну как?

Кришна. Хватит, наверное. Впрочем, я не знаю, там будет видно.

Старуха. Ладно. Это уже твои проблемы. Меня это не касается.

Держи... *(Передает Кришне канистру.)*

Кришна *(ставит ее рядом с собой на песок)*. Что еще?

Старуха. А?

Кришна. Ты ничего не забыла?

Старуха. Да вроде нет.

Кришна. Ты хотела мне что-то рассказать...

Старуха. Я? А что, надо обязательно что-то рассказывать?

Кришна. Не обязательно. Наверно, можно и так.

Старуха. О Господи, я же совершенно не знаю, как все это делается, все эти ритуалы чертовы... Последнее слово, что ли, да?

Кришна. Не хочешь — не надо.

Старуха. Нет, я все-таки расскажу...

*Пауза.*

Когда моему внуку было лет десять-двенадцать, точно не помню, умер его дедушка, мой муж. При жизни он довольно-таки мало общался с Алешей. Во-первых, он очень быстро стал гложуть и впадать в совершенно крутой маразм, а во-вторых, он как-то вдруг перестал узнавать людей. Сначала только знакомых, а потом и родственников... Меня он постоянно путал с почтальоншей, которая приносила ему пенсию. Угости меня папирсой...

*Кришна протягивает ей папиросу.*

*(Закуривает.)* Он мог часами сидеть на веранде, глядя в одну точку, и периодически издавать всевозможные звуки. Иногда он начинал мяукать, иногда кукарекать. Несколько раз он пытался залезть в собачью конуру и переночевать там. Наверно, он очень любил домашних животных. Вместо людей... Пока он сидел таким образом, то успевал сходить в туалет, при этом он совершенно не реагировал на сопутствующие подобному времяпровождению неудобства. Единственным человеком, которого он еще продолжал узнавать, был Алеша. Когда он видел его, с ним происходило что-то невероятное. Он бешено мотал головой, улыбался, как debil, и приговаривал: «Ага, вот и Уил пришел». Или Ил, черт его знает. И никто не мог понять, почему именно Уил, что это за Уил такой. Или Ил. Но всем было ясно, что старик очень хорошо понимает, о ком он говорит. Он узнавал Алешу, только называл его по-своему. И это были моменты абсолютной его ясности, что ли... осознанности... А когда Алеша уходил, старичок наш опять начинал лаять, пукать, кукарекать, спать, не слышать и мычать... *(Кашляет и выбрасывает*

*папиросу.*) Они вместе играли в города. Старик любил. Сидели на веранде и играли — последняя буква начало нового города. Знаешь?

Кришна. Знаю.

Старуха. Они могли играть так часами, сутками... *(Замолкает, наливает из термоса кофе, пьет.)* А когда дед уже лежал в гробу, в этом дурацком зале гражданской панихиды, и происходила замечательная церемония прощания, Алеша подошел к гробу, достал из кармана кусок мела и написал на красной тряпке, которой гроб был обтянут, название какого-то города. Какого-то очень древнего редкого города, я даже и не слышала никогда о таком. Да и вообще, есть такой город или нет его — не знаю. Зачем он это написал? *(Снова начинает кашлять.)* Наверное, они не доиграли, или, наоборот, только начинали. А может, это был пункт назначения, станция доставки, место встречи? Алешу, разумеется, тут же вывели из зала, и даже отшлепали. Но он почему-то не плакал. Совсем. Хотя вообще-то он страшная плакса...

Кришна. Ну а что дальше?

Старуха. Ничего. На сегодня достаточно. Все. *(Показывает на цепочку, которую она достает из-за пазухи.)* Смотри, какой у меня медальон...

Кришна *(наклоняется)*. Двадцать копеек?

Старуха. Они. Двадцать копеек. Медальон. Подарок.

Кришна. А чего ты улыбаешься, как дурак?

Старуха. Да так, вспомнила кое-что... *(Затем вынимает из кармана плаща браунинг и протягивает его Кришне.)* «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Помнишь фильм?

Кришна. Помню.

Старуха. Поцелуй меня.

*Кришна ласково целует ее.*

Спасибо. Начинай. Хотя нет, подожди...

Кришна. Ты что-то забыла?

Старуха. Нет-нет. Просто знаешь что... Потанцуй со мной немного.

*Кришна кивает, приставляет браунинг к виску Старухи, потом обнимает ее и они начинают покачиваться в медленном танце.*

### Эпизод семнадцатый

*Ярко освещенный вагон метро. В вагоне находятся все: Друг, Жена, Полина, Ледька, Кришна, Старуха, Леша. Они сидят на скамейках в разных концах вагона и молчат. Молчат очень долго. Наконец Друг произносит первое слово.*

Друг. Сорренто...

*Пауза. Друг поворачивает голову в сторону Жены.*

Жена. Гарвард...

*Пауза.*

Полина. Питер...

Ледька. Браунау...

*Пауза.*

Кришна. Бенарес...

Старуха. Екатеринослав...

*Пауза.*

Леша. Библ...

Жена. Нет такого города.

Занавес

1988

## **ОБЩЕСТВО УТОНЧЕННЫХ НЕВРАСТЕНИКОВ И ДЕГЕНЕРАТОВ**

Утверждают, что слоны боятся мышей, а льва можно убить швейной иглой: попасть в нерв и — готово. Но где этот уязвимый нерв нашего общества? И чем в него ткнуть? Эта проблема кажется Алексею Шипенко невероятно банальной и простой. Нерв? Среднеталантливая, среднеобразованная и среднекультурная интеллигенция — общество утонченных неврастеников. Они не знают любви и настоящей дружбы, они обречены на эгоизм и на страдание от него. И уж совсем не верят вшивым идеалам и не реагируют на идеологические помои. Им кажется, что они достаточно умны и образованны, чтобы ни понимать, что протестовать бесполезно, ложь — привычная для них атмосфера. Они считают себя духовно-частичными индивидуумами, которые лишь в соединении с им подобными обретают смысл. Как в детском конструкторе. Правда, там детальки стандартные, образующие некое целое, а герои пьесы «Археология» — детальки ненормальные, свихнувшиеся детальки, они хотя и являются детальками целого, но вообразили себя максимально большим, грандиозным целым. Однако грустно им все-таки бывает и иметь близкого человека хочется. И этот их неистовый поиск — есть форма преодоления одиночества, духов-

ная его компенсация. Секс тут ни при чем. Секс, с его гипертрофией техники половых отношений, стал служить деградации человечества, пожалуй, впервые в истории этого самого человечества. Но это уже другая пьеса Шипенко — «Верона». Внутреннее одиночество героев Шипенко — неизбежное следствие внешнего коллективизма. Иногда, глядя на себя, они поражаются: вроде бы ничтожества, жалкие людишки с унылой и серой жизненной судьбой, но что творится у нас в душах! Мелькания, поиски, обрывки, эгоизм — ничего цельного и стройного. Эта болезнь души и психические аномалии для Шипенко — норма, ибо большая часть цивилизованного общества больна и остановить эпидемию автор не видит возможным. Карьеристы, жулики, циники, лодыри и бездари психическими дефектами не обладают. Это удел гнилой интеллигенции, общества утонченных неврастеников.

Утверждают, что слоны боятся мышей, а льва можно убить швейной иглой: попасть в нерв и — готово. Но где этот уязвимый нерв нашего общества? Нерв Алексей Шипенко обнаружил. Но чем в него ткнуть? Иголка для Шипенко — смерть. Страх смерти есть предельный страх. Он может быть низким, обыденным страхом, а может быть высоким, трансцендентным. Индивидуум умирает, но личность не умирает. Победа над страхом смерти есть победа духовной личности над биологическим индивидуумом. В круговороте природного мира жизнь и смерть неразрывны. Пожалуй, это уже проблема религии, ибо вопрос о смысле жизни есть ее вопрос. Отказ от этих поисков есть отказ от Бога. И это еще одна пьеса Алексея Шипенко — «Шамбала»...

«Археология», «Верона», «Шамбала» — грандиозный триптих!

Надеюсь, что смогу поставить все три пьесы.

**Роман Виктюк**



В данное издание вошли драматические произведения писателей разных поколений — Венедикта Ерофеева (1938—1990), Евгения Сабурова (1946), Олега Юрьева (1959), Зуфара Гареева (1955), Алексея Шипенко (1961), но входящих в нашу литературу (получивших возможность публиковаться) одновременно в 1988—1989 годах. Знаменитая поэма в прозе «Москва — Петушки», написанная Венедиктом Ерофеевым в 1969 году, у нас в стране опубликована спустя двадцать лет. До последнего времени из произведений Евгения Сабурова на родине автора печатались только спортивные рассказы; первая публикация рассказов Зуфара Гареева состоялась также за рубежом.

Объединить произведения таких несхожих друг с другом писателей (не только возрастом, но и степенью известности, масштабом дарований) позволило именно то, что прежде делало невозможным их публикацию — непривычность затрагиваемых тем, острота поднимающихся проблем, своеобразие мышления авторов и их нонконформизм (большинство пьес вошедших в сборник — написаны в середине и даже начале восьмидесятых годов).

Представляют авторов на страницах данного издания люди, также принадлежащие к плеяде нонконформистов нашей культуры, — писатели Юрий Айхенвальд и Евгений Попов, искусствовед и философ Евгений Барabanов, литературовед Михаил Шейнкер, режиссер Роман Виктюк.

© В/О «Союзтеатр», 1990

## ВОСЕМЬ НЕХОРОШИХ ПЬЕС

Составители З. Абдуллаева, А. Михалева

Редактор А. Михалева

Художественный редактор А. Гаевская

Технический редактор П. Максютя

Корректор О. Ширяева

Сдано в набор 20.02.90. Подписано в печать 12.06.90.

Л-30344. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура таймс.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0 Уч.-изд. 16,8.

Изд. № 06. Тираж 30500. Цена 2 р. 50 к. Зак. 192.

В/О „Союзтеатр“. 103001, Москва, Благоевщенский пер., 3.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции типография

имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС „Правда“.

125865, ГСП, Москва, А-137, ул. „Правды“, 24.

Отпечатано в ПП „Чертановская типография“ МГПО

113545, Москва, Варшавское ш., 129а.

2 р. 50 к.